УОЛТЕР МИЛЛЕР

ЗОЛОТАЯ БИБЛИОТЕКА ФАНТАСТИКИ

СТРАСТИ ПО ЛЕЙБОВИЦУ

СВЯТОЙ ЛЕЙБОВИЦ И ДИКАЯ ЛОШАДЬ

Страсти по Лейбовицу
Уолтер Миллер

Аннотация
Уолтер Миллер. Страсти по Лейбовицу
FIAT HOMO!. ДА БУДЕТ ЧЕЛОВЕК!
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
- Глава 10
- Глава 11

FIAT LUX!. ДА БУДЕТ СВЕТ!
- Глава 12
- Глава 13
- Глава 14
- Глава 15
- Глава 16
- Глава 17
- Глава 18

Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
FIAT VOLUNTAS TUA!. ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ!
Глава 24
Глава 25
Глава 26
Глава 27
Глава 28
Глава 29
Глава 30

Аннотация

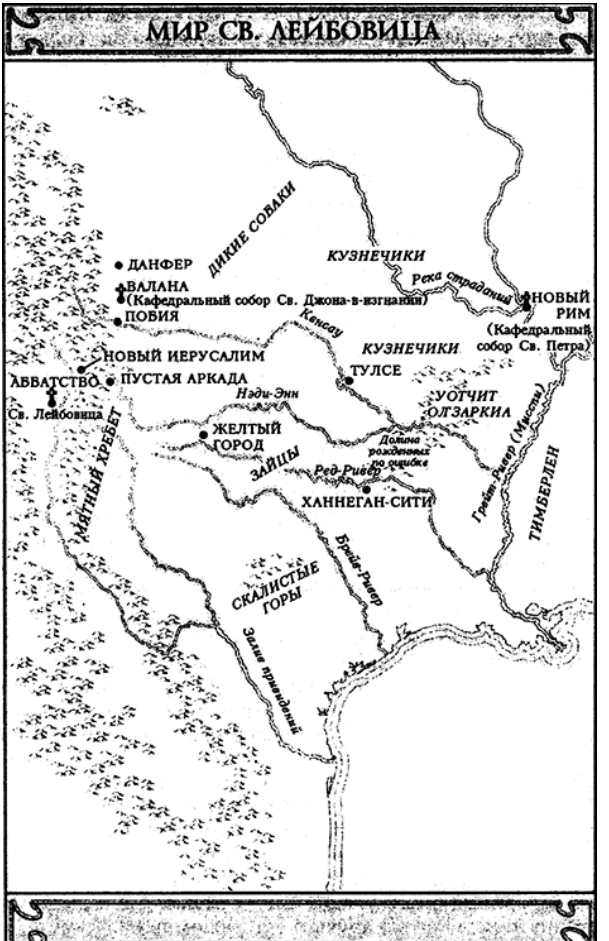
Уолтер Миллер-младший (1922–1996) написал три десятка повестей и рассказов — и всего-навсего ОДИН роман. Однако именно этот роман — «СТРАСТИ ПО ЛЕЙБОВИЦУ» — навеки внес его имя в «золотой фонд» мировой фантастики.

Роман этот, «Страсти по Лейбовицу», удостоенный премии «Хьюго» за 1960 г., вошел в историю научной фантастики XX в. как книга не просто великая, но — ЗНАКОВАЯ, стоящая в одном ряду с «Дюной» Фрэнка Герберта, «Левой рукой тьмы» Урсулы Ле Гуин и «Чужим в чужой земле» Роберта Хайнлайна, — и стал первым и единственным крупным произведением, которое Миллер успел завершить при жизни. Продолжение «Страстей по Лейбовицу» — «Святой Лейбовиц и Дикая Лошадь», — работу над которым прервала смерть автора, было закончено уже Терри Виссоном.

О возрождении человечества после ядерной войны написано много. Почему же именно «Страсти по Лейбовицу» — книга, признан-

ная лучшей из всех?

Прочитайте — и узнайте сами!


МИР СВ. ЛЕЙБОВИЦА
ДИКИЕ СОВАКИ
КУЗНЕЧИКИ
ДАНФЕР
ВАЛАНА
(Кафедральный собор Св. Джона-в-изгнании)
ПОВИЯ
Река Страданий
НОВЫЙ РИМ
(Кафедральный собор Св. Петра)
Кенсау
КУЗНЕЧИКИ
НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ
АББАТСТВО
Св. Лейбовица
ПУСТАЯ АРКАДА
ТУЛСЕ
Нэди-Энн
УОТЧИТ
ОЛЗАРКИА
ЖЕЛТЫЙ ГОРОД
Долина рожденных по ошибке
ЗАЙЦЫ
Ред-Ривер
Грейт-Ривер (Миссисипи)
ТИМБЕРЛЕН
ХАННЕГАН-СИТИ
МЯТНЫЙ ХРЕБЕТ
Брейв-Ривер
СКАЛИСТЫЕ ГОРЫ
Залив Ирландский

Уолтер Миллер
Страсти по Лейбовицу

FIAT HOMO!
ДА БУДЕТ ЧЕЛОВЕК!

Глава 1

Брат Френсис Джерард из Юты, скорее всего, никогда бы не обнаружил сии священные документы, не появись во время Великого поста, которое послушник проводил в пустыне, странник с препоясанными чреслами.

По сути дела, брат Френсис никогда ранее не встречал странников с препоясанными чреслами (а именно таковой предстал перед ним), и как только смутное видение его, напоминающее колышущуюся запятую, предстало в жарком мареве на горизонте, он ощутил, как по спине его прошел холодок. Бесформенная, с маленькой головой, словно плывущая в зеркалах миражей, пляшущих над разбитой дорогой, запятая эта скорее влачилась, чем шла; и брат Френсис, схватив распятие, украшавшее его четки, дважды пробормотал: «Аве, Мария». Запятая напоминала смутное видение, рожденное демонами из пекла, которые терзали землю в зенит полудня, когда все живое на лоне пустыни, способное двигаться (не считая стервятников и некоторых монастырских отшельников, таких как брат Френсис), недвижимо лежало в своих норах или

под прикрытием скал искало спасения от ярости полуденного солнца. Только чудовище, только сверхъестественное существо или создание со сдвинутыми мозгами могло бесцельно влачиться по дороге в такое время дня.

Брат Френсис торопливо вознес молитву святому Раулю-Циклопу, покровителю монстров и мутантов, чтобы он защитил его от своих несчастных подопечных. (Ибо кто в наши дни не знает, что ныне на земле в изобилии существуют чудища? Происходит сие по той причине, что рождаются они живыми и, согласно законам Церкви и Природы, те, кто порождают их на свет, должны выхаживать их. Законы эти соблюдаются не всегда, но достаточно часто, чтобы существовало определенное количество чудищ, которые нередко выбирают самые отдаленные уголки пустынных земель, где и бродят по ночам вокруг костров обитателей прерий.) Но в конце концов двигающаяся запятая миновала полосу вздымающихся столбов горячего воздуха, и стало видно, что это фигурка пилигрима; брат Френсис опустил распятие с облегченным «Аминь».

Пилигрим оказался тощим стариком с посохом, в соломенной шляпе, с клочковатой бородой и с бурдюком, перекинутым через плечо. Для призра-

ка он слишком смачно жевал что-то, с заметным облегчением сплевывал и был слишком тощим и усталым, чтобы претендовать на звание людоеда или разбойника с большой дороги. Тем не менее Френсис осторожно переместился с линии его взгляда и скорчился за кучей битого камня, откуда без риска быть обнаруженным мог наблюдать за происходящим. Встречи между незнакомцами в пустыне, пусть и редкие, были пронизаны взаимным недоверием и сопровождались тайными приготовлениями к любому развитию событий, лишь после которых становилось ясно — мир ли установится между встретившимися или же придется открывать военные действия.

Не чаще чем трижды в год мирянин или просто странник показывались на старой дороге, которая шла мимо аббатства, так как, несмотря на оазис, который позволял аббатству существовать, предоставляя в монастыре подлинный приют странникам, эта дорога была путем из ниоткуда в никуда. Возможно, в давно прошедшие века дорога эта была частью самого короткого пути от Солт-Лейк-Сити до старого Эль-Пасо; к югу от аббатства она пересекала полосу выщербленных плит, которая тянулась на восток и на запад. Перекресток был почти неразличим, и сделало

его таковым время, но не человек.

Пилигрим продолжал свой путь, но послушник по-прежнему таился за кучей щебня. Чресла путника были в самом деле препоясаны куском грязной мешковины, что и составляло его одежду, не считая сандалий и шляпы. Прихрамывая, он с упрямой и монотонной настойчивостью продолжал двигаться, опираясь на тяжелый посох. Ритм его шагов говорил, что у этого человека за плечами осталась долгая дорога и столь же длинный путь ждет его впереди. Но прежде чем вступить в пределы старинных развалин, он сбавил шаг и остановился, чтобы оглядеться.

Френсис пригнулся и втянул голову в плечи.

Здесь, среди россыпи холмов щебенки, где когда-то стояли старинные строения, тени не было, но тем не менее некоторые из крупных обломков могли дать определенное облегчение в виде легкой прохлады путешественнику; и прибегнуть к ней перед дорогой по пустыне, куда, по всей видимости, собирался направиться пилигрим, было мудрым решением. Он бегло огляделся в поисках камня подходящих размеров. Брат Френсис заметил, что тот не пытался, схватив камень, стронуть его с места, а вместо этого, стоя на некотором отдалении, достаточно безопасном,

и используя камень поменьше как точку опоры, посохом пригвоздил к земле создание, которое, шипя и извиваясь, выползло из-под него. Путник бесстрастно прикончил змею острием посоха и отбросил в сторону ее обвисшую плоть. Избавившись от обитателя щели под камнем, путник обеспечил себе прохладное седалище, перевернув камень. Затем, подтянув свое одеяние, он сел тощими ягодицами на относительно прохладную тыльную сторону камня, скинул сандалии и прижал подошвы к тому месту, где только что лежал камень. Почувствовав, как они охлаждаются, он поерзал пятками по песчаному ложу, улыбнулся беззубым ртом и начал мурлыкать какую-то мелодию. Вскорости он уже вполголоса распевал песенку на диалекте, непонятном послушнику. Изнемогая от своего согбенного положения, брат Френсис не мог даже пошевелиться.

Распевая, пилигрим вынул из узелка ломоть сухого хлеба и кусок сыра. Затем пение прервалось, и он на мгновение привстал, чтобы гнусавым блеющим голосом выкрикнуть на языке, знакомом обитателям этих мест: «Благословен будь Адонай Элохим, Властитель всего сущего, что дарует хлеб всей земле!». Блеяние прекратилось, и он снова приступил к трапезе. Путник в самом

деле пришел издалека, подумал брат Френсис, который не имел представления, в каком из соседских королевств правит монарх с таким странным именем и столь несообразными претензиями. Старик совершает столь долгий путь в виде покаяния, рискнул предположить брат Френсис — возможно, к «гробнице» в этом аббатстве, хотя «гробница» еще не была официально признана, а ее «святой» еще не был официально признан подлинным святым. Иного объяснения присутствию старика-путешественника на дороге, которая вела из ниоткуда в никуда, брат Френсис придумать не мог.

Пилигрим был целиком занят своим хлебом с сыром, а послушник оставался недвижим в своем убежище, мучимый сомнениями. Обет молчания, взятый им на время Великого поста, не позволял заговорить со стариком, но если он до того, как странник покинет эти места, оставит свое укрытие за кучей щебня, пилигрим, конечно, его увидит или услышит — а ведь до конца поста никто не должен нарушать его уединения.

Двигаясь медленно и осторожно, брат Френсис громко откашлялся и выпрямился во весь рост.

Оп!

Хлеб и сыр полетели в сторону. Старик схватил

свой посох и вскочил.

— Эй ты, ползи ко мне!

Он угрожающе замахнулся посохом на согбенную фигуру, которая выросла из-за кучи каменных россыпей. Брат Френсис заметил, что тонкий конец посоха вооружен наконечником. Послушник вежливо поклонился несколько раз, но пилигрим не обратил внимания на его любезность.

— Стой там, где стоишь! — прохрипел он. — И держись от меня подальше, весельчак. У меня ничего нет для тебя… разве что сыр, и ты можешь его взять. Если ты алкаешь мяса, то у меня есть только хрящи, но без боя я их тебе не отдам. Шаг назад! Назад!

— Подождите… — послушник запнулся. Необходимость проявить милосердие или оказать любезность могли заставить нарушить обет молчания во время Великого поста, когда к тому побуждали обстоятельства, но, нарушив молчание по своему собственному разумению, он слегка волновался. — Я не весельчак, добрый путник, — продолжил он, избрав столь вежливую форму обращения. Отбросив капюшон, он обнажил монашескую прическу и воздел руку с четками: — Понимаете, что это такое?

Еще несколько секунд старик пребывал в позе кота, приготовившегося к схватке, изучая подсмугленное солнцем юношеское лицо послушника. Да, он в самом деле ошибся. Причудливые создания, которые бродят по окраинам пустыни, часто носят капюшоны, маски или бесформенные облачения, чтобы скрыть свое уродство. И среди них есть и такие, чье уродство ограничивается не только телесным обликом: порой, встречая странника, они видят в нем нечто вроде аппетитного куска оленины.

Окинув взглядом брата Френсиса, пилигрим выпрямился.

— А… ты один из тех, — он опустил посох и нахмурился. — Там внизу аббатство Лейбовица? — спросил он, указывая на отдаленную группу строений к югу от них.

Брат Френсис вежливо склонил голову и застыл в такой позе…

— Что ты здесь делаешь в этих развалинах?

Послушник поднял кусок камня, напоминающего мел. Практически было невозможно, чтобы путник мог оказаться грамотным, но послушник решил попробовать. Поскольку вульгарный диалект, на котором объяснялись в этих краях, не обладал ни азбукой, ни орфографией, на боль-

шом плоском камне он выцарапал по-латыни: «Покаяние, одиночество и молчание» и ниже написал их на древнеанглийском, лелея слабую надежду, что старик все поймет и оставит ему в удел одинокое бодрствование.

Пилигрим криво усмехнулся, увидев эти слова. Смешок его напоминал мрачное блеяние.

— Хм-м-м… Все еще пишут эти замшелые слова, — сказал он, но если и понял написанное, то ничем не показал этого. Он отложил посох, снова сел на камень, подобрал хлеб и сыр и стал счищать с них песок. Френсис, изнывая от голода, облизал губы и отвел глаза в сторону. Со среды на первой неделе Великого поста он не ел ничего, кроме плодов кактуса и горсти сухого зерна; послушники, готовящиеся посвятить себя Богу, неукоснительно соблюдали правила поста и воздержания.

Заметив смущение своего собеседника, пилигрим, оторвавшись от хлеба с сыром, предложил кусок брату Френсису.

Несмотря на почти полное обезвоживание, поскольку он строго придерживался ежедневной порции из своих запасов воды, рот послушника наполнился густой слюной. Он был не в силах оторвать глаз от руки, протягивающей ему хлеб.

Вселенная перевернулась в его глазах, центром ее стал этот обсыпанный песком кусок хлеба с бледным ломтиком сыра. Демон-искуситель скомандовал мышцам его левой ноги сделать шажок вперед. Он же передвинул правую ногу на полметра вперед левой и каким-то образом привел в движение трицепсы и бицепсы руки, которая, выдвинувшись вперед, коснулась руки пилигрима. Пальцами он ощутил пищу; ему показалось, что он уже вкушал ее аромат. Невольная дрожь пробежала по его изможденному телу. Закрыв глаза, он увидел, как на него смотрит владыка аббатства и в руке его извивается бич. И как ни старался послушник вызвать пред своими очами облик Святой Троицы, облик Бога Отца неизменно сливался с обликом аббата, лицо которого, как казалось Френсису, не покидало гневное выражение. А за ним вздымались языки пламени, и сквозь их огненную завесу смотрели глаза святого мученика Лейбовица, который, корчась в смертельной агонии, видел, как его преданный послушник, застигнутый на месте преступления, тянется за куском сыра.

Послушник снова передернулся. «Изыди, сатана!» — прошептал он и поспешно сделал шаг назад, отбросив от себя пищу. Не говоря ни слова,

он брызнул на старика святой водой из фляжки, скрытой в рукаве. Но пилигрим, пусть он даже и был исчадием ада, остался невозмутим, что не смогло не отметить выжженное солнцем сознание послушника.

Это внезапное нападение Сил Тьмы и Искушений не дало никаких сверхъестественных результатов, но естественная реакция должна была последовать сама собой. Пилигрим, это воплощение Вельзевула, должен был со взрывом исчезнуть в облаке сернистого дыма, но вместо этого он издал горлом булькающий звук, побагровел и с душераздирающим воплем бросился на Френсиса. Уворачиваясь от занесенного копья, в которое превратился посох, послушник запутался в своей рясе, и ему удалось избежать дырки в спине только потому, что пилигрим забыл свои сандалии. Вялая расслабленность старика тут же сменилась упругой стремительностью. Внезапно почувствовав, как раскаленные камни жгут его голые пятки, он подпрыгнул. Остановившись, он обратил свое внимание на другую цель. И когда брат Френсис посмотрел из-за плеча, ему показалось, что пилигрим вернулся в свою прохладную тень из-за страха перед необходимостью прыгать на цыпочках по раскаленным камням.

Стыдясь запаха сыра, который еще остался на кончиках его пальцев, и сокрушаясь из-за своего необъяснимого бегства, послушник смиренно вернулся к той работе, которую он нашел сам для себя в старых развалинах, пока пилигрим охлаждал обожженные ноги и удовлетворял свой гнев, швыряя попадающиеся ему под руки камни в юношу, едва тот показывался среди куч обломков. Когда рука его наконец устала, он стал не столько бросать камни, сколько пугать Френсиса и, набив рот хлебом с сыром, удовлетворенно бурчал, когда Френсису не удавалось увернуться.

Послушник бродил среди развалин взад и вперед, время от времени притаскивая к определенному месту обломки камней, объемом с его грудную клетку, которые он нес, заключая в тесные объятия. Пилигрим смотрел, как тот выбирал камни, мерил пядью их размеры, выволакивал их из каменных объятий груд гальки и упрямо волок на себе. Протащив камень несколько шагов, он опускал его и садился, положив голову на колени, изо всех сил стараясь одолеть наступающую слабость. С трудом переведя дыхание, он снова поднимал и, перекатывая камень с места на место, доставлял его к намеченному месту. Он продолжал свою работу, пока пилигрим, потеряв

к нему интерес, не стал зевать.

Полуденная ярость солнца выжигала и без того высохшую землю, посылая свое проклятие всему, что несло в себе хоть каплю влаги. Но Френсис трудился, невзирая на пекло.

После того как путешественник умял последний кусок хлеба с сыром, перемешанные с песком, он запил их несколькими глотками воды из своего бурдюка, сунул ноги в сандалии, с кряхтением поднялся и побрел сквозь руины к тому месту, где трудился послушник. Заметив приближение старика, брат Френсис поспешил отойти на безопасное расстояние. Пилигрим насмешливо замахнулся на него своей дубинкой-посохом, но, похоже, его больше волновала каменная кладка, возводимая юношей, нежели жажда мести. Он остановился, рассматривая каменные отвалы, разгребаемые послушником.

Здесь, поблизости от восточной границы развалин, брат Френсис выкопал неглубокую яму, используя палку вместо мотыги и свои руки как лопату. В первый день поста он прикрыл ее кучей веток сухого кустарника, и по ночам яма эта служила ему убежищем от волков пустыни. Но по мере того как длилось его отшельничество, он оставлял вокруг своего обиталища все больше

следов, и ночные хищники мало-помалу стали все чаще бродить вокруг развалин и порой, когда затухал костер, скрестись у его убежища.

Поначалу Френсис пытался отбить у них охоту к этим вечным поискам, наваливая на свою яму все новые кучи веток и окружая ее тесным валом из наваленных камней. Но в прошлую ночь что-то прыгнуло на кучу веток и выло, разгребая их, пока Френсис, сотрясаясь от страха, лежал под ними; тогда-то он и решил укрепить кладку и, используя нижний ряд камней как основание, возвести настоящую стену. По мере того как она росла, стена все больше клонилась внутрь; своими очертаниями она напоминала овал, и каждый последующий камень Френсис старался класть рядом с соседним так, чтобы удержать стену от обвала. Он надеялся, что, тщательно подбирая обломки, утрамбовывая щели между ними щебенкой и грязью, он сможет возвести что-то вроде крепости. И размах ее полукруглой стены, словно бросающей вызов законам тяготения, уже высился памятником его тщеславия. Брат Френсис жалобно, по-щенячьи застонал, когда пилигрим с любопытством потыкал в стену своим посохом. Обеспокоенный судьбой своего обиталища, брат Френсис придвинулся ближе к пилигриму, иссле-

довавшему его творение. Странник ответил на его стенания взмахом дубинки и кровожадным рычанием. Брат Френсис подобрал полы рясы и присел. Старик хмыкнул.

— Хм! Тебе надо подобрать камень очень непростой формы, чтобы заполнить такую брешь, — сказал он, тыкая посохом в проем в верхнем ряду камней.

Юноша кивнул и отвел глаза в сторону. Он продолжал сидеть на земле, своим молчанием и потупленным взглядом стараясь дать понять старику, что не волен ни разговаривать, ни принимать присутствие другого существа там, где он дал обет одиночества и молчания во время Великого поста. Взяв сухой прутик, он начал писать на песке: Et ne nos inducas in…[1]

— Я ведь не предлагаю тебе обменять эти камни на хлеб, не так ли? — сказал ему старый бродяга.

Брат Френсис бросил на него быстрый взгляд. Вот оно как! Старик умеет читать и, значит, читал Библию. Более того — его реплика говорит о том, что он понимает и импульсивное движение послушника, брызнувшего на него святой водой, и его стремление быть тут одному. Испугавшись,

---

[1] Примечания: 1
И да не введи нас… *(лат.).*

что пилигрим поддразнивает его, брат Френсис снова опустил глаза и застыл в ожидании.

— Хм! Значит, тебя оставили здесь одного, не так ли? Значит, я верно держу путь. Скажи, разрешат ли твои братья в аббатстве немного отдохнуть старику в его тени?

Брат Френсис кивнул.

— Они дадут вам еды и напоят вас, — мягко, повинуясь законам милосердия, сказал он.

Пилигрим снова хмыкнул.

— Раз так, я найду для тебя камень, чтобы заполнить эту брешь. И да пребудет с тобой Господь.

«Но только не ты», — слова протеста умерли, не родившись. Брат Френсис наблюдал, как старик медленно побрел в сторону. Теперь пилигрим бродил меж каменных развалин. Время от времени он останавливался, то присматриваясь к камням, то приподнимая их концом посоха. «Поиск его, конечно, будет бесплоден, — подумал послушник, — ибо он всего лишь повторяет то, чем я занимался с самого утра». Он уже решил, что проще будет перебрать и перестроить часть верхнего ряда, чем искать замковый камень, напоминающий по форме песочные часы, который должен замкнуть проем в кладке. И к тому же терпение старика скоро истощится, и он пойдет

своим путем.

А пока брат Френсис отдыхал. Он молился, чтобы ему наконец открылось то, ради чего он предался своему одиночеству: пергамент его души должен предстать в совершенной чистоте, на котором в одиночестве его появятся заветные письмена, что вместят в себя и его безмерное одиночество, и прикосновение перста Божьего, который благословит крохотное человеческое существо и его существование здесь. Малая Книга, которую настоятель Чероки оставил в предыдущее воскресенье, служила ему наставником и поводырем в размышлениях. Она была написана столетия назад и именовалась «Судьба Лейбовица», хотя имелись только смутные догадки, в связи с которыми ее авторство приписывалось самому святому.

— «Parum equidem te diligebam, Domine, juventute mea, quare doleo nimis…»[2]

— Эй! Вот он! — раздался крик откуда-то с холма. Брат Френсис быстро огляделся, увидел, что пилигрима нет в поле зрения, и снова опустил глаза на страницу.

— «Repugnans tibi, ausus sum quaerere quidquid

---

[2] Примечания: 2

«Слишком мало, о, Господь мой, любил я Тебя в дни моей юности; и тщетно тоскую я о том в зрелые дни мои…» *(лат.).*

doctius mihi fide, certius spe, aut dulcius caritate visum esset. Quis itaque stultitior me…»[3]

— Эй, мальчик! — снова раздался крик. — Я нашел подходящий камень!

В это время брат Френсис поднял глаза повыше и увидел оконечность посоха, размахивая которым пилигрим подавал сигнал откуда-то из-за куч камня. Вздохнув, послушник вернулся к чтению.

— «O inscrutabilis Scrutator animarum, cui patet omne cor, si me vocaveras, olim a te fugeram. Si autem nunc velis vocare me indignum»[4].

Из-за куч снова разнесся крик, уже с ноткой раздражения:

— Ну смотри, как хочешь. Я отмечу камень и поставлю рядом с ним кучку щебня. Посмотришь, пригодится ли он тебе.

— Спасибо, — выдохнул послушник, сомневаясь, что старик услышит его. Он снова углубился в текст.

---

[3] Примечания: 3

«Сопротивляясь Тебе, я отважился исследовать все, что бы ни казалось мне ученее веры, вернее надежды или слаще любви. Так кто глупее меня…» *(лат.).*

[4] Примечания: 4

«О неисповедимый исследователь душ, которому открыто любое сердце, если Ты звал меня прежде, я иногда бежал от Тебя. Если же Ты ныне хочешь призвать меня, недостойного…» *(лат.).*

— «Libera me, Domine, ab vitiis meis, ut solius tuae voluntatis mihi cupidus sum, et vocationis…»

— Значит, здесь! — крикнул старик. — Он отмечен, и его видно издалека. И, может быть, скоро ты снова обретешь Голос, сынок.

Когда затихли последние отзвуки его голоса, брат Френсис увидел в отдалении пилигрима, который шел по тропе, ведущей к аббатству. Послушник прошептал ему вдогонку благословение и вознес молитву о благополучии его пути.

Одиночество его вернулось к своей первозданности: брат Френсис вернулся от книги к своим отвалам и снова занялся бесплодными поисками подходящего камня, нимало не озаботясь тем, чтобы взглянуть на находку странника. Пока его изглоданное голодом тело напрягалось и мучилось под грузом камней, в голове у него машинально крутилась молитва, которая должна была укрепить его убежденность в своем призвании:

— «Libera me, Domine, ab vitiis meis, ut solius tuae voluntatis mihi cupidus sum, et vocationis tuae conscius si digneris me vocare. Amen»[5].

---

[5] Примечания: 5

«Отпусти мне, Господи, грехи мои, дабы я жаждал одной лишь воли Твоей и чувствовал призвание Твое, если удостоишь меня Своим призванием. Аминь» *(лат.).*

Стада кучевых облаков на пути к горам, где они должны были пролиться влагой, скользя над безжалостно выжженной пустыней, временами закрывали солнце, и за ними, по блестящей от жара земле, двигались тени, принося недолгий, но столь желанный отдых от испепеляющего солнечного сияния. Когда стремительная тень облака на своем пути покрывала руины, послушник работал с удвоенной энергией, а когда тень исчезала, он отдыхал, пока очередное облако, напоминающее распластанную шкуру, снова не закрывало солнце.

Прошло уже достаточно много времени после встречи, когда брат Френсис обнаружил камень пилигрима. Бродя по окрестностям, он чуть не споткнулся о кучку камней, которую старик соорудил как опознавательный знак. Брат Френсис опустился на четвереньки и воззрился на два знака, недавно выцарапанных на древнем камне:



Знаки были исполнены столь старательно, что брат Френсис сразу же понял, что они изображали собой какие-то символы: но целую минуту вглядываясь в них, он по-прежнему ощущал

растерянность. Может быть, то знаки злых сил? Однако этого не могло быть, ведь старик крикнул: «И да пребудет с тобой Господь», — чего силы зла никогда бы не сделали. Послушник высвободил камень из-под обломков и перевернул его. Как только он это сделал, щебень и галька сразу же куда-то исчезли, маленький камешек защелкал, прыгая куда-то вниз по открывшемуся склону. Френсис отскочил в сторону, спасаясь от возможного обвала, но опасность сразу же исчезла. На том месте, откуда он вытащил камень, теперь зияло небольшое черное отверстие.

В таких дырах обычно кто-то обитал.

Но эта была столь плотно закупорена, что туда не проскользнула бы даже мышь, пока Френсис не отвалил камень пилигрима. Тем не менее он нашел веточку и осторожно потыкал ею в дыру. Сопротивления она не встретила. Когда Френсис выпустил ее из рук, веточка скользнула внутрь и исчезла, словно там была большая подземная пещера. Но из нее никто не показывался.

Он снова встал на колени и осторожно принюхался. Не пахло ни зверем, ни серой; взяв горсть щебенки, он бросил ее в отверстие и, приникнув ухом к земле, прислушался. Он услышал, как щебенка ударилась обо что-то в несколь-

ких футах от входа, а затем покатилась дальше вниз, позвякивая при соприкосновении с чем-то металлическим, а затем звуки замерли где-то далеко внизу. Эхо, донесшееся из-под земли, говорило, что там пространство никак не меньше комнаты.

Пошатываясь, брат Френсис поднялся на ноги и огляделся. По-прежнему он был в полном одиночестве, не считая своего вечного спутника — стервятника, который на этот раз, распластавшись в небе, изучал его действия с таким пристальным интересом, что к нему уже летели еще несколько собратьев, плававших где-то на горизонте.

Послушник обогнул кучу обломков, но не нашел и следа второй дыры. Взобравшись на подходящую возвышенность, он прищурился, глядя на тропу. Пилигрим давно исчез из виду. Никого не было и на старой дороге, но далеко отсюда он еле различил брата Альфреда, который спускался по склону пологого холма в поисках топлива. Брат Альфред был глух как пень. Больше в поле зрения никого не было. Френсис не видел причины, которая могла бы ему помешать громким криком воззвать о помощи, но, оценив, что может последовать за этим криком, понял, что это всего лишь испытание его благоразумия. Еще

раз внимательно изучив простирающуюся равнину, он спустился по склону. Дыхание, которое потребовалось бы на крики, лучше приберечь для движения.

Он подумал было о том, чтобы положить на место камень пилигрима, закупорив дыру, как раньше, но прилегавшие к нему обломки уже слегка сдвинулись, так что восстановить головоломку не представлялось возможным. Кроме того, проем в верхнем ряду стенки вокруг его убежища оставался незаполненным, и пилигрим был прав: размеры и очертания камня как нельзя лучше подходили на это место. После минутного колебания он поднял камень и потащил его к кладке.

Камень точно лег на место. Толчком он проверил его надежность. Стена стояла как влитая, хотя от толчка пошатнулось несколько камней поодаль. Знаки, набросанные рукой пилигрима, теперь виднелись не так ясно, но их очертания все же можно было легко скопировать. Брат Френсис аккуратно перерисовал их на другой камень, использовав вместо стило заостренный обломок. Когда настоятель Чероки двинется в свой субботний объезд убежищ отшельников, он скажет, что означают эти знаки, по крайней мере

несут ли они зло или добро. Страх перед нечестивым заклятьем был забыт, и послушника просто интересовало, что за знаки высятся на каменной кладке над тем местом, где он спит.

В полуденной жаре он продолжал свою работу. Краем сознания помнил о дыре — манящей и в то же время отпугивающей маленькой дыре — и о слабом эхе, которое донеслось из-под земли. Он знал, что окружающие его руины возникли в глубокой древности. Также он знал из преданий, что развалины эти постепенно образовались из чудовищных каменных глыб, и причиной тому были поколения монахов и случайных странников, когда и те и другие рушили эти каменные громады в поисках ржавых кусков металла, впрессованных в колонны и столбы таинственной силой людей того времени, которое было уже почти забыто миром. Стараниями поколений развалины потеряли всякое сходство со зданиями, которые, как говорили предания, когда-то стояли на месте руин, хотя мастер-строитель аббатства гордился своей способностью тут и там видеть следы древних строений. И если бы кто-нибудь взял на себя труд покопаться в камнях, металла здесь было еще достаточно.

Да и само аббатство было возведено из этих кам-

ней. Так что предположение, что после нескольких столетий непрерывных каменных работ в развалинах могло остаться что-то интересное, Френсис воспринимал как чистую фантазию. И все же он никогда не слышал, чтобы кто-то упоминал о подвалах или о подземных помещениях. Мастер-строитель, вспомнил он наконец, вполне определенно говорил, что все здания на этой стороне носят следы торопливого возведения, не имеют заглубленных фундаментов и их несущие конструкции были расположены снаружи.

Закончив работу по укреплению своего убежища, брат Френсис вернулся к дыре и, остановившись, заглянул в нее; зная жизнь обитателей пустыни, он не мог допустить, что место, где можно скрыться от солнца, кто-то уже не освоил. Даже если сейчас в дыре никого нет, до завтрашнего заката кто-нибудь обязательно проберется в нее. С другой стороны, подумал Френсис, если кто-то уже обитает внизу, лучше свести с ним знакомство при свете дня, чем в вечерних сумерках. Вокруг не было никаких следов, кроме его собственных, пилигрима и волчьих.

Наконец решившись, он стал отгребать песок и камни от входа в дыру. После получаса такой работы дыра не увеличилась, но его предположе-

ние, что внизу есть помещение, превратилось в уверенность. Два небольших, полуутопленных в песке булыжника, примыкающих к отверстию, казалось, были с огромной силой втиснуты словно в горлышко бутылки. Когда он с громадным трудом отодвинул один камень вправо, второй сам чуть сдвинулся влево, больше он ничего не мог сделать.

Рычаг вырвался у него из рук и исчез во внезапно открывшемся провале. Резкий удар заставил его покачнуться. Камень, сорвавшийся с откоса, поразил его в спину, у него закружилась голова, и, падая, пока тело его не коснулось надежной тверди земли, он был уверен, что свалится в яму. Грохот обвала чуть не оглушил его, но быстро смолк.

Ослепший от пыли, Френсис лежал, хватая ртом воздух и не осмеливаясь шевельнуться — настолько остро чувствовал он боль в спине. Отдышавшись, он засунул руку под свое облачение и дотянулся до того места между лопатками, где, как он предполагал, у него были сломаны все кости. Там болело и жгло. Пальцы его стали влажными от крови. Он дернулся, застонал и остался лежать недвижим.

Мягко прошуршали крылья. Подняв глаза,

Френсис успел увидеть, как стервятник плавно приземлился на кучу гальки рядом с ним. Птица еще раз взмахнула крыльями, и Френсису показалось, что она смотрит на него с жалостливым сочувствием. Он быстро повернулся. Целая компания черных гостей с любопытством описывала медленные круги почти над его головой. Они парили, едва не касаясь верхушек холмов. Когда он приподнялся, стервятники взмыли вверх. Забыв о том, что у него, может быть, сломан позвоночник и треснули ребра, послушник, подрагивая, поднялся на ноги. Черная орда разочарованно снялась с места и, поддерживаемая горячими потоками воздуха, темными точками разошлась по небосклону, продолжая свое бодрствование. Столб пыли, который поднялся из провала, постепенно рассеивался под порывами легкого ветерка. Он надеялся, что кто-нибудь увидит его со сторожевой башни аббатства и явится проверить, что случилось. У ног его зияло квадратное отверстие, куда скользнула часть каменной осыпи. Вниз вели ступеньки, но только верхняя из них была свободна от груд обломков, шесть веков покоившихся в ожидании брата Френсиса, вмешательство которого и вызвало наконец грохочущий обвал. Рядом с лестницей на стенке

он различил надпись, которую обвал пощадил. Собрав в памяти воспоминания о староанглийском, что был в ходу до Потопа, он с запинками прошептал слова:

ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЕ УБЕЖИЩЕ

Максимум: 15 человек
Запас провизии рассчитан на 180 дней пребывания одного человека; делится соответственно количеству обитателей. После входа в убежище проверьте, чтобы ЛЮК 1 был тщательно закрыт и запечатан; и на защиту было подано напряжение, достаточное для предупреждения проникновения лица, несущего на себе радиоактивное заражение, чтобы…

Остальное разобрать было невозможно, но Френсису хватило и первого слова. Он никогда не видел слова «Радиация» и надеялся, что никогда не увидит его и впредь. Подробное описание этого чудовища не сохранилось, но до Френсиса дошли легенды. Он перекрестился и отступил от провала. Легенды говорили, что святой Лейбовиц был захвачен Радиацией и находился в ее когтях много месяцев, прежде чем заклятия, сопут-

ствовавшие его Крещению, заставили демонов убраться прочь.

Брат Френсис представлял себе Радиацию чем-то вроде саламандры, ибо, в соответствии с преданиями, она родилась в Огненном Потопе, и чем, как не ею, объясняется существование чудовищ, которых и до сих пор зовут «Дети Радиации»?

Послушник в ужасе посмотрел на надпись. Смысл ее был совершенно ясен. Невольно он нарушил покой убежища (необитаемого, молил он) не одного, а пятнадцати мертвых существ! Он вцепился в сосуд со святой водой.

Глава 2

О, вечный дух,
Господи, помилуй нас.
От молний и бурь,
Господи, помилуй.
От разверстой земли,
Господи, помилуй.
От чумы, мора и войны,
Господи, помилуй.
От часа ноль,
Господи, помилуй.
От кобальтовых дождей,
Господи, помилуй.
От стронциевых дождей,
Господи, помилуй.
От цезиевых дождей,
Господи, помилуй.
От проклятия Радиации,
Господи, помилуй.
От рождения чудовищ,

Господи, помилуй.
От проклятия выкидышей
Господи, помилуй.
Вечный им покой,
Господи, помилуй.
Тебя молим мы,
Господи.
Склоняемся к твоим стопам,
Снизойди к нам.
Отпусти нам грехи наши,
Снизойди к нам.
И дай нам царствие небесное,
Тебя молим мы.

Обрывки этих строк из литании Всех Святых с каждым выдохом бормотал брат Френсис, осторожно спускаясь по лестнице в древнее Противорадиационное Убежище, вооружившись только святой водой и факелом, наспех сделанным из тлевшей ветки ночного костра. Больше часа он ждал, чтобы пришел кто-нибудь из аббатства, привлеченный столбом пыли. Никто не появился.

Только серьезная болезнь или приказ вернуть-

ся в аббатство могли помешать ему выполнить обет своего послушничества; любое другое отступление не могло расцениваться иначе, как отречение от обетов, которые он дал, вступая в ряды монашеского альбертианского ордена Лейбовица. Но брат Френсис предпочел бы смерть на месте. А теперь он стоял перед выбором: то ли еще до захода солнца проникнуть в этот пугающий провал, то ли провести ночь в своем убежище, не считаясь с тем, что под покровом темноты кто-то сможет проникнуть сюда, разбудив его. Волки, эти ночные исчадия ада, доставляли ему немало хлопот, но в конце концов они были существами из плоти и крови. Существа, обладающие не столь зримой субстанцией, он предпочел бы встретить при свете дня, а сейчас он не мог не обратить внимания, что хотя лучи солнца еще освещали провал, оно все более склонялось к закату.

Осыпь, провалившаяся в убежище, образовала холмик у подножия лестницы, между каменными обломками и потолком осталась только узкая щель. Он пролез в нее ногами вперед и понял, что в таком положении ему надо двигаться и дальше из-за крутизны склона. Содрогаясь от мысли, что Неизвестное подстерегает его, он, упираясь в каменные глыбы, прокладывал путь

вниз. Когда его факел начинал мигать и гаснуть, он останавливался, давая ему разгореться; во время этих пауз он пытался оценить размеры опасности, подстерегающей его вокруг и внизу. Он почти ничего не видел. Теперь он находился в подземном помещении, почти треть которого была заполнена обломками камней, свалившихся сверху по лестнице. Россыпь их покрывала весь пол, повредив часть предметов обстановки и, скорее всего, похоронив под собой остальные. Перед ним были покосившиеся и мятые, сдвинутые с места металлические ящики, до половины засыпанные камнями. В дальнем конце помещения была открывающаяся наружу металлическая дверь, сейчас плотно запечатанная обвалом. Осыпавшаяся, но все еще хорошо видная, на ней была надпись, нанесенная по трафарету:

ВНУТРЕННИЙ ЛЮК

ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Очевидно, помещение, в котором он находился, можно было считать входной камерой. Но то, что находилось за «Внутренним люком», было запечатано тоннами камня, завалившими дверь. То, что крылось за нею, было в самом деле изолировано, пусть даже где-то и был второй выход.

Убедившись, что во входной камере не кроется никакой опасности, и приблизившись к подножию груды обломков, послушник при свете своего факела вгляделся в металлическую дверь. Под осыпавшимися буквами «Внутренний люк» шрифтом меньшего размера была нанесена надпись, основательно тронутая ржавчиной:

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внутренний люк не может быть закрыт, прежде чем весь персонал будет на своих местах и выполнены все процедуры, предписываемые для обеспечения безопасности техническим руководством СР-В-83А.

После того как люк будет закрыт, давление внутри убежища должно быть поднято до 2 атм., чтобы свести к минимуму приток наружного воздуха. Закрытый, люк впредь может быть открыт системой сервомониторов не раньше, чем будут соблюдены следующие условия:

1. Когда уровень внешней радиации опустится до безопасного предела.

2. Когда откажет система очистки воздуха и воды.

3. Когда кончатся запасы питания.

4. Когда кончатся запасы энергии для силовой установки.

Дальнейшие инструкции см. СР-В-83А».

Брат Френсис был несколько растерян, столкнувшись с таким предупреждением, но он решил все же осмотреть дверь, не прикасаясь к ней.

Брат Френсис заметил, что обломки, которые столетиями лежали во входной камере, темнее и грубее по текстуре, чем россыпь камней и щебня, отбеленных солнцем и ветрами пустыни до того, как попали в провал. Даже беглый взгляд на них свидетельствовал, что внутренний люк был запечатан отнюдь не сегодняшним обвалом, а гораздо раньше — может быть, эти камни были старше даже аббатства. Если полная изоляция противорадиационного убежища скрывала в себе Радиацию, демон, скорее всего, так и не открывал внутреннего люка со времен Огненного Потопа, до того как пришло Упрощение. И уж коль скоро оно сидит за металлической дверью столько столетий, нечего бояться, что оно прорвется сквозь люк до Страстной субботы.

Факел начал чадить и гаснуть. Найдя расплющенную ножку стула, он разжег ее от остатков

факела, а затем начал собирать куски разломанной обстановки, размышляя тем временем о смысле древних слов: противорадиационное убежище.

Брат Френсис готов был признать, что его знание до-Потопного английского было далеко от совершенства. Порой монахи помогали друг другу совершенствоваться в этом языке, но он всегда чувствовал, что язык был его слабым местом. Пользуясь латынью или самыми простыми диалектами региона, он видел, что словосочетание «servus puer» означало то же, что и «puer servus», да и в английском «мальчик-раб» означало то же, что и «раб-мальчик». Но на этом сходство кончалось. Он наконец понял, что «кошкин дом» — отнюдь не то же самое, что «дом кошки». Но что значило это словосочетание «Противорадиационное убежище»? Брат Френсис покачал головой. Предупреждение внутреннего люка означало пищу, воду и воздух; демонам ада делать здесь было нечего. Послушнику стало ясно, что тот английский, что был до Потопа, может быть даже сложнее теологических исчислений Ангелологии святого Лесли.

Он укрепил свой чадящий факел в куче камней, откуда он освещал даже самые темные уголки

входной камеры. Затем он принялся исследовать то, что осталось после обвала. Руины на поверхности земли не оставили никаких археологических загадок после того, как по ним прошли поколения мусорщиков, но этих подземных развалин не касалась ничья рука, кроме перста неведомого несчастья. Здесь чувствовалось присутствие других времен. Череп, завалившийся между камнями в дальнем темном углу, в оскале которого еще поблескивал золотой зуб, был ясным свидетельством того, что в убежище никогда никто не вторгался. Золотой резец поблескивал, когда пламя вздымалось выше.

Не раз и не два брат Френсис в пустыне натыкался на лохмотья иссушенной кожи, рядом с которыми лежала кучка выбеленных солнцем костей. Он не удивлялся, натыкаясь на них и никогда не испытывал приступов тошноты. Поэтому он и не поразился, впервые увидев череп в углу, но отблеск золота в его ухмылке то и дело бросался ему в глаза, когда он пытался расшатать дверь (закрытую или заваленную) или вытаскивал из-под куч камней мятые ржавые ящики. В них могли оказаться бесценные сокровища, если бы они содержали документы или же одну-другую маленькую книжку, пережившую свирепые

пожарища века Упрощения. Когда он пытался открыть один из них, пламя факела почти совсем погасло, но ему показалось, что череп источает слабый собственный свет. В самом этом факте не было ничего особенного, но брат Френсис почувствовал, что здесь, в сумрачном подземелье, это беспокоит его. Собирая обломки дерева, разжигая огонь и возвращаясь к своему занятию, он старался не обращать внимания на ухмылку черепа. Даже не пытаясь проникнуть вглубь, Френсис, прислушиваясь к живущему в нем страху, все отчетливее понимал, что убежище, особенно эти ящики, изобилуют богатыми реликвиями тех времен, которые мир (во всяком случае, большая его часть) постарался забыть.

Его осенило благословение Провидения. Найти часть прошлого, которое избежало и пламени костров, и жадности мусорщиков, было редкой удачей в его дни. Правда, такая находка всегда была связана с риском: в поисках древних сокровищ монастырские землекопы наткнулись на провал в земле, углубились в него и с триумфом вытащили какую-то странную цилиндрическую штуку, а затем, то ли очищая, то ли пытаясь понять предназначение находки, нажали не ту кнопку или повернули не ту ручку — и их земное

существование кончилось без благословения Святой Церкви. Всего лишь восемьдесят лет назад преподобный Боэдуллус, не скрывая удовлетворения, прислал письмо своему главе аббатства, в котором сообщал, что маленькая экспедиция отрыла остатки, как он сообщал, «базы межконтинентальных пусковых установок, а также подземные хранилища великолепного горючего». Никто в аббатстве не знал, что означали эти самые «межконтинентальные пусковые установки», но властитель аббатства, который правил в те времена, своим декретом строго-настрого, под страхом изгнания из общины, приказал монастырским исследователям избегать этих «установок». Письмо в аббатство было последним свидетельством существования преподобного Боэдуллуса, его экспедиции, его «пусковых установок» и небольшой деревушки в тех местах. Благодаря пастухам, которые, заметив изменение русла ручья, пошли по нему и обнаружили на месте деревушки прелестное озеро, куда теперь стекали воды окрестных ручьев и откуда пастухи черпали влагу для своих стад в периоды засухи. Путники, которые приходили с той стороны лет десять назад, говорили, что в озере отличная рыбалка, но тем не менее пастухи отказывались

есть рыбу из этого озера, потому что, как они считали, в рыбах были души исчезнувших селян и землекопов и, кроме того, в глубинах жил Боэдуллус, огромный сом…

«…Никакие раскопки не могут иметь места иначе, чем с целью обогащения Меморабилии, Достопамятности», — было сказано в декрете властителя аббатства, то есть брат Френсис имел право посетить убежище только в поисках книг и бумаг, избегая прикосновения даже к самым интересным металлическим изделиям. Пыхтя и обливаясь потом над ящиком, брат Френсис краем глаза видел поблескивание золотой коронки. Ящик не сдвигался с места. В отчаянии он пнул его и нетерпеливо повернулся в сторону черепа: «Почему бы тебе для разнообразия не поглазеть на что-нибудь еще?»

Череп продолжал улыбаться. Золотозубые останки, как на подушке, лежали на россыпи камней между куском скалы и ржавым металлическим ящиком. Бросив свое занятие, послушник поднялся на склон осыпи, чтобы хотя бы рассмотреть поближе то, что некогда было человеком. Ясно было, что он скончался на месте, сбитый с ног каменной лавиной и полупогребенный под обвалом. Лишь череп и кости голени остались

нетронутыми. Бедренные кости были переломаны, основание черепа раздроблено.

Одним дыханием брат Френсис произнес заупокойную молитву, а затем очень осторожно подняв череп с места, где он покоился, повернул его так, что его ухмылка была обращена к стене. Теперь он мог рассмотреть ржавый ящик.

По форме ящик напоминал сумку и, вне всякого сомнения, был предназначен, чтобы его носили в руках. Он мог служить любой цели, по каменный обвал сильно изуродовал его. Осторожно послушник извлек его из-под осыпи и поднес ближе к огню. Замок, похоже, был сломан, но ржавчина приварила его язычок к корпусу. В ящике что-то загремело, когда брат Френсис потряс его. Конечно, он был далеко не самым подходящим хранилищем для книг или бумаг, но столь же очевидно было и то, что ящик был предназначен для того, чтобы его открывали и закрывали, и мог содержать в себе пару крох информации для Достопамятности. Тем не менее, помня печальную судьбу брата Боэдуллуса и иже с ним, он окропил ящик святой водой, прежде чем приступить к нему, и взял в руки древнюю реликвию настолько благоговейно, насколько это возможно, когда сбиваешь камнем ржавые петли.

Наконец он освободил защелку. Металлические крохи посыпались с крышки, и некоторые из них безвозвратно исчезли меж расселинами камней. Но на дне ящика, в пространстве между перегородками, он что-то нащупал — бумаги! Торопливо вознеся благодарственную молитву, он собрал все металлические осколки, что попались ему на глаза, и, опустив защелку, вскарабкался на осыпь, торопясь к лестнице и затем к клочку неба; ящик он крепко зажал подмышкой.

После тьмы убежища свет ослепил его. Он почти не обратил внимания, что солнце находится в опасной близости к горизонту, и сразу же стал искать плоский камень, на котором можно было бы разложить содержимое ящика без риска потерять что-то в песке.

И уже через минуту, устроившись на обломке скалы, он начал выкладывать из ящика обломки металла и стекла. Большинство из них представляло собой небольшие продолговатые штучки с проволочными усиками по обоим концам. Нечто подобное он уже видел раньше. В маленьком музее аббатства было несколько таких, разных размеров и цветов. Как-то ему довелось увидеть шамана с тех холмов, где жили язычники, с ожерельем из таких вот изделий. Люди с холмов

воспринимали их как «часть Божьего тела» — сказочной «Аналитической машины», которую они чтили как мудрейшего из богов. Проглотив одно из своих украшений, шаман приобщался высших знаний. «Непогрешимость», — говорили они. И действительно, для своих соплеменников он возносился на вершины Неоспоримости. Эти простейшие штучки в музее были соединены друг с другом в какую-то беспорядочную массу на днище металлического ящика и назывались «Радиошасси: включать с предохранителем».

На внутренней крышке ящика был прикреплен лист бумаги, со временем клей превратился в порошок, чернила выцвели, а бумага настолько потемнела от пятен ржавчины, что даже каллиграфический почерк с трудом поддавался бы прочтению, а текст этой бумаги был набросан торопливыми каракулями. Опустошая содержимое ящика, брат Френсис с трудом разбирал их. Похоже, что написано было по-английски, по прошло около получаса, прежде чем он понял большую часть послания:

«Карл —

Ты должен захватить самолет для (неразборчиво) через двадцать минут. Ради бога, пусть Эм будет с тобой, пока не станет ясно, что мы вступили в войну. Прошу тебя! Постарайся включить ее в последний список для убежища. Я не мог достать для нее место в нашем самолете. Не говори ей, зачем я послал ей этот ящик с барахлом, но постарайся продержать ее здесь, пока мы не будем знать (неразборчиво) самое худшее и что выхода нет.

И. Э. Л.

P.S.

Я запечатал ящик и написал на нем “Совершенно секретно”, просто чтобы Эм не заглянула внутрь. Это единственный ящик, который мне удалось прихватить с собой. Засунь его в мой рундук или сделай с ним что-нибудь».

Записка показалась брату Френсису сплошной чепухой, хотя в этот момент он был так взволнован, что ему было трудно сконцентрироваться на ее содержании. Еще раз усмехнувшись при виде каракулей, он принялся опустошать содержимое

отделений ящика, чтобы добраться до бумаг на самом его дне. Перегородки в ящике были укреплены в определенном порядке, в котором их следовало вынимать, но защелки основательно заржавели, так что Френсису пришлось расшатывать их с помощью короткого металлического стержня, обнаруженного в одном из отделений.

Справившись с этой работой, он благоговейно прикоснулся к бумагам: всего несколько сложенных листиков, но и они представляли собой сокровище, ибо избежали гневных костров Упрощения, когда даже священные письмена корчились, темнели и дымом уходили в небо, пока тупая толпа вопила и торжествовала в восторге. Он прикасался к бумагам, как к святыне, укрывая их от порывов ветерка своим облачением, ибо века, прошедшие над ними, сделали их хрупкими и ломкими. Они представляли собой пачку грубых набросков и вычислений. Кроме того, в их содержимое входили несколько написанных от руки записок, два больших сложенных листа и книжечка, озаглавленная «Memo»[6].

Первым делом он изучил записки. Они были написаны той же самой рукой, что набросала

---

[6] Примечания: 6
Записи для памяти *(лат.)*.

письмо, приклеенное к крышке ящика, и почерк был столь же неразборчив, что и в предыдущей записке.

«Принеси домой Эмме, — говорила одна записка, — фунт копченого мяса, банку маринованных патиссонов и шесть пирожков с мясом».

Вторая напоминала:

«Не забудь — захвати форму 1040 для дяди из налогового ведомства».

На очередном листе были только колонки цифр, итог обведен овалом: из него была вычтена другая сумма, переведенная в проценты, и завершались все эти подсчеты словом «проклятье!».

Брат Френсис просмотрел подсчеты, произведенные тем же неприятным корявым почерком, но ошибки в них не нашел, хотя он не имел представления, что выражали эти цифры.

К книжечке с надписью «Для памяти» он прикоснулся с особым почтением, потому что ее название напоминало о «Меморабилии». Прежде чем открыть ее, он перекрестился и пробормотал благословение Тексту. Но содержимое маленькой книжечки вызвало у него разочарование. Он ожидал увидеть печатный текст, а вместо него обнаружил список имен, мест, каких-то цифр и дат. Даты относились к последним годам пято-

го десятилетия и началу шестого десятилетия двадцатого столетия. Еще одно подтверждение — содержимое убежища относилось к смутным временам века Просвещения. Однако и это было важным открытием.

Большие свернутые листы были туго скатаны, и едва только он попытался развернуть один из них, тот стал рваться на куски; единственное, что Френсис успел увидеть, были слова РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАБЕГОВ — и ничего больше. Отложив его до дальнейшей реставрации, он обратился к другому сложенному листу: тот был настолько ветх, что он осмелился только чуть развернуть листы в надежде что-то увидеть, вглядываясь в эту щель.

Похоже, что там был какой-то чертеж, но — он состоял из белых линий на синем поле!

И снова он ощутил дрожь первооткрывателя. Несомненно, это была синька! — а в аббатстве не было ни одного оригинала синьки, не считая нескольких чернильных копий. Оригиналы давным-давно выцвели под воздействием света. Френсис никогда раньше не видел оригиналов, хотя он достаточно насмотрелся на репродукции ручной работы, чтобы понять, что перед ним именно подлинная калька, которая, пусть и выцветшая и покрытая пятнами ржавчины,

сохранилась за все эти века, потому что находилась в полной темноте и сухости убежища. Он перевернул документ — и испытал прилив ярости. Какому идиоту попали в руки эти бесценные бумаги? Кто-то разрисовал их абстрактными геометрическими фигурами и рожицами. Что за бессмысленный вандализм!..

Но гнев его быстро испарился. В то время когда калька появилась на свет, она не представляла собой ровно никакой ценности, и виновником ее состояния можно считать владельца ящика. Он прикрыл ее от солнца своей тенью и попытался развернуть листы еще немного. В правом нижнем углу был впечатан прямоугольник, содержание которого составляли простые печатные буквы — имена, цифры, даты, «номер патента», сноски. Скользнув дальше по листу, его глаза наткнулись на название: «СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ, Лейбовиц И. Э.».

Он зажмурил глаза и помотал головой, пока не ощутил гул в ушах. Посмотрел снова. Буквы были на месте, он видел их четко и ясно:

СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ, Лейбовиц И. Э.

Он снова перевернул лист. Среди геометрических фигур и детских рисунков красными

чернилами был ясно отпечатан прямоугольник:

ЧЕРТЕЖ ИСПОЛНИЛИ:

Провер.
Утверд.
Сконструир. И. Э. Лейбовиц
Начерт.

Имя было написано четким женским почерком, а не торопливыми каракулями других бумаг. Он снова посмотрел на инициалы той записки, что была приклеена к крышке: И. Э. Л. — и снова на «СХЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ, Лейбовиц И. Э…» Те же самые буквы, что во всех записях.

Это было доказательство, хотя и весьма предположительное, что святого основателя ордена, если его наконец канонизируют, придется называть святой Айзек или святой Эдвард. Кое-кто вплоть до настоящего времени предпочитал обращаться к святому по его инициалам.

— Beate Leibowitz, ora pro me![7] — прошептал брат Френсис. Руки у него тряслись так сильно, что он боялся повредить хрупкий документ.

Он нашел реликвии, принадлежащие самому

[7] Примечания: 7
Блаженный Лейбовиц, молись за меня! *(лат.).*

святому. Конечно, Новый Рим (Нью-Рим) еще не объявил, что Лейбовиц был святым, но сам брат Френсис был настолько неколебимо убежден в этом, что твердо повторил:

— Sancte Leibowitz, ora pro me![8]

Брат Френсис не стал тратить время на глупые логические рассуждения, которые должны были привести к этому выводу, он чувствовал глубокую благодарность к Небесам, которые таким образом благословили его отшельничество. Он понимал, что нашел то, ради чего и был послан в пустыню. Он призван в этот мир, чтобы стать монахом ордена.

Забыв строгое предупреждение аббата, что он не должен ждать от своего отшельничества никаких чудес и тайн, послушник рухнул на колени, вознеся свои благодарения небу и пообещав, что несколько десятков раз переберет в молебствиях четки — за то, что оно послало ему старого пилигрима, указавшего камень, под которым крылся вход в убежище. «Может, скоро ты снова обретешь Голос, сынок», — сказал ему путник. И только сейчас послушник понял, что пилигрим имел в виду тот Голос, что произносится с заглав-

---

[8] Примечания: 8
Святой Лейбовиц, молись за меня! *(лат.).*

ной буквы.

Ut solius tuae voluntatis mihi cupidus sum, et vocationis tuae conscius, si digneris me vocare…[9]

Дело аббата оценить, что Голос этот говорил об обстоятельствах, а не о причинах и следствиях. И дело Истолкователя Веры оценивать, что, может быть, «Лейбовиц» было не совсем обыкновенной фамилией до времен Огненного Потопа, и что инициалы И. Э. можно столь же легко истолковать как Ихебод Эбенезер, так и Айзек Эдвард. Но для Френсиса существовало только одно истолкование.

Издалека, со стороны аббатства, донеслись три удара колокола, а затем пустыня услышала остальные — всего девять.

«Ангелы господни славят Деву Марию», — привычно откликнулся послушник, в удивлении посмотрев на солнце, которое уже превратилось в пурпурный эллипс, почти касающийся горизонта на западе. А каменная стена вокруг его убежища еще не завершена.

Как только ангелы господни смолкли, он торопливо сложил все бумаги в старый ржавый ящик. Глас Небес отнюдь не означал, что его услышат и

---

[9] Примечания: 9

Дабы я жаждал одной лишь воли Твоей и чувствовал призвание Твое, если удостоишь меня Своим призванием. *(лат.).*

трусливые ночные создания, и злобные голодные волки.

К тому времени, когда тьма сгустилась и на небо высыпали звезды, убежище, созданное его руками, пришло к завершению, осталось только, чтобы волки попробовали его на зуб. Они не заставили себя ждать. Френсис услышал завывания, доносившиеся с западной стороны. Он разжег пламя костра, но за пределами освещенного круга было так темно, что он не мог собрать свою ежедневную порцию кроваво-красных плодов кактусов — единственный источник существования, не считая воскресений, когда ему доставалась пара пригоршней сухих зерен, что привозил из аббатства священник, совершавший объезд по местам святых обетов. Но буква закона, относящегося к Великому посту, на практике смягчалась, и все правила, в сущности, сводились к простому голоданию.

Но в этот вечер сосущие муки голода беспокоили Френсиса куда меньше, чем страстное желание поскорее вернуться в монастырь и оповестить о своей находке. Это отнюдь не означало, что он может прервать свой пост ранее назначенного срока; здесь, в пустыне, он должен был провести все отведенное ему время, бодрствуя или прова-

ливаясь в сон, но блюдя свой обет, словно ничего не произошло.

В полудреме, сидя около костра, он смотрел в темноту, где скрывалось противорадиационное убежище, и пытался представить себе башню базилики, что вознесется над этим местом. Мечтания эти доставляли удовольствие, но ему было трудно представить себе, что кто-то в самом деле изберет этот отдаленный уголок пустыни, чтобы основать здесь будущую епархию. Если не базилика, то хотя бы небольшая церковь — обитель святого Лейбовица-Пустынника, окруженная садом за высокими стенами, с ракой святого, и к ней потекут реки пилигримов с препоясанными чреслами из северных краев. «Отец» Френсис из Юты возглавит пилигримов в их шествии по руинам, даже сквозь «Люк Два» в великолепие «Полной изоляции»; вниз, в катакомбы Огненного Потопа, где… где… ну ладно, об этом потом, а пока он отслужит им мессу на каменном алтаре, в котором будут храниться реликвии святого, в чью честь названа церковь, — обрывки мешковины? кусок веревки от пояса? маникюрные ножницы со дна ржавого ящика? — или, может быть, СХЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ. Фантазия его иссякла. Шансов стать священником у брата Френсиса

почти не было — так же, как стать миссионером ордена; братья аббатства Лейбовица нуждались лишь в небольшом количестве священников для нужд аббатства и некоторого количества для небольших монашеских общин в других местах.

Кроме того, звание «святого» присваивалось только в официальном порядке, и никто не мог быть официально провозглашен святым, пока не совершил парочку солидных качественных чудес, подтверждающих его святость и придающих канонизации ореол непогрешимости, каковой она и должна быть, хотя монахам ордена Лейбовица официально не запрещалось благоговеть перед своим отцом-основателем и покровителем, исключая упоминание о нем в таковом качестве во время месс и служб. Размеры церкви, созданной его фантазией, уменьшились до придорожной часовни, куда тонкой струйкой текли пилигримы. Новый Рим был занят другими делами — он рассматривал петицию, требующую формального определения в вопросе касательно Божественного дара святой Девственницы, а доминиканцы считали, что Непорочное Зачатие включает в себя не только вечную благодать, но и благословение Матери Божией всему сущему, что проявилось в канун Краха. И так далее.

Втянувшись во все эти диспуты, Новый Рим, по всей видимости, оставил дело о канонизации Лейбовица почивать в пыли на полках.

Наконец удовлетворившись в своих мечтаниях лицезрением небольшой раки Благословенного и парой пилигримов, брат Френсис задремал. Когда он очнулся от забытья, на месте костра тлели только рдеющие угли. Что-то странное творилось вокруг него. Один ли он? Проморгавшись, он вгляделся в окружающую темень.

Он увидел, как от тускнеющих углей во тьму отпрыгнул темный силуэт волка.

Вскрикнув, послушник нырнул за укрытие.

Лежа за каменной стеной, под грудой кустарника, он решил, что вопль этот был непреднамеренным нарушением обета молчания. Прижимая к себе металлический ящик и молясь, чтобы дни обета прошли в мире и спокойствии, он услышал, как по камням заскребли когтистые лапы.

Глава 3

— ...И тогда, отец мой, я едва не притронулся к хлебу и сыру.

— Но ты не взял их?

— Нет.

— Тогда, значит, ты не совершил греховного деяния.

— Но я жаждал их, я ощущал их вкус у себя во рту.

— Преднамеренно ли ты делал сие?

— Нет.

— Ты пытался избавиться от наваждения?

— Да.

— Значит, в мыслях своих ты не впал в грех обжорства. Почему ж ты каешься?

— Потому что я впал во гнев и окропил его святой водой.

— Ты... что? Почему ты это сделал?

Отец Чероки, подобрав епитрахиль, глядел на грешника, который, повернувшись к нему боком, стоял на коленях под безжалостным солнцем открытой пустыни; он был полон удивления перед тем, каким образом столь юный (и не особенно образованный, насколько он мог понять)

послушник, пребывающий в выжженной пустыне, лишенной даже намеков на искушение, мог найти или почти найти возможность впасть в грех. Юноша, почти мальчик, вооруженный лишь четками, кремнем, перочинным ножом и молитвенником, здесь был надежно убережен от всех соблазнов. Отец Чероки был в этом уверен. Но это признание потребовало времени, и он не прерывал грешника. У него снова разыгрался артрит, но, поскольку на маленьком столике, который он обычно брал с собой в объезд, лежало Святое Писание, он мог позволить себе только стоять или, по крайней мере, опуститься на колени рядом с кающимся. Он зажег свечу и поставил ее рядом с маленькой золотой дарохранительницей, но пламя было почти невидимо в слепящем блеске солнца, а легкие порывы ветерка угрожали задуть огонек.

— Но в наши дни для изгнания злых сил не требуется какого-то специального разрешения. Так в чем же ты каешься… в том, что впал в грех гневливости?

— И в этом тоже.

— На кого же ты разгневался? На того старика — или на себя, когда едва не взял хлеба?

— Я… я не знаю.

— Ну-ну, соберись с мыслями, — нетерпеливо сказал отец Чероки. — То ли ты себя винишь, то ли кого-то другого.

— Виню себя.

— В чем? — вздохнул Чероки.

— В том, что в приступе гнева злоупотребил святой водой.

— Злоупотребил? Может, ты думаешь, что здесь было дьявольское наваждение? Ты просто вспылил и брызнул на него? Как чернилами в глаз?

Послушник смутился и замолк, почувствовав сарказм священника. Брату Френсису всегда было трудно каяться. Он никогда не мог найти правильные слова, описывающие его прегрешения, а пытаясь припомнить мотивы, которыми он руководствовался, окончательно терялся.

— Думаю, на мгновение я потерял рассудок, — наконец сказал он.

Чероки открыл рот, думая, было, обсудить такой поворот событий, но затем решил не вдаваться в детали.

— Понимаю. Что еще?

— Были мысли об обжорстве, — незамедлительно ответил Френсис.

Священник вздохнул.

— Думаю, с этим мы уже покончили. Или они

посетили тебя еще раз?

— Вчера. Я видел ящерицу, отец мой. На ней были желтые и синие полосочки… и такой великолепный хвостик — размером с ваш палец, и такой упитанный, и я не мог не думать, что если его поджарить, как цыплячью ножку, с коричневой кожицей и сочной мякотью внутри, то…

— Хорошо, — прервал его священник. Лишь легкая тень отвращения мелькнула на его старческом лице. Надо учесть, что мальчишка слишком много времени провел на солнце. — Испытывал ли ты удовольствие от этих мыслей? Пытался ли ты избавиться от искушения?

Френсис покраснел.

— Я… я попытался поймать ее. Но она убежала.

— Значит, не только мысли, но и деяния. В одно и то же время?

— Ну… да, именно так.

— Значит, в мыслях и деяниях ты возжелал мяса во время поста. А теперь постарайся собраться с мыслями. Ты, конечно, заглядывал к себе в душу. Тебе есть еще о чем сказать?

— Еще немного.

Священник моргнул. Ему надо было посетить еще несколько отшельников, его ждало долгое путешествие по жаре верхом, и колени у него

ныли и болели.

— Прошу тебя, поскорее, как только можешь, — вздохнул он.

— Однажды я впал в грех похотливости.

— В словах, мыслях или деяниях?

— Ну, я имел дело с суккубом, и она…

— Суккуб? А, ночная дьяволица! Ты спал?

— Да, но…

— Тогда чего ради тебе каяться?

— Потому что потом…

— Что потом? Когда ты проснулся?

— Да. Я продолжал думать о ней. Представлял ее снова и снова с головы до ног.

— Ясно, похотливые мысли. Отпускаю тебе грех твой. Что еще?

Все это было в порядке вещей, и бесконечно, год от году послушник за послушником, монах за монахом каялись ему, и отец Чероки считал, что от брата Френсиса нельзя ожидать ничего иного, как торопливого — раз, два, три — изложения своих прегрешений, без этого нудного копания и заминок. Но чувствовалось, что Френсис с трудом подыскивает слова, чтобы сформулировать мысль. Священник ждал.

— Я чувствую, что обрел свое призвание, отче, но… — Френсис облизал сухие губы и уставился

на какую-то мошку на камне.

— Вот как? — бесстрастно сказал Чероки.

— Да, и я думаю… грех ли это, отче, если, обретя в себе призвание, я позволил себе пренебрежительно отнестись к рукописи? То есть я имел в виду…

Чероки моргнул. Рукопись? Призвание? Что он хочет сказать?.. Несколько секунд он вглядывался в серьезное лицо послушника, а затем нахмурился.

— Обменивались ли вы записками с братом Альфредом? — подозрительно спросил он.

— О нет, отче!

— Тогда о какой рукописи ты говоришь?

— Пресвятого Лейбовица.

Чероки помолчал, чтобы собраться с мыслями. Так ли это или нет, есть ли в собрании древних документов аббатства манускрипт, написанный лично основателем ордена? После минутного раздумья он пришел к утвердительному выводу: да, осталось несколько строк, которые бдительно хранятся под замками и запорами.

— Ты кому-нибудь рассказывал о том, что было в аббатстве? До того, как очутился здесь?

— Нет, отче. Все случилось именно здесь, — кивком головы он указал налево. — За тремя

холмиками, рядом с высоким кактусом.

— И ты говоришь, что это имело отношение к твоему призванию?

— Д-да, но…

— Конечно, — ехидно сказал Чероки, — и ты НЕ МОГ не сказать о том… что ты получил… получил от блаженного Лейбовица, покойного — о чудо из чудес! — последние шестьсот лет, письменное предложение проповедовать его святые обеты. Но, увы, тебе не понравился его почерк? Прости, но у меня сложилось именно такое впечатление.

— Ну, в общем, что-то такое, отче…

Чероки сплюнул. Встревожившись, брат Френсис вытянул из рукава клочок бумаги и протянул его священнику. Клочок был хрупок от старости и весь в пятнах. Чернила почти выцвели.

«…фунт копченого мяса, — спотыкаясь на незнакомых словах, прочитал Чероки, — банку маринованных патиссонов и шесть пирожков с мясом». Несколько секунд он сверлил взглядом брага Френсиса. — Кто это написал?

Френсис рассказал ему.

Чероки обдумал сказанное.

— Пока ты в таком состоянии, ты не можешь как следует покаяться в грехах. И я не вправе отпускать тебе грехи, когда ты не в себе, — увидев,

как Френсис вздрогнул, отец Чероки успокаивающе положил ему руку на плечо. — Не волнуйся, сынок, обо всем этом мы поговорим попозже, когда тебе станет лучше. Тогда и покаешься в грехах. Что же касается настоящего, — он нервно взглянул на сосуд скудельный, содержащий евхаристию. — Мне желательно, чтобы ты собрал свои вещи и тотчас же отправился в аббатство.

— Но, отец мой, я…

— Я приказываю тебе, — бесстрастно сказал священник, — тотчас же отправляться в аббатство.

— Д-да, отче.

— Итак, грехи я тебе не отпускаю, но ты можешь доказать, что раскаялся, если два десятка раз с молитвами переберешь все четки. Угодно ли тебе принять мое благословение?

Послушник кивнул, сдерживая слезы. Священник благословил его, приподнимаясь, торопливо преклонил колени перед дарохранительницей и подвесил ее на цепочке вокруг шеи. Убрав свечу, сложив столик, он приторочил сверток позади седла, торжественно кивнул Френсису на прощанье, взгромоздился на своего мула и пустился завершать свой объезд.

Френсис сел на горячий песок и заплакал.

Было бы куда проще, если бы Френсис мог от-

вести священника в пещеру и показать ему это древнее укрытие, если бы он мог продемонстрировать ему и металлический ящик со всем его содержимым, и знак, что пилигрим оставил на камне. Но священник сопровождал дарохранительницу, и невозможно было заставить его на четвереньках ползти по подвалу, заваленному камнями, копаться в содержимом старых ящиков и вступать в археологические дискуссии; Френсис знал, что не стоит даже заводить об этом разговор. Посещение Чероки не могло не быть торжественным и официальным, поскольку медальон, который он носил на шее, содержал в себе гостию; будь медальон пуст, он бы и снизошел к разговору. Послушник не мог осуждать Чероки, который пришел к выводу, что Френсис не в своем уме. У него в самом деле кружилась голова от солнца, и он слегка запинался. Не у одного послушника бдение в пустыне кончалось тем, что он возвращался со сдвинутыми мозгами.

Ему не оставалось ничего другого, как, повинуясь приказу, возвратиться в аббатство.

Он побрел к провалу и постоял, вглядываясь в него, словно стараясь еще раз уверить себя, что тот в самом деле существует, затем поднял ящик. К тому времени когда все было упаковано

и он был готов двинуться в дорогу, столб пыли, поднявшийся к юго-востоку от него, оповестил, что из ворот аббатства вышел караван с грузом зерна и воды. И прежде чем двинуться в долгий путь домой, брат Френсис решил дождаться его.

Из клубов пыли показались три мула в сопровождении монаха. Передний мул еле тащил ноги под тяжестью брата Финго. Несмотря на опущенный капюшон, брат Френсис сразу же узнал помощника повара по его обвислым плечам и длинным волосатым ногам, которые болтались по обе стороны седла так, что сандалии брата Финго едва не волочились по земле. Вьючные животные, что шли за ними, были нагружены небольшими мешками с зерном и бурдюками с водой.

— Тю-тю-тю-пиг-пиг-пиг! Тю-тю-пиг! — приложив ладони ковшом ко рту, брат Финго, обращаясь к руинам, словно в рог оповещал о своем прибытии, не обращая внимания на Френсиса, уже стоявшего на обочине тропы. — Пиг-пиг-пиг! А, неужто это ты, Френсис! Я спутал тебя с мешком костей! Надо тебя откормить, чтобы волкам было чем полакомиться. Ну-ка, тащи свои воскресные помои! Ну, как она, ноша отшельника? Думаешь, карьеру сделаешь? Имей в виду, тебе причитает-

ся один бурдюк и столько же мешков с зерном. И держись подальше от копыт Малиции — у нее течка, и она уж очень резва; недавно лягнула брата Альфреда — кранч! — прямо в колено. Осторожнее! — брат Финго откинул капюшон и захохотал, глядя, как Малиция и послушник выбирали позицию поудобнее. Без сомнения, Финго был безобразнейшим из всех живущих существ, и когда он хохотал, обнажая розовые десны и огромные разноцветные зубы, это вряд ли прибавляло ему обаяния. Он был славный малый, который вряд ли заслуживал названия чудовища: скорее он нес на себе наследственные приметы, которыми обладали все обитатели Миннесоты, откуда был родом, — совершенно лысая голова и странное распределение красящего пигмента: молочно-белая шкура этого долговязого монаха была покрыта светло-коричневыми и шоколадными пятнами. Никогда не покидавший его добродушный юмор компенсировал уродливость, так что через несколько минут после знакомства она переставала бросаться в глаза; а по прошествии времени пятнистость брата Финго казалась столь же нормальной, как и яблоки на крупе мула. Будь он по натуре мрачным и унылым, он был бы столь же страшен, как плохой

клоун, который, размалевав себя, изо всех сил тщится быть веселым. На кухне брат Финго пребывал временно, в виде наказания. По профессии он был плотником и обычно работал в столярной мастерской. Но излишне рьяно отстаивая свое право вырезать из дерева статую святого Лейбовица, каким он его видел, брат Финго поссорился с отцом аббатом и был отослан на кухню, где и должен был пребывать, пока не почувствует всю глубину своего падения. Но тем не менее в мастерской продолжала его ждать наполовину готовая фигура святого.

Ухмылка Финго увяла, когда он увидел выражение лица Френсиса, с которым послушник снял зерно и воду со спины кобылицы.

— Ты выглядишь как больная овца, парень, — сказал он послушнику. — В чем дело? Опять отец Чероки распалился?

Брат Френсис покачал головой.

— Не стоит говорить.

— Тогда в чем дело? Может, ты в самом деле заболел?

— Он приказал мне возвращаться в аббатство.

— Что-о-о? — Финго перекинул волосатую ногу через седло и почти сполз на землю. Нависнув, подобно башне, над братом Френсисом, он хлоп-

нул мясистой рукой по его плечу и заглянул ему в лицо. — Он что, завидует тебе?

— Нет. Он думает, что я… — Френсис постучал себя по лбу и пожал плечами.

Финго расхохотался.

— Что правда, то правда, но ведь мы все знаем это. Так чего ради он посылает тебя обратно?

Френсис посмотрел на ящик, стоящий у его ног.

— Я нашел вещи, принадлежащие святому Лейбовицу. Я начал ему рассказывать о них, но он мне не поверил. Он даже не дал мне объяснить. Он…

— Что ты нашел? — скрыв за улыбкой свое недоверие, Финго опустился на колени и открыл ящик, пока Френсис, волнуясь, наблюдал за ним. Потрогав пальцем свернутые трубочкой бумаги на стеллаже ящика и цилиндрики деталей, он тихонько присвистнул. — Так ведь это амулеты, что носят язычники с холмов, не так ли? Они очень древние, Френсиско, они и в самом деле очень древние, — он бросил взгляд на записку, приклеенную к крышке. — А это что за чепуха? — спросил он, прищуриваясь снизу вверх на несчастного послушника.

— Английский, что был до Потопа.

— Я никогда не учил его, если не считать тех псалмов, что мы поем в хоре.

— Это писал святой собственной рукой.

— Вот это? — брат Финго перевел взгляд с записки на брата Френсиса и обратно на записку. Внезапно он покачал головой, захлопнул крышку ящика и встал. Улыбка, застывшая на его лице, теперь казалась искусственной. — Может быть, отец Чероки и прав. Тебе в самом деле лучше отправляться обратно, и пусть брат-медик попотчует тебя своим варевом из измельченных жаб. У тебя лихорадка, братец.

Френсис пожал плечами.

— Может быть.

— Где ты нашел эту штуку?

Послушник показал.

— В той стороне. Я таскал и ворочал камни. Обнаружил провал, а под ним подземелье. Пойди и посмотри сам.

Финго покачал головой.

— У меня долгая дорога впереди.

Френсис поднял ящик и направился к аббатству, но через несколько шагов послушник остановился и повернулся к Финго, возившемуся со своими мулами.

— Брат… не уделишь ли ты мне пару минут?

— Может, и уделю, — ответил Финго. — Но чего ради?

— Просто подойди сюда и взгляни в дырку.

— Зачем?

— Тогда ты сможешь сказать отцу Чероки, что видел ее.

Финго замер с одной ногой, уже закинутой на седло.

— Ха! — сказал он, опуская ногу. — Идет. Но если ее там не будет, я уж тебе скажу…

Френсис подождал, пока долговязая фигура Финго скрылась из виду между холмами гальки и щебня, а затем повернулся и побрел по долгой пыльной тропе к аббатству, пережевывая зерна и запивая их водой из бурдюка. Время от времени он оборачивался. Финго не было видно гораздо больше двух минут. Брат Френсис уже отчаялся дождаться его появления, как со стороны развалин раздался дикий рев. Он повернулся. В отдалении на вершине одного из холмов он увидел фигуру плотника. Финго размахивал руками и яростно кивал головой в знак подтверждения. Френсис махнул ему в ответ и устало побрел своей дорогой.

Две недели полуголодного существования сделали свое дело. После двух-трех миль пути

он начал спотыкаться. Когда до аббатства оставалось не больше мили, он потерял сознание прямо посреди дороги. Солнце давно уже миновало зенит, когда отец Чероки, возвращаясь с объезда, заметил его, торопливо спешился и обмыл лицо юноши, пока тот медленно приходил в себя. В это время их нагнал возвращающийся в аббатство караван груженых мулов, и когда они остановились, он выслушал отчет Финго, подтверждающий находку Френсиса. И хотя отец Чероки не был готов признать важность того, что обнаружил брат Френсис, все же священник пожалел о своем нетерпении по отношению к послушнику. Обнаружив ящик, наполовину зарывшийся в дорожную пыль, и бросив беглый взгляд на записку на крышке, пока смущенный Френсис постепенно приходил в себя, отец Чероки понял, что лепетание мальчишки было скорее результатом его романтических представлений, чем размягчения мозгов, как ему вначале показалось. Да, он не был в пещере, он не исследовал достаточно внимательно содержимое ящика, но уже сейчас было совершенно ясно, что у мальчика не было галлюцинаций, а просто он неправильно истолковал совершенно обычные вещи.

— Ты можешь завершить свое покаяние, как

только мы вернемся в аббатство, — мягко сказал он, помогая ему влезть на мула позади себя. — Думаю, что могу отпустить тебе грехи, если ты не будешь настаивать, что получил личное послание от святого. А?

Брат Френсис был слишком слаб в этот момент, чтобы упорствовать.

Глава 4

— Ты поступил совершенно правильно, — наконец проворчал аббат.

Минут пять он неторопливо мерил шагами свою келью, а отец Чероки сидел на краешке стула. Нервничая, он смотрел, как наливается гневом широкое крестьянское лицо аббата, изрезанное глубокими морщинами. После того как Чероки, торопясь на вызов своего владыки, вошел в помещение, аббат не проронил ни слова, и Чероки слегка даже подпрыгнул, когда наконец аббат Аркос пробурчал эти слова.

— Ты поступил совершенно правильно, — еще раз сказал аббат. Остановившись в центре кельи и прищурившись, он посмотрел на своего приора, который наконец позволил себе несколько расслабиться. Было около полуночи, и Аркос собирался часок-другой отдохнуть перед заутреней. Растрепанный, с влажной кожей после недавнего купания в бочке с водой, он напоминал Чероки медведя-оборотня, который еще не успел полностью превратиться в человека. На плечи у него была накинута шкура койота, и единственное, что напоминало о его звании, был нагрудный

крест, прятавшийся в густой черной растительности на груди, когда аббат поворачивался к столу, крест неизменно вспыхивал в пламени свечи. Мокрые клочья волос спадали на лоб, а его короткая бородка и звериная шкура на плечах напоминали не столько священника, сколько предводителя военного отряда, еще не остывшего от ярости битвы после последней стычки. Отец Чероки, который происходил из баронского рода из Денвера, старался держать себя в рамках формальной вежливости как в поступках, так и в ответах, обращаясь не столько к человеку, сколько к знаку его власти — так повелевали ему обычаи Двора, сложившиеся за много веков его существования. Иными словами, с формальной стороны отец Чероки демонстрировал сердечное волнение перед перстнем и нагрудным крестом, служившими знаками власти аббата, но как личность он его практически не воспринимал. Что было в данный момент довольно затруднительно, поскольку преподобный аббат Аркос, только что омывший свое тело, продолжал шлепать босыми пятками по помещению. Кроме того, обрезая мозоли на ноге, он поранился, и сейчас один палец кровоточил. Чероки старался делать вид, что ничего не замечает, но чувствовал себя

далеко не самым лучшим образом.

— Ты понимаешь, о чем я говорю? — нетерпеливо пробурчал Аркос.

Чероки помедлил.

— Имеете ли вы в виду, отче мой, нечто, связанное с тем, что мне приходится выслушивать на исповедях?

— А? Ах это! Ну, ты меня совсем сбил с толку! Я начисто забыл, что ты слушал его исповедь. Ладно, заставь его рассказать тебе все снова так, чтобы ты мог сам говорить — хотя бог знает, какое отношение все это может иметь к аббатству. Нет, не торопись к нему. Я скажу тебе, что делать, и пусть уста твои будут запечатаны намертво. Ты видел эту штуку? — и аббат Аркос кивнул на стол, где было разложено для изучения содержимое ящика, который принес брат Френсис.

Чероки слегка склонил голову.

— Упав, он выронил все на дорогу. Я помогал ему собирать, но не присматривался слишком внимательно.

— Ну а ты знаешь, что он говорит обо всем этом?

Отец Чероки отвел взгляд. Он сделал вид, что не слышал вопроса.

— Ладно, ладно, — пробурчал аббат. — В конце

концов, не важно, что он там говорит. Внимательно осмотри-ка все это сам и прикинь, что ты об этом думаешь.

Подойдя, отец Чероки склонился над столом и тщательно, одну за другой, изучил все бумаги, пока аббат, меряя шагами келью, продолжал говорить то ли со священником, то ли с самим собой.

— Этого не может быть! Ты поступил совершенно правильно, вернув его, пока он там не обнаружил чего-нибудь еще. Но, конечно, это еще не самое худшее. Самое худшее — это старик, о котором он болтает. Тут все может окончательно запутаться. Не знаю ничего хуже, чем все эти «чудеса», которые угрожают хлынуть на нас. Да, конечно, кое-что должно быть! То, что может быть установлено как заступничество святого перед тем, как произойти канонизации. Но это уже чересчур! Взять, например, блаженного Чанга — причислен вроде бы к лику святых два столетия тому назад, но до сих пор не канонизирован. А все почему? Его орден слишком истово приступил к делу, вот почему. Часто стоило кому-то избавиться от икоты, это тут же провозглашалось как чудесное исцеление, совершенное святым. А потом он стал появляться в алтаре, мелькать на

колокольне, все это смахивало скорее на собрание историй с привидениями, чем на перечень чудес. Два-три случая могут в самом деле представлять интерес, но когда сплошная ерунда — что тогда?

Отец Чероки поднял глаза. Костяшки пальцев, вцепившись в стол, побелели, а лицо, казалось, было обтянуто кожей. Похоже, он ничего не слышал.

— Прошу прощения, отец мой…

— Дело в том, что то же самое может произойти и здесь, вот в чем суть, — сказал аббат, продолжая медленно мерить пространство от стенки до стенки. — В прошлом году был брат Нойон и его волшебная веревка висельника. Ха! А в позапрошлом году, как говорили эти молодые деревенские олухи, брат Смирнов таинственным образом излечился от подагры — но каким образом? — прикоснувшись к реликвиям, которые предположительно принадлежали нашему святому Лейбовицу. А теперь этот Френсис, который встретил пилигрима, — что там на нем было надето? — в подоткнутой рясе и плаще с капюшоном, как раз в тех отрепьях, в которых его потащили на виселицу. А чем он был подпоясан? Ах, веревкой. Какой веревкой? Ах, той самой… — он сделал паузу и посмотрел на Черо-

ки. — По твоему непонимающему взгляду могу предположить, что ничего подобного ты пока не слышал? Нет? Ну так и молчи. Нет, нет, ничего такого Френсис не говорил. Вот что он сказал… — аббат Аркос постарался смягчить привычный для него хриплый голос и изобразить высокий фальцет. — Вот что сказал брат Френсис: «Я встретил маленького старика, и я решил, что он пилигрим, направляющийся к аббатству, потому что он шел этим путем и на нем было одеяние из старой мешковины, подвязанное куском веревки. И он сделал отметку на скале, и отметка выглядела вот так».

Аббат Аркос извлек из недр своей меховой накидки кусок пергамента и ткнул его прямо в лицо Чероки, вынужденного склониться к свету канделябра, снова и без особого успеха стараясь изобразить голос Френсиса: «Не могу представить, что бы это значило. А вы можете?»

Чероки посмотрел на символы и покачал головой.

— А тебя я и не спрашиваю, — пробурчал Аркос уже своим нормальным голосом. — Это сказал Френсис. А я ничего не знаю.

— Собираетесь выяснить?

— Собираюсь. Кому-то надо в этом разобраться.

Это «ламет», а это «садх». Ивритские буквы.

— «Садх ламет»?

— Нет. Справа налево. «Ламет садх». «Л» и «С». Будь тут какая-то огласовка, можно было бы что-то прикинуть: лутс, лотс, литс — нечто подобное. И будь тут пара букв между этими двумя, это звучало бы… ну, догадайся, как Л-л-л…

— Лейбо… о нет!

— О да! Брату Френсису это не пришло в голову. Придет в голову кому-то другому. Брат Френсис не обратил внимания на мешковатую рясу и веревочную опояску: а кто-то из его приятелей обратит. И что же будет дальше? Уже сегодня вечером все послушники забурлят, обсуждая прелестную святочную историю, как Френсис встретил самолично святого, и святой прямехонько препроводил нашего парня к тому месту, где лежат все эти штуки, и сказал ему, что он обрел свое предназначение.

Отец Чероки озабоченно сморщил лоб.

— Неужели брат Френсис говорил нечто подобное?

— НЕТ! — заорал Аркос. — Ты что — не слышал? Френсис не говорил ничего подобного. Может, было бы лучше, чтобы он распустил язык, тогда было бы ясно, что мы имеем дело с мошенником и

плутом. Но он рассказывает все с простодушием, доходящим до идиотизма, а уж остальные домысливают все прочее. Сам я с ним еще не говорил. Я попросил ректора Меморабилии выслушать его историю.

— Думаю, что мне самому было бы лучше поговорить с братом Френсисом, — пробормотал Чероки.

— Так сделай это! Когда я впервые услышал твой рассказ, мне хотелось поджарить тебя живьем. За то, что ты отослал его, я имею в виду. Оставь ты его в пустыне, ему не пришлось бы распускать вокруг свои фантастические бредни. Но, с другой стороны, останься он, и мы могли бы только предполагать, что еще он бы извлек из того погреба. Так что, думаю, ты поступил правильно, вернув его.

Чероки, который принял свое решение, исходя совсем из других предпосылок, счел молчание лучшей политикой в настоящий момент.

— Повидайся с ним, — пробурчал аббат. — А затем пошли его ко мне.

Стояло сияющее яркое утро понедельника, когда примерно в девять часов брат Френсис робко постучался в дверь кельи аббата. Крепкий сон на соломенной подушке в старой знакомой

келье, плюс завтрак, вкус которого он успел забыть, если и не пролились благодетельным волшебным дождем на изможденную плоть, не успокоили мозг, возбужденный непрестанной палящей жарой, но тем не менее относительная роскошь условий, в которые он попал, вернула его мышлению определенную ясность, чтобы он понимал, чего ему стоит страшиться. В сущности, он был уже настолько напуган, что первый стук его в двери аббата был почти не слышен. Сам Френсис не услышал его. Через несколько минут, набравшись смелости, он постучал снова.

— Входи, сын мой, входи же! — услышал он дружелюбный голос, который, как он не без удивления понял через несколько секунд замешательства, принадлежал его владыке.

— Поверни маленькую ручку, сын мой, — сказал тот же самый дружелюбный голос брату Френсису, который, застыв, продолжал стоять на пороге, готовый постучать еще раз.

— Д-д-да, — Френсис осторожно прикоснулся к ручке, поняв, что ему так и так придется открыть эту проклятую дверь.

— Господин мой аббат п-п-посылал за… за мной? — промямлил послушник.

Аббат Аркос облизал губы и неторопливо кив-

нул.

— М-да, господин твой аббат посылал… за тобой. Входи же и прикрой дверь.

Брат Френсис закрыл двери и, дрожа всем телом, оказался в середине помещения. Аббат Аркос вертел в руках гроздь сцепленных между собой штучек, которые были в старом ящике для инструментов.

— Наверное, так оно и должно быть, — сказал аббат Аркос. — Досточтимый настоятель просит оказать ему честь своим посещением. Особенно после того, как ты был отмечен Провидением и обрел такую известность, а? — и он мягко усмехнулся.

— Хе-хе, — издал осторожный смешок брат Френсис. — О, н-нет, милорд.

— Ты никому еще не рассказывал, какая удача выпала тебе прошлой ночью? Что Провидение избрало именно тебя, чтобы преподнести миру вот ЭТО, — он брезгливым жестом указал на то, что валялось на столе, — этот МУСОРНЫЙ ящик. Я не сомневаюсь, что предыдущий владелец называл его именно так.

Послушник неуверенно переступил с ноги на ногу и попытался выдавить из себя улыбку.

— Тебе семнадцать лет, но ты полный идиот,

не так ли?

— Вы совершенно правы, милорд аббат.

— Чем можно извинить твое отношение к религии?

— Мне нет прощения.

— Что? Ах, вот как? Значит, ты считаешь, что недостоин служить ордену?

— О нет! — выдохнул послушник.

— Но тебе нет прощения?

— Нет мне прощения.

— Ты, юный кретин, я хочу, чтобы ты объяснил мне причину своих поступков. Если ты понимаешь, что виноват, то значит, ты готов признать, что никого не встречал в пустыне, что ты просто споткнулся об этот МУСОРНЫЙ ящик, нашел его сам по себе, и, следовательно, все, что я слышал от других, — всего лишь болезненный бред?

— О нет, Дом Аркос!

— Что значит «нет»?

— Я не могу отрицать то, что видел собственными глазами, досточтимый отец.

— Значит, ты в самом деле встретил ангела… или святого… или, может быть, он еще не был святым? — который и направил твой взор?

— Я никогда не говорил, что…

— Значит, так ты каешься за то, что нарушил

обет? Значит, это… это, назовем его существом, — говорило с тобой, и ты обрел голос, и написало на камне свои инициалы, и сказало тебе, где ты должен искать, и когда заглянул туда, то нашел вот это? А?

— Да, Дом Аркос.

— Ты понимаешь, что впадаешь в грех омерзительного тщеславия?

— Мое омерзительное тщеславие недостойно вашего прощения, милорд и учитель.

— Считать себя такой величиной, которая недостойна принять прощение, — значит впадать в еще более тяжкий грех тщеславия, — прорычал властитель аббатства.

— Милорд, я не более чем червь ползающий.

— Хорошо. От тебя требуется только одно — отказаться от своих бредней о встрече с пилигримом. Никто, кроме тебя, его не видел, и ты должен понять это. Я понимаю, он постарался внушить тебе, что направляется в эту сторону, так? Он даже сказал, что собирается передохнуть в аббатстве? И он расспрашивал об аббатстве? Да?

Так куда же он исчез, если он вообще существовал? Мимо аббатства никто не проходил. Никто из братьев, бодрствовавших на сторожевой башне, не видел никого, похожего на твоего

пилигрима. А? Ну теперь-то ты признаешь, что тебе все это привиделось?

— Не будь двух отметин на камне, которые он… тогда, наверно, я бы мог…

Аббат закрыл глаза и тяжело вздохнул.

— Да, отметины видны… чуть-чуть, — признал он. — Но ты мог их и сам сделать.

— Нет, милорд.

— Готов ты признать, что старик тебе привиделся?

— Нет, милорд.

— Отлично. Ты знаешь, что теперь тебя ждет?

— Да, досточтимый отец.

— Так приготовься.

Трепеща всем телом, послушник поднял рясу и склонился над лавкой. Аббат выдернул из ящика стола гибкий гикоревый прут, попробовал на ладони его упругость и нанес Френсису резкий точный удар по ягодицам.

— Deo gratias[10], — послушно отозвался брат Френсис, издав сдавленный крик.

— Готов ты отказаться от своих слов, сын мой?

— Досточтимый отец, я не могу отрицать…

— Р-Р-РАЗ!

---

[10] Примечания: 10
Благодарение Богу *(лат.).*

— Deo gratias!

— Р-Р-РАЗ!

— Deo gratias!

Это простое, но выразительное моление он вознес не менее десяти раз, каждый раз благодаря небо, что таким суровым образом он получает урок добродетели. После десятого раза аббат остановился. Брат Френсис сполз с лавки и, переминаясь, поклонился. Из-под плотно сжатых век у него текли слезы.

— Дорогой мой брат Френсис, — сказал аббат Аркос, — уверен ли ты, что видел старика?

— Уверен, — всхлипнул он, сдерживаясь изо всех сил.

Аббат Аркос оценивающе посмотрел на юношу, затем обошел вокруг стола и, хмыкнув, сел. Некоторое время он молча изучал клочок пергамента с буквами.

— Как ты думаешь, кто бы это мог быть? — рассеянно пробормотал аббат Аркос.

Брат Френсис открыл глаза, застилаемые пеленой слез.

— Что ж, ты убедил меня, мальчик, и я тебе не завидую. Тем хуже для тебя.

Френсис промолчал, вознеся про себя тихую молитву, чтобы необходимость убеждать в чем-

либо своего суверена возникала не так часто. Повинуясь раздраженному жесту аббата, он привел в порядок свое одеяние.

— Можешь сесть, — сказал аббат, и в его голосе появились добродушные, если не любезные нотки.

Френсис подошел к указанному ему креслу, наклонился, собираясь сесть, но, моргнув, снова приподнялся.

— Если досточтимому отцу аббату все равно…

— Хорошо, можешь стоять. Я долго не задержу тебя. Можешь возвращаться к завершению своего обета, — он помолчал, заметив, как озарилось лицо послушника. — Только не радуйся! — фыркнул он. — На то место ты не вернешься. Тебе предстоит разделить отшельничество с братом Альфредом, и не думай приближаться к развалинам. Более того, я повелеваю тебе ни с кем не беседовать на эту тему, исключая, впрочем, твоего исповедника и меня. Бог знает, сколько неприятностей ты успел уже причинить. Знаешь ли, чему ты положил начало?

Брат Френсис покачал головой.

— Вчера было воскресенье, досточтимый отец, и мне никто не говорил, что я должен молчать, так что во время отдыха я только отвечал на

вопросы братьев. Я думаю…

— Ну что ж, твои братья смогут состряпать весьма остроумные объяснения твоим рассказам. Знаешь ли ты, что тебе встретился самолично святой Лейбовиц?

Мгновенная бледность залила лицо брата Френсиса, но он снова отрицательно покачал головой.

— О нет, милорд аббат. Я уверен, что этого не могло быть, благословенный мученик не сделал бы такого.

— Не сделал бы чего?

— Он не стал бы никого преследовать, не стал бы пытаться ударить его посохом с гвоздем на конце.

Стараясь скрыть непроизвольную усмешку, аббат вытер пот. Он сделал вид, что задумался.

— Об этом я и не знал. Так, значит, это он тебя преследовал, не так ли? Думаю, так оно и было. Ты и об этом рассказывал своим друзьям-послушникам? Не так ли, а? Видишь ли, они-то не могут исключить такую возможность, что ты в самом деле встретился со святым. Я сомневаюсь, что найдется так уж много людей, на которых святой не мог бы замахнуться посохом, — он остановился, не в силах удержаться от смеха, увидев выражение лица послушника. — Ладно,

сынок, но все же, что ты думаешь о том, кто бы это мог быть?

— Я думаю, что то был пилигрим, направлявшийся к нашим святыням, досточтимый отец.

— Святынь у нас еще нет, и ты не должен употреблять это выражение. И во всяком случае, его не было, точнее, не существовало. Он не входил в ворота нашей обители, разве что все стражники задремали. И к тому же уснул послушник, исполнявший те же обязанности, хотя он клянется, что бодрствовал весь день. Итак, что же ты на это можешь сказать?

— Если досточтимый отец аббат простит меня… я сам был на часах несколько раз.

— И?

— Ну, когда стоит жаркий день, и все в округе недвижимо, кроме стервятников, через несколько часов ты начинаешь следить только за ними.

— Ах вот как! И это в то время, когда ты должен не спускать глаз с дороги!

— И когда ты долго смотришь в небо, на тебя находит какое-то забытье… не спишь, но что-то вроде дремоты.

— Значит, вот чем ты занимаешься, пребывая на страже, — пробурчал аббат.

— Но не всегда. Я имею в виду, досточтимый

отец, что я… Брат Дже… я хотел сказать, что брат, которого я пришел сменять, однажды был в таком состоянии. Он даже не знал, что пришло время ему сменяться. Он просто сидел на верхушке башни и с открытым ртом смотрел в небо. Он был в забытье.

— И когда ты придешь в себя от этого отупения, банда язычников из Юты уже ворвется в наши ворота, убьет несколько садовников, разрушит систему орошения, вытопчет наши овощи и разрушит стены, прежде чем мы спохватимся и сможем защитить себя. И нечего так смотреть на меня… ах да, я и забыл… ведь ты же родом из Юты, не так ли? Но, говоря откровенно, я сомневаюсь, чтобы стражник мог пропустить старика — вот в чем дело. Ты уверен, что он был самым обыкновенным стариком — и не больше? Он не был осенен ангельской благодатью? Может, на нем почивала печать святости?

Взор послушника обратился было в размышлениях на потолок, но вернулся к лицезрению своего суверена.

— Разве ангелы или святые отбрасывают тень?

— Ну… я думаю, что нет. Я думаю… хотя откуда мне знать! Он что — отбрасывал тень?

— М-м-м… это была такая маленькая тень, что

ее трудно было заметить.

— Что?

— Был почти полдень.

— Болван! Мне-то ты не должен рассказывать, что он собой представлял. Я прекрасно знаю, что это было, раз ты его видел, — и аббат Аркос, подчеркивая каждое слово ударами по столу, сказал: — Я хочу знать… уверен ли ты… уверен ли полностью и безоговорочно, что это был самый обыкновенный старик?!

Весь ход разговора смущал брата Френсиса. Он считал, что во всем происшедшем трудно определить четкую линию, отделяющую естественное от сверхъестественного, скорее речь могла идти о некоей промежуточной, сумеречной зоне. Были явления, которые, вне всякого сомнения, имели отношение к естественному, натуральному миру, и были вещи и явления, которые столь же безоговорочно стоило отнести к миру сверхъестественному, а между этими крайностями была зона сомнения (его собственного), в которой такие простые субстанции, как земля, воздух, вода, огонь или пламя, могли переходить в нечто странное и непонятное, смущая и колебля все вокруг. Для брата Френсиса зона эта включала все, что он мог видеть и наблюдать, но что оста-

валось непонятным для него. И брат Френсис никогда не мог быть уверенным «полностью и безоговорочно», чего требовал от него аббат, что он в самом деле понимает все, что происходит вокруг. И сведя свои вопросы к этому требованию, аббат Аркос, сам того не желая, заставил пилигрима, которого встретил послушник, стать принадлежностью той самой сумеречной зоны, обрести тот облик, в котором послушник впервые увидел его, — черный штришок без рук и без ног, колеблющийся в жарком зеркале миража на дороге, рука с пищей, разорвавшая покров того мира, который послушник сплел вокруг себя. Если какое-то сверхчеловеческое существо решило бы избрать человеческий облик, как он бы мог проникнуть в его замыслы или заподозрить его в чем-то? Если бы такое существо не пожелало, чтобы его заподозрили в чем-то, неужели оно не позаботилось бы, чтобы отбрасывать тень, оставлять следы, есть хлеб и сыр? Неужели оно не стало бы жевать листок пряностей, плевать в ящерицу и забыло бы изобразить столь естественный для смертного поступок, как надеть сандалии, прежде чем ступать на раскаленный песок? Френсис не был готов оценивать ум или талантливость дьявольского или божественного озарения дан-

ного существа, а также уровень его актерских способностей, хотя и понимал, что кем бы оно ни было, ум его, родившийся в небесных высотах или в глубинах ада, будет исключителен.

— Итак, сын мой?

— Милорд аббат, вы же не предполагаете, что он мог быть…

— Я спрашиваю тебя не о предположениях. Я спрашиваю тебя о том, в чем ты должен быть совершенно уверен. Был ли он или не был обыкновенным существом из плоти и крови?

Вопрос испугал брата Френсиса. То, что он яростным выкриком сорвался с губ его суверена, делал вопрос еще более пугающим, хотя он ясно осознавал, что владыка задал его лишь потому, что жаждал обыкновенного ответа. Он жаждал его изо всех сил. Но если он так жаждал его, вопрос должен был нести в себе необыкновенную важность. И если вопрос был так важен для аббата, так тем более важен для брата Френсиса, который не мог позволить себе ошибиться.

— Я… я думаю, что он был существом из плоти и крови, досточтимый отец, но не совсем «обыкновенным». В какой-то мере он был сверхобыкновенным.

— В какой мере? — резко спросил аббат Аркос.

— Например… он мог легко сплюнуть. И, я думаю, он мог читать.

Аббат закрыл глаза и в приступе крайнего раздражения потер себе виски. Насколько проще было бы прямо и откровенно сказать мальчишке, что старик был не кем иным, как старым бродягой, и затем приказать ему не думать о нем вообще. Но мальчишка увидел, как важен для него вырвавшийся вопрос. Как любой достаточно умный правитель, аббат Аркос не приказывал попусту, когда видел возможность неповиновения и отсутствие достаточной силы для приведения в повиновение. Лучше поискать другой путь, чем приказывать впустую. Он задал вопрос, на который у него самого не было ответа, поскольку не видел старика, и таким образом он потерял право вырвать ответ.

— Убирайся, — наконец сказал он, не открывая глаз.

Глава 5

Несколько озадаченный всей этой суматохой в аббатстве, брат Френсис в тот же день вернулся в пустыню, дабы завершить свой обет, хотя его стремление к одиночеству претерпело определенный урон. Он ожидал, что найденные им реликвии будут встречены с восторгом, но пристальный интерес, который все испытывали к старику-страннику, удивил его. Френсис рассказывал о нем просто потому, что тот играл определенную роль во всем, что произошло — неважно, появился ли он там случайно, или же его привела рука Провидения — и в том, как он наткнулся на хранилище и его содержимое. Насколько Френсис мог понять, пилигрим должен был быть лишь небольшой составной частью всего круга событий, в центре которых были реликвии святого. Но его друзья, такие же послушники, проявили куда больше интереса к пилигриму, чем к реликвиям, и даже аббат дал ему понять это, спрашивая не столько о ящике и его содержимом, сколько о старике. Он задавал ему сотни вопросов, на которые Френсис мог отвечать только одно: «Я не заметил», или: «Я

не обратил внимания», или: «Может, он так и сказал, но я не помню», а некоторые из вопросов вообще казались ему бессмысленными. Поэтому он то и дело вопрошал себя: «Должен ли я был это заметить? Неужели я настолько глуп и не заметил, что он делал? Но разве я не прислушивался к тому, что он говорил? Неужели я не обратил внимания на что-то важное, прежде чем потерял сознание?».

Погруженный в эти размышления, он брел в темноте, пока едва не наткнулся на волков, бродивших вокруг его нового укрытия, наполняя ночь воем. Он поймал себя на том, что даже в течение дня, который должен быть отведен для молитв и духовных упражнений, не может отделаться от навязчивых мыслей, и решил, когда отец Чероки во время своего следующего воскресного объезда посетит его, покаяться в этих своих прегрешениях.

«Ты не должен позволять, чтобы романтические образы, внушенные другими, мешали тебе; хватит тебе хлопот с твоими собственными, — сказал ему священник, предварительно отчитав за пренебрежение к молитвам и упражнениям. — Задавая тебе все эти вопросы, они исходят не из того, что могло быть правдой; они вопрошают раз-

ные небылицы, думая о том, что может потрясти воображение, даже если под этим кроется чистая правда. Но это же смешно! Могу сказать тебе, что досточтимый отец аббат приказал послушникам прекратить беседы на эту тему». И, помолчав, он с сокрушением добавил: «Неужели в старике не было ничего… ничего сверхъестественного?» — и в голосе его едва проскальзывала надежда на несовершившееся чудо.

Удивление не покидало и брата Френсиса. Если даже при этой встрече и промелькнуло нечто сверхъестественное, он не заметил этого. А теперь, придавленный грузом обрушившихся на него вопросов, был не в состоянии ответить, что он вообще видел. Обилие заданных ему вопросов заставило Френсиса прийти к выводу, что его ненаблюдательность заслуживает порицания. Он испытывал благодарность к пилигриму, давшему ему возможность найти убежище. Но он рассматривал все события отнюдь не с точки зрения своих собственных интересов, в соответствии с которыми его стремление заполучить хоть толику свидетельств своей правоты должно было дать понять, что его стремление посвятить все свои дни и труды благу родной обители идет из глубин души. Возможно, все происшедшее с

ним имело гораздо большее значение, чем он мог себе представить…

Что ему остается делать? О возвращении домой, в Юту, не может быть и речи. Маленьким ребенком он был продан шаману, который натаскивал его, стараясь сделать из него своего слугу и помощника. Сбежав от шамана, он отрезал себе пути к возвращению, разве что он был готов встретиться с наводящим ужас «справедливым судом» племени. Он похитил собственность шамана (которой был он сам, Френсис). Несмотря на то, что воровство считается в штате Юта профессией, достойной уважения, на пойманного преступника возлагается грех чудовищного преступления, тем более что жертва воровства — маг племени. Не мог он себе представить и возвращения к примитивной жизни среди неграмотных пастухов после обучения в аббатстве.

Что еще? Континент был почти пустынен. Он припомнил карту во всю стену, висящую в библиотеке, на которой лишь кое-где были заштрихованные районы, где была если не цивилизация, то хоть какая-то форма законности, за которой по своим правилам следили суверенные племена, населяющие эти регионы. Остальная часть континента была почти пустынна, отдан-

ная во власть людей лесов и долин, которые хотя большей частью и вышли из состояния дикости, но представляли собой простые, слабо организованные сообщества кланов, живших охотой, собиранием плодов, примитивной агрокультурой, уровень рождаемости в которых был едва достаточен, чтобы пополнять число умирающих (не считая рождающихся монстров и уродов). Основное, чем занимались жители континента (кроме нескольких прибрежных районов), были охота, возделывание земли, сражения и колдовство; для любого юноши, решившего сделать карьеру, которая даст ему максимум влияния и здоровья, колдовство и шаманство были самым многообещающим занятием.

Знания, которые Френсис получил в аббатстве, не имели никакой практической ценности в темном и грубом мире повседневности, где о грамотности практически и не слышали, а молодой человек, умеющий читать, не представлял никакого интереса для своего племени, — если только в нем не проявлялись какие-то особые таланты по обработке металла, нырянию в глубину или умению безнаказанно воровать имущество у соседнего племени. Даже в разбросанных тут и там графствах, где существовало какое-то подобие

гражданского правопорядка, тот факт, что Френсис умел читать и писать, ничего не значил, если бы ему пришлось влачить существование вне стен Церкви. Правда, иной раз кичливые бароны нанимали одного-другого писца, но случаи эти были настолько редкими, что их не стоило принимать во внимание, тем более что должности эти, как правило, доставались монастырским законникам.

Единственную потребность в писцах и секретарях испытывала сама Церковь, чья тонкая иерархическая сеть была раскидана по всему континенту (порой достигая и самых отдаленных его границ, хотя епископы той стороны практически были самостоятельными правителями, чувствовавшими на себе Святой Взор Церкви лишь в теории и никогда на практике, ибо пространства редко пересекаемого океана отделяли их от Нового Рима надежнее, чем отлучение от Церкви по обвинению в ереси), и ее существование поддерживалось лишь сетью коммуникаций. Порой единственным смыслом существования Церкви, без всякого на то ее желания и намерения, становилась возможность передачи новостей через весь континент — от места к месту. Если на северо-востоке начинала свирепствовать чума,

вести об этом быстро доходили до юго-запада, как и слухи и сплетни, что имели своим источником Новый Рим, рассказываемые и перерассказываемые посланцами Церкви.

Если вторжение орд кочевников угрожало с северо-востока какому-нибудь христианскому епископству, в самом скором времени со всех кафедр к югу и западу читалась энциклика, предупреждающая об угрозе и рассылающая апостольское благословение: «Доблестным людям, где бы они ни жили, способным носить оружие, готовым с благочестием в сердце двинуться в дорогу, с тем чтобы присягнуть на верность Нашему излюбленному сыну имярек, законному правителю округи и предоставить себя в его распоряжение на то время, которое он сочтет необходимым на создание войска для защиты христиан от орд язычников, чья безжалостная жестокость известна всем, и кто к Нашей величайшей печали пытает, мучает и убивает тех пастырей, которых Мы Самолично послали им со Словом, чтобы они могли кроткими агнцами войти в Наше Стадо, для паствы которой Мы на Земле являемся Пастухом. Мы никогда не теряем надежду в своих непрестанных молитвах, что этим диким детям тьмы откроется Свет и они

войдут в Наше царство в мире и покое (ибо невозможно и помыслить, чтобы мирные странники покинули столь обширные и пустынные земли: о нет, те, кто придут с миром, будут встречены с благоволением, так как они пришли в объятия Зримой Церкви и ее Божественного Основателя, и, если они углубятся в суть Естественного Закона, который вписан в сердца и души всех людей, духом своим они обратятся к Христу, даже не зная доподлинного Его Имени), но пока Мы молимся о мире, углубленно размышляем о внутренней сущности Христианства и увещеваем язычников, Мы должны, опоясавшись мечами, готовиться к защите Северо-Восточных земель, где уже собираются орды язычников и вот-вот вспыхнут стычки с ними, и на каждом из вас, возлюбленные дети мои, кто может носить оружие и в состоянии добраться до Северо-Запада, лежит обязанность присоединиться к силам, собирающимся, дабы защитить свои земли, дома и свои храмы. И Мы провозглашаем и тем самым простираем над вами знак Нашего особого благоволения, Наше Апостольское Благословение».

Френсис быстро подумал, что, если ему не удастся получить посвящение в ордене, он может отправиться на северо-запад. Но хотя он был

достаточно силен и ловко управлялся с мечом и копьем, все же он был невысок ростом и легок во плоти, в то время когда язычники, по рассказам, достигали девяти футов роста. Он не мог клятвенно поручиться, что эти слухи соответствуют истине, но не видел и причин, почему они должны оказаться ложными.

И если ему не удастся посвятить себя ордену, он не видел иного смысла в своей жизни — смысла, о котором стоило бы говорить — кроме как умереть в битве.

Его уверенность в правильности своего выбора не поколебалась, хотя он не мог не обратить внимания на сухость легкого поклона, дарованного ему аббатом. Мысли эти навеяли на него тоску, и он не смог побороть искушение, в силу которого отец Чероки за шесть дней до конца поста услышал от Френсиса (или, точнее, от выжженной и обугленной оболочки, в которой еле теплилась душа Френсиса) произнесенные хриплым шепотом несколько коротких слов, заключавших в себе самое лаконичное признание, которое Френсис был в силах сделать. Отец Чероки услышал: «Дайте мне благословение, отец, я съел ящерицу».

Приор Чероки, который в течение долгих лет

был исповедником торопливых послушников и так же, как могильщики из преданий, считал, что все суета сует, принял это признание не моргнув глазом и осведомился с прекрасной лаконичностью: «Был ли то день воздержания и была ли она специально приготовлена?».

Одиночество во время святой недели было не так томительно, как прочие недели Великого поста, хотя особенного внимания послушникам и не уделялось, но из-за стен аббатства доносились звуки литургии Страдания Христа, которые до слез трогали бодрствующих отшельников. Дважды они были удостоены причастия, и в среду сам аббат, сопровождаемый Чероки и тринадцатью монахами, посетил их, чтобы дать свое благословение каждому из отшельников. Облачение аббата было скрыто под рясой с капюшоном, и когда он склонял колени, то производил впечатление льва, возлежащего рядом с ягненком, экономными движениями — ни одного лишнего — он омывал ноги тех, кого удостаивал своим посещением, легко целовал их в то время, пока все остальные тянули антифон.

В Святую пятницу крестный ход, воздев над собой задрапированное распятие, делал остановку

у обиталища каждого отшельника, где медленно поднималось облачение изображения, дюйм за дюймом, и отшельники приникали к его изножью, пока монахи скандировали:

«Народ мой, что сделаю я для тебя? Чувствуешь ли ты скорбь мою? Все силы души моей отданы во благо твое, ты же распял меня на кресте…»

И наконец наступила Святая суббота.

Изголодавшиеся монахи с нетерпением ждали ее. Френсис стал на тридцать фунтов легче и значительно ослабел. Когда его довели до кельи, он пошатнулся и, не дойдя до лежанки, упал. Братья подняли его, умыли и побрили, умаслили его кожу — а Френсис в блаженном забытье бормотал что-то о бродяге с препоясанными чреслами, время от времени обращаясь к нему как к ангелу или святому, а временами вплетая имя Лейбовица и пытаясь извиняться.

Его собратья, которым аббат строго-настрого запретил говорить на эту тему, просто обменивались многозначительными взглядами или загадочно кивали друг другу.

Известия достигли аббата.

— Доставьте его ко мне, — пробурчал он в раструб переговорной трубки, как только ему стало известно, что Френсис уже может ходить.

— Ты подтверждаешь, что говорил это? — рявкнул аббат.

— Я не помню, чтобы я говорил, милорд аббат, — сказал послушник, не спуская глаз с жезла аббата. — Должно быть, я бредил.

— Допустим, что бредил, — а теперь ты снова будешь говорить то же самое?

— О пилигриме, который показался мне святым? О нет, магистер меус!

— Я хочу услышать, что ты отказываешься от своих слов.

— Я не думаю, что пилигрим в самом деле был святым.

— Почему бы тебе не сказать прямо: он не был!

— Ну, так как мне никогда не доводилось видеть благословенного Лейбовица своими глазами, я не могу…

— Хватит! — приказал аббат. — Более чем достаточно! И пройдет много, очень много времени, прежде чем мне захочется снова увидеть или услышать тебя! Вон! И еще одно — НЕ ПЫТАЙСЯ принести покаяние на исповеди в этом году! Отпущения грехов ты не получишь!

Френсис испытал ощущение, словно его ударили бревном в живот.

Глава 6

История с пилигримом как тема для разговоров продолжала оставаться в аббатстве под запретом, но поскольку к реликвиям и скрытым убежищам все питали неподдельный интерес, узы запрета стали постепенно слабеть у всех — кроме первооткрывателя, который продолжал оставаться под гнетом строжайшего запрета не беседовать на эту тему и желательно как можно меньше думать о ней. Тем не менее время от времени до него доходили слухи, и он знал, что в одной из мастерских аббатства монахи трудились над документами — и над теми, которые он сам нашел, и над бумагами, найденными в древнем письменном столе перед тем, как аббат приказал закрыть убежище.

Закрыть! Новость эта потрясла брата Френсиса. Убежище осталось практически нетронутым. Кроме доставшегося на его долю приключения, он даже не сделал попытки проникнуть в секреты тайного укрытия, не считая его безуспешного старания открыть стол, чем он занимался до того, как увидел ящик. Закрыто! Без малейшей попытки выяснить, что может скрываться за

внутренней дверью, на которой была надпись «Люк Два», без стремления поинтересоваться, что таят в себе другие надписи, даже не прикоснувшись ни к костям, ни к камням. Закрыто! Исследования просто были грубо оборваны, даже без попытки найти какой-то предлог.

Тогда поползли слухи.

У Эмили были золотые зубы. У Эмили были золотые зубы. У Эмили были золотые зубы. В сущности, это было чистой правдой. Один из тех мелких исторических фактов, что могут пережить гораздо более важные свидетельства, о которых будут порой вспоминать, но они останутся не зафиксированными, разве что какой-нибудь монастырский историк окажется вынужденным записать: «Ни содержание Меморабилии, ни какой-либо еще не открытый археологический источник не дают нам основания с достоверностью назвать имя обитателя Белого Дворца в середине и конце шестидесятых, хотя Фр. Баркус, без достаточных на то оснований, утверждает, что его имя было…»

И тем не менее в Меморабилии ясно упоминалось, что у Эмили были золотые зубы.

Не стоит удивляться, что господин аббат дал указание тотчас же запечатать укрытие. Вспо-

миная, как он поднял древний череп и повернул его лицом к стене, брат Френсис внезапно стал бояться кары Небес. Эмили Лейбовиц исчезла с лица земли, едва только ее затопил Огненный Потоп, но только спустя много лет ее овдовевший муж признал, что она мертва.

И сказано было, что Бог, дабы испытать человечество, которое возвысилось в гордости, как во времена Ноя, призвал мудрецов того времени, среди которых был и блаженный Лейбовиц, создать чудовищные машины для войн, которых никогда ранее не существовало на Земле, машины такой мощи, что сравнимы они были лишь с адским пламенем, и что Бог вручил это оружие при помощи волхвов в руки принцев и сказал каждому из принцев: «Мы создали для тебя это оружие лишь потому, что у врагов имеется точно такое же — в надежде, что зная сие, они не осмелятся пустить его в ход. И помни, владыка, что ты должен испугать их так, чтобы они воистину боялись тебя и чтобы никто из них не осмелился дать волю тем страшным вещам, что мы вам вручили».

Но каждый из принцев, пропустивший слова мудрецов мимо ушей, стал думать про себя: «Если я обрушу на них это оружие мгновенно и тайно,

я сумею уничтожить их во сне, и не останется никого, кто сможет нанести мне ответный удар, и вся земля достанется мне».

Такова была великая глупость принцев, и за ней последовал Огненный Потоп.

И через несколько недель — а некоторые считают, что даже дней — после того, как адское пламя вырвалось на свободу, все было кончено. Города превратились в лужи стеклообразной массы, окруженные милями и милями каменного крошева. Целые народы исчезли с лица земли, все вокруг было покрыто телами людей и скотины, а оставшиеся живые существа, включая и птиц в воздухе, и все, что летает, и все, что плавает в реках, таилось в траве или водорослях или пряталось в норах; страдая и мучаясь, они ползали по земле, и пока демоны радиоактивности поливали дождями нивы и пашни, мертвая плоть распадалась в гниении, не считая тех, кому удавалось припасть к плодородной земле. Огромные облака гнева и ярости плыли над лесами и полями, и там, где они проходили, иссыхали деревья и опадали почки. Там, где кипела жизнь, ныне простиралась великая сушь, а там, где еще обитали люди, избежавшие немедленной смерти, они болели и умирали от отравленного воздуха,

и никто не мог избежать его прикосновения, и многие умерли даже в тех краях, на которые не обрушился удар страшного оружия, ибо и туда проникал отравленный воздух.

По всему миру люди скитались с места на место, и произошло великое смешение языков. Страшные проклятья были обращены и к принцам, и к их слугам, и против тех волхвов, которые создали сие оружие. Годы шли один за другим, но Земля так и не обретала свою первозданную чистоту. Об этом ясно говорилось в Меморабилии.

Путаница языков, смешение остатков многих наций и народов, царящий повсюду страх привели к рождению великой ненависти. И ненависть сказала:

«Да будет побит камнями, четвертован и сожжен каждый, кто сотворил сие. Да обрушится уничтожение на головы тех, кто повинен в сем чудовищном преступлении, и да падут их служители и их мудрецы и советники, да сгорят они в очистительном пламени и исчезнут вместе со всеми их работами, и пусть даже сотрутся и имена их, и память о них. Да уничтожим всех их и научим наших детей тому, что мир воссоздается заново, и пусть им не будет ничего известно о тех деяниях, которые прошли над землей. Да при-

дет к нам великое очищение, и мир возродится заново».

Так оно и произошло: после Потопа, после дождей, чумы, сумасшествия, смешения языков, ярости и гнева — после всего началось кровопускание Очищения, когда остатки человечества разрывали по кускам других, кто тоже остался, убивали правителей, ученых, вождей, инженеров и всех прочих, о ком те, кто вел обезумевшие толпы, говорили, что такой-то заслужил смерть — он способствовал превращению Земли в то, чем она стала сейчас. В глазах этих толп ничто не вызывало большей ненависти, чем человек с признаками учености, сначала потому, что они служили принцам, а затем из-за того, что отказались присоединиться к вакханалии кровопускания и пытались противостоять толпам, окрестив их участников «простаками, жаждущими крови».

Толпы убийц с радостью восприняли это прозвище, с криками подняв его на щит: «Простаки! Да, да! Я простак! А ты простак? Мы возведем город, и мы назовем его Просто Город, потому что к тому времени хитрое отродье, которое все это сделало, будет мертво! Простаки! Вперед! Мы должны показать им! И кто здесь не простак?

Тащите подонков, если они кроются здесь!».

Чтобы избежать ярости сброда, провозгласившего себя «простаками», те, которым еще удалось остаться в живых, скрылись под защиту тех святилищ, которые осмелились принять их. Когда они оказались под покровительством святой Церкви, та облачила их в монашеские рясы и попыталась укрыть в отдаленных монастырях и обителях, которые сохранили еще свои стены и могли быть снова возвращены к жизни, потому что толпы не обращали свою ненависть непосредственно на Церковь, не считая тех случаев, когда служители ее обретали мученический венец. Порой святилища служили укрытием, но достаточно часто гибли и они. Монастыри подвергались вторжениям: летописи и священные книги полыхали в пламени, захваченные беженцы все скопом повисали на крюках и виселицах или же сгорали в кострах. С самого своего зарождения Очищение развивалось без плана и целей и превратилось в сотрясающую дух болезнь массовых убийств и разрушений, которая должна была длиться до тех пор, пока не исчез последний след социального устройства. Сумасшествие это перекинулось и на детей, которых учили не столько забывать, сколько ненавидеть, и приливы массовой ярости толп

взмывали время от времени, даже когда на свете жило четвертое поколение, появившееся после Потопа. Но теперь уже ярость была направлена не против ученых, которых просто не осталось на свете, а против грамотных и умеющих читать.

Айзек Эдвард Лейбовиц после тщетных поисков своей жены добрался до цистерианцев, в укрытии у которых он и оставался первые после Потопа годы. И прошло лет шесть, когда он решил еще раз отправиться далеко на юго-запад на поиски Эмили или ее могилы. Там он наконец безоговорочно убедился в ее гибели, потому что смерть триумфально прошла по этому краю. И там же в пустыне он принес свой тихий обет. Вернувшись к цистерианцам, он принял пострижение, вступил в их орден и еще через несколько лет стал священником. Собрав вокруг себя несколько человек, он выступил с осторожным предложением. Через несколько лет слухи об этом его замысле просочились в «Рим», который не был Римом в старом смысле слова (потому что и города такого уже не существовало), расползлись во все стороны, снова и снова возвращаясь к своему первоисточнику, — на все это потребовалось меньше двух десятилетий. Через двенадцать лет после рождения своей идеи, отец

Айзек Эдвард Лейбовиц получил разрешение от Святого Престола основать новую религиозную общину и назвать ее именем Альберта Великого, наставника святого Томаса и покровителя ученых людей науки. Цели ее, которые сначала вообще не провозглашались, да и потом о них говорилось в неясных размытых выражениях, состояли в том, чтобы сохранить и сберечь человеческую историю для прапраправнуков тех простаков, которые сегодня с таким остервенением уничтожали ее. На первых порах монахи нового ордена облачались в туго подпоясанные лохмотья — своеобразную униформу толп простаков. Члены его были или «собиратели книг» или «вспоминатели» — в соответствии с задачей, которую каждый из них мог исполнять наилучшим образом. Собиратели разыскивали книги в юго-западной пустыне и хранили их в бочонках. Запоминатели укладывали в памяти целые тома истории, священных писаний, литературы и науки, на тот печальный случай, если кто-то из собирателей будет пойман и под пытками будет вынужден указать места хранения бочонков с книгами. Тем временем поиски других членов ордена увенчались успехом, и в трех днях пути от хранилища книг они нашли источник воды,

где и начали возводить монастырь. Втайне был создан его проект, который должен был своим существованием спасти хоть небольшие остатки человеческой культуры от остатков человечества, которое жаждало уничтожить и их.

Лейбовиц, сам отправившийся на поиски книг, был схвачен толпой; инженер, ставший ренегатом, которого священник простил от всей души, опознал его и не только как ученого, но и как одного из тех, кто имел отношение к созданию оружия. Оборванный монах в остроконечном капюшоне, он принял мученическую кончину, сначала задушенный петлей палача — но не до смерти и, придя в себя, был зажарен живьем, что вызвало в собравшейся толпе живейшую дискуссию о наилучшем методе казни.

Запоминателей было немного, и пределы их памяти были ограничены.

Некоторые из бочонков и сундуков, хранивших в себе книги, были найдены и сожжены, так же как и собиратели их. И прежде чем безумство пошло на убыль, монастырь трижды подвергался нападению.

К тому времени, когда сумасшествие, охватившее мир, окончательно сошло на нет, из всей обширной истории человеческих знаний в распо-

ряжении ордена оказалось несколько уцелевших бочонков оригинальных книг и жалкое собрание записанных от руки текстов, восстановленных по памяти.

И теперь, после шести столетий тьмы, монахи по-прежнему сохраняли эту Меморабилию, изучали ее, переписывая раз за разом — и терпеливо ждали. Вначале, во времена Лейбовица, существовала надежда — порой она превращалась в уверенность, — что четвертое или пятое поколение почувствует нужду в обретении потерянного наследства. Но монахи тех лет не учли способность человечества создавать новое культурное наследство всего лишь на памяти пары поколений, если старое бывало полностью разрушено, и создав его, устами пророков и законодателей, гениев или маньяков придавать ему самодовлеющую ценность, и с помощью моисеев или гитлеров, высокомерных и тиранических отцов-основателей, культурное наследие нового времени должно было распространиться от восхода до заката, что и произошло. Но эта новая «культура» явилась порождением тьмы, так как определение «простак» означало то же самое, что «гражданин» и «раб». И монахи продолжали ждать. Их совершенно не волновало, что спасен-

ные ими знания бесполезны, что большинство из них не является знаниями в полной мере и столь же непонятны монахам самых разных степеней посвящения, как и неграмотному мальчишке-пастуху с холмов: все знания несли в себе какой-то смысл, хотя предметы, о которых они говорили, давно исчезли. К тому же знания эти представляли собой символические структуры, за переплетениями которых можно было лишь наблюдать. Исследовать путь, по которым системы знаний переплетаются друг с другом, было как минимум знанием-о-знаниях, которое было нужно в ожидании, что когда-нибудь или в какое-нибудь столетие придет Истолкователь — и разрозненные части снова соединятся одна к одной. Поэтому течение времени не имело никакого значения. Меморабилия должна была быть на месте, и они были обязаны ее охранять, а охранять ее они были должны, даже если тьма продлится над миром еще десять столетий или вообще десять тысяч лет, — они, рожденные в самой непроглядной тьме, по-прежнему будут преданными собирателями книг и вспоминателями во имя блаженного Лейбовица, и когда каждый из них уходил за пределы аббатства, то он нес с собой, подчиняясь догматам ордена, как

часть своего одеяния, книгу, обычно требник на каждый день, завязанный в тугой пояс.

После того как убежище было закрыто и запечатано, все документы и реликвии из него были мягко и ненавязчиво скрыты аббатом. Закрытые в кабинете Аркоса, они стали недоступны для осмотра и изучения. Для практических целей их словно бы и не существовало. Все, что хранилось, исчезнув, в кабинете аббата, было не самой безопасной темой для разговоров. Об этом только неслышно шептались в коридорах аббатства. Но брат Френсис редко прислушивался к этим шепоткам. Наконец они прекратились, несколько оживившись лишь после того, как посланец из Нового Рима как-то вечером долго шептался о чем-то с аббатом в трапезной. Случайный обрывок их разговора донесся до соседнего стола. После отбытия посланника шорохи шли по аббатству несколько недель, а затем снова прекратились сами собой.

Брат Френсис Джерард из Юты на следующий год вернулся в пустыню, которая встретила его уже знакомым одиночеством. Когда он снова показался в аббатстве, слабый и изможденный, то предстал перед аббатом Аркосом, который потребовал сообщить, были ли у него еще встречи с

посланцем Небес.

— О нет, милорд аббат. Днями я не видел ничего, кроме канюков.

— А по ночам? — с подозрением спросил Аркос.

— Только волки, — сказал Френсис, простодушно добавив: — Я так думаю.

Аркос не стал комментировать эти слова, а только нахмурился. Хмурость аббата, как Френсис имел возможность наблюдать, была неоспоримым источником молниеподобной энергии, которая с непостижимой быстротой прорезала пространство, и смысл которой, выражавшийся в отдельных отрывочных словах, понять было невозможно, разве что ее сокрушительные раскаты обычно обрушивались на новичков или послушников. Френсису пришлось на пять секунд застыть, пережидая этот взрыв, пока не настало время для очередного вопроса.

— Ну, а как теперь насчет прошлого года?

Послушник сделал паузу, перебарывая спазм в горле.

— Этот… старик?..

— Этот старик.

— Да, Дом Аркос.

Стараясь, чтобы в его голосе не прозвучало ни

малейшей вопросительной интонации, Аркос загремел:

— Просто старик! И ничего больше! Теперь мы в этом уверены.

— Я тоже думал, что это был просто старик.

Отец Аркос устало потянулся за своим жезлом из гикори.

РАЗ!

— Deo gratias!

РАЗ!

— Deo…

Когда Френсис возвращался в свою келью, аббат, выглянув в коридор, крикнул ему вслед:

— Кстати, я хотел бы сказать…

— Да, досточтимый отец?

— В этом году никаких обетов, — равнодушно сказал он и исчез в кабинете.

Глава 7

Брат Френсис провел семь лет в послушничестве, семь лет в пустыне и стал весьма искусен в подражании волчьему вою. К восхищению своих собратьев, он не раз нарушал покой аббатства, изображая со стен его волчий вой. Днем он прислуживал на кухне, полировал каменные полы и продолжал изучать древности в аудиториях.

Как-то в один прекрасный день в аббатство верхом на осле прибыл посланник из семинарии Нового Рима. После долгой беседы с аббатом он изъявил желание увидеть брата Френсиса и не скрыл удивления, увидев, что тот юноша ныне превратился в мужчину, но по-прежнему носит одеяние послушника и моет пол в кухне.

— Мы уже несколько лет изучаем найденные вами документы, — сказал он послушнику. — И многие из нас уверены, что они подлинные.

Френсис опустил голову.

— Мне не позволено говорить на эту тему, отец мой, — сказал он.

— Ах вот оно что, — посланник улыбнулся и протянул ему клочок бумаги, украшенный печатью аббата, на котором рукой его владыки было

написано указание «слушать и повиноваться».

— Все в порядке, — торопливо добавил он, заметив, в каком напряжении находится послушник. — Я говорю с тобой неофициально. Некто еще из состава суда позже выслушает твое заявление. Знаешь ли ты или нет, что твои бумаги находятся уже в Новом Риме? Кое-что из них я привез обратно.

Брат Френсис покачал головой. Возможно, он знал меньше, чем кто-либо другой, но всегда был уверен, что его находка вызовет реакцию на самом высоком уровне. Он отметил, что на посланнике была черная ряса ордена доминиканцев, и почувствовал странное смущение, представив «суд», о котором говорил Черный Фриар. Он представлял собой инквизицию, которая выжигала ересь на Тихоокеанском берегу региона, но он не мог себе представить, что этот суд может заинтересоваться реликвиями блаженного. «Это Великий Инквизитор» — сказано в послании. Может, аббат имел в виду «Исследователь». Похоже, что доминиканец обладает мягким юмором, и вроде бы у него нет с собой приспособлений для пыток.

— Мы надеемся, что скоро вновь вернемся к вопросу о канонизации вашего основателя, —

объяснил посланец. — Ваш аббат Аркос очень умный и предусмотрительный человек, — он хмыкнул, — поскольку передал реликвию другому ордену для изучения и запечатал убежище в ожидании его тщательного исследования… Словом, ты все понимаешь, не так ли?

— Нет, отец мой. Я предположил, что он посчитал всю эту историю слишком незначительной, чтобы тратить на нее время.

Чернорясый монах рассмеялся.

— Незначительной? Я так не думаю. Но если ваш орден представит свидетельства, реликвии, чудеса и все такое прочее, высокий суд должен будет удостовериться в их источнике. Каждая обитель стремится, чтобы ее основатель был канонизирован. И поэтому ваш аббат с присущей ему мудростью приказал: «Руки прочь от убежища». Я уверен, что все вы были растеряны, но — для вашего же блага и для блага вашего основателя — лучше, чтобы убежище было исследовано в присутствии и других свидетелей.

— Вы собираетесь вскрывать его? — взволнованно спросил Френсис.

— Не я. Но когда высокий суд будет готов, он пришлет наблюдателей. Все, что будет найдено в убежище, должно пребывать в полной нетрону-

тости на тот случай, если другая сторона выразит сомнение в подлинности находок. Конечно, делу крепко повредит, если появятся сомнения в том, что… ну, словом, те вещи, что вы нашли…

— Могу ли я осведомиться, в чем тут дело, отец мой?

— Ну, одним из препятствий, мешающих приобщению блаженного Лейбовица к лику святых, является ранний период его жизни — до того, как он стал монахом и священником. Адвокаты противной стороны пытаются посеять сомнения относительно раннего периода его жизни, до Потопа. Они утверждают, что Лейбовиц никогда по-настоящему не занимался тщательными розысками своих близких — и что его жена была еще жива в момент пострижения. Конечно, это не так уж и важно, порой самые строгие правила позволяют исключения, но и об этом может зайти речь. «Адвокат дьявола» пытался высказать сомнения относительно личности вашего основателя, утверждая, что он создал святой орден и дал обет, не будучи в полной уверенности, что на нем более не лежит ответственность за семью. Возражения не возымели действия, но они могут возникнуть снова. И если те останки, что вы нашли, в самом деле… — он пожал плечами и

улыбнулся.

Френсис кивнул.

— Они помогут уточнить дату ее смерти.

— Едва только начались военные действия, как все сразу было кончено. Что же касается моего мнения… ну, относительно той надписи от руки на крышке ящика, то это или в самом деле почерк блаженного, или очень ловкая подделка.

Френсис покраснел.

— О, я не предполагаю, что ты имеешь отношение к подделке, — торопливо добавил доминиканец, заметив краску на лице Френсиса. — Расскажи мне, как все это произошло, как ты нашел это место, я имею в виду. Я хочу знать все, с начала до конца.

— Началось это из-за волков…

Доминиканец принялся делать заметки.

Через несколько дней после того, как посланец покинул монастырь, аббат Аркос послал за Френсисом.

— Ты по-прежнему уверен, что нашел свое призвание именно у нас? — вежливо спросил Аркос.

— Если милорд аббат простит мое невыносимое тщеславие…

— Забудем на минуту о твоем тщеславии. Так да или нет?

— Да, магистер меус.

Аббат кивнул.

— Итак, сын мой. Я вижу, что ты в самом деле убежден в этом. Если ты готов всего себя посвятить нашему делу, то я думаю, что настало время для тебя принести торжественный обет, — замолчав, он уставился в лицо послушника и был разочарован, заметив, что тот продолжал сохранять бесстрастие. — В чем дело? Ты не рад слышать это? Ты не… Что тебя смущает?

Лицо Френсиса продолжало хранить маску вежливого внимания, но постепенно бледнело. Его колени внезапно подогнулись.

Френсис потерял сознание.

Двумя неделями позже послушник Френсис, поставивший рекорд выносливости после жизни в пустыне, расстался со своим званием послушника и, дав обет постоянной бедности, чистоты, послушания, а также специальный обет ордена, получил благословение и пояс аббатства, навечно став профессиональным монахом альбертианского ордена Лейбовица, прикованный цепями своих клятв к подножию Креста и законам ордена. Трижды его вопрошали: «Если Бог призовет тебя в ряды своих Собирателей Книг, согласен ли ты принять смерть, не предав своих собратьев?».

И трижды Френсис отвечал: «Да, Господи».

«Тогда поднимись, брат собиратель книг и брат вспоминатель, и прими поцелуй братства».

Брат Френсис покинул кухню, получив не столь черную работу. Он стал подмастерьем копииста у древнего монаха по имени Хорнер и теперь имел все основания считать, что, если дела пойдут хорошо, всю жизнь он проведет в этом помещении, где дни его будут посвящены переписыванию от руки алгебраических текстов и украшению страниц рукописей оливковыми листьями и веселыми херувимами, порхающими по полям таблиц логарифмов.

Брат Хорнер был мягким и добрым стариком, и с первых же дней брат Френсис преисполнился к нему любви.

— Большинство лучше всего работают с определенными копиями, — сказал Хорнер, — если есть свои пристрастия. Большинство копиистов начинают интересоваться теми или иными работами из Меморабилии и с удовольствием уделяют им и дополнительное время. Вот, например, взять брата Сарла, — он с трудом справлялся с работой и делал много ошибок. Мы дали ему возможность час в день заниматься тем проектом, к которому у него лежало сердце. Когда основная работа

начинала становиться такой утомительной, что вызывала ошибки, он откладывал ее в сторону и принимался за свою собственную. Я всем разрешаю делать то же самое. Если ты кончишь назначенную тебе работу до конца дня и у тебя не будет чем заняться по собственному выбору, ты должен проводить время в наших теплицах.

— Теплицах?

— Да, и я не имею в виду выращивание растений. Там мы собираем книги для самой разной церковной братии — служебники, Священные Писания, требники и все такое. Многие из них мы рассылаем. И пока у тебя не будет собственных занятий, мы будем направлять тебя заниматься ими, если ты будешь кончать пораньше. И у тебя хватит времени сделать выбор.

— А чем занимался брат Сарл?

Старый монах задумался.

— Сомневаюсь, что ты сможешь понять это. Я не смог. Похоже, что он нашел способ восстанавливать пропущенные слова и фразы в некоторых старых отрывках оригинальных текстов Меморабилии. Порой левая сторона наполовину сгоревшей книги была различима, а правая уничтожена огнем, и от каждой строчки оставалось лишь несколько слов. Он разработал какой-то

математический метод поиска недостающего текста. Бывали и у него ошибки, но в определенной степени метод срабатывал. С тех пор как он начал свои попытки, ему удалось восстановить целых четыре страницы.

Френсис бросил взгляд на восьмидесятилетнего и почти слепого брата Сарла.

— И сколько это отняло у него времени? — спросил он.

— Примерно сорок лет, — сказал брат Хорнер. — Конечно, он проводил за своими занятиями только пять часов в неделю, и они требовали хорошего знания математики.

Френсис задумчиво кивнул.

— Если за десять лет удалось восстановить одну страницу, может быть, через несколько столетий…

— Даже меньше, — каркнул брат Сарл, не отрываясь от работы. — По мере того как заполняются строчки, дело идет быстрее. Следующую страницу я заполню через пару лет. А затем, с Божьего соизволения, может быть… — его голос перешел в невнятное бормотание. Френсис заметил, что во время работы брат Сарл говорит сам с собой.

— Располагайся, — сказал брат Хорнер. — Нам всегда нужна помощь в теплицах, но когда тебе

захочется, ты можешь сам подобрать себе дело по душе.

Идея, пришедшая к брату Френсису, явилась неожиданной вспышкой.

— А мог бы я использовать время, — выпалил он, — чтобы делать копии с тех чертежей Лейбовица, которые я нашел?

Брат Хорнер не мог скрыть своего сомнения.

— Ну… я не знаю, сын мой. Наш владыка, аббат Аркос, он… э-э-э… он очень чувствительно относится к этой теме. Да этих бумаг может и не быть в Меморабилии. Они в какой-то особой папке.

— Но вы же знаете, брат, что они выцветают. Их вытащили на свет. И доминиканцы так долго держали их в Новом Риме…

— Видишь ли… ну, надеюсь, что ты быстро справишься с этим. И если отец Аркос не будет протестовать… — он с сомнением покачал головой.

— Возможно, я мог бы заняться этим, как своей работой, — торопливо предложил Френсис. — Ведь у нас есть несколько нескопированных чертежей, которые стали такими хрупкими, что рассыпаются. И если я сделаю несколько копий — и тех, и других…

Хорнер застенчиво улыбнулся.

— Ты предлагаешь это лишь для того, чтобы никто не узнал, что ты включил в свою работу и чертежи Лейбовица.

Френсис покраснел.

— И отец Аркос не должен ничего заметить, а? Если он будет навещать нас, не так ли?

Френсис смущенно поежился.

— Хорошо, — сказал Хорнер, слегка прищурившись. — Свое свободное время ты можешь использовать, делая копии любого текста, который существует в единственном числе и находится в плохом состоянии. Если в эту историю окажется замешанным еще кто-то, я постараюсь не заметить…

Брат Френсис провел несколько месяцев, используя остающееся у него время для копирования некоторых старых работ из Меморабилии, прежде чем прикоснулся к бумагам Лейбовица. Если старые рисунки вообще сохранялись, их надо перекопировывать каждые сто или, во всяком случае, двести лет. Выцветали не только оригиналы, но со временем становились почти неразличимыми и новые копии из-за нестойкости чернил. Он не имел ни малейшего представления, почему древние употребляли белые линии на черном фоне, хотя наоборот было бы ку-

да лучше. Когда он набрасывал углем очертания рисунка, сменив и фон на противоположный, даже приблизительный абрис становился куда более реалистичным, чем белое на черном, а ведь древние были несравнимо умнее Френсиса, и если уж они давали себе труд пускать в дело другие чернила, хотя, конечно, белой бумаги у них было вдоволь, у них были на то свои причины. Френсис старался копировать документы предельно близко к оригиналу — хотя выведение тонкой синеватой оболочки вокруг маленьких белых букв было достаточно утомительно и нудно, и на это уходили лишние чернила, из-за чего брат Хорнер порой ворчал.

Он тщательно перерисовал серию старых архитектурных эстампов, а затем чертеж машины, очертания которой были достаточно странны и о назначении которой он даже и не догадывался. Как таинственную абстрактную мандалу, он перенес надпись «СТАТОР НДГ МОД 73-А ПХ 6-П 1800 РПМ 5-ХП ЦЛ-А БЕЛИЧЬЯ ПЕЩЕРА», оставшуюся для него совершенно непонятной, хотя он догадывался, что она не служила местом заключения для белок. Древние часто пускались на хитрости, но как бы там ни было, он старательно копировал каждую черточку в надписи.

Только после того как аббат, который порой проходил через скрипторий, не менее трех раз мог убедиться, как он корпит над синьками (и дважды аббат Аркос остановился, чтобы бросить быстрый взгляд на Френсиса), он набрался смелости обратиться в Меморабилию за чертежами Лейбовица.

Оригиналы документов уже вернулись после реставрации. Не считая того факта, что они были связаны с именем блаженного, к своему разочарованию он увидел, что они ничем не отличались от всех прочих, которые прошли через его руки.

Оттиски Лейбовица представляли еще одну абстракцию, не говорившую ровно ни о чем. Он изучал их до тех пор, пока перед его закрытыми глазами не вставала вся их восхитительная запутанность. Но по сравнению с тем, что он знал раньше, Френсис не уяснил себе ничего нового. Чертежи представляли собой сеть линий, испятнанных отпечатками грязных пальцев, приклеившихся резинок и жевательного табака. Линии были в большинстве своем вертикальные или горизонтальные, и в местах их пересечения были точки или проколы: они пересекались под правильными углами и нигде не обрывались. Все это было настолько бессмысленно, что если долго

смотреть на них, они производили отупляющий эффект. Тем не менее он стал работать, перенося на новый лист каждую деталь и не забыв даже о размытом коричневом пятне, которое, как он подумал, могло быть кровью святого мученика, отбросив предположение брата Джериса, что это всего лишь след от огрызка сгнившего яблока.

Брату Джерису, который пришел в скрипторий с Френсисом, казалось, нравилось поддразнивать его по поводу того, чем он занимался.

— Молю тебя, — говорил он, склонившись над плечом Френсиса. — Скажи, какой смысл в словах «Транзисторная система контроля за группой Шесть-Б», многоученый мой брат?

— Совершенно ясно, что это название документа, — несколько смущаясь, сказал Френсис.

— Понятно. Но что он означает?

— Это название диаграммы, которая лежит перед твоими глазами, брат Простак. А что значит имя Джерис?

— Уверен, что ничего особенного, — с насмешливым самоуничижением сказал брат Джерис. — Уж прости мою тупость. Ты очень удачно определяешь название, указывая на животное, названное этим именем, и считаешь, что в нем и выражена его сущность. Но сейчас это явление,

эта диаграмма сама по себе что-то выражает, не так ли? Но что она выражает?

— Транзисторную систему контроля за группой Шесть-Б, скорее всего.

Джерис расхохотался.

— До чего ясно! Ну, ты красноречив! Некое явление выражено именем, и это имя выражает явление. Величина может быть выражена через такую же величину, или «порядок величин может быть обратим», но, может, стоит перейти к другим аксиомам? Если утверждение, что «величины, равные одной и той же величине, могут быть выражены одна через другую», справедливо, то нет ли здесь «некоей величины», которая может быть выражена и самой диаграммой и ее названием? Или это замкнутая система?

Френсис покраснел.

— Я думаю, — помолчав, чтобы справиться со смущением, медленно сказал он, — что данная диаграмма выражает скорее некую абстрактную концепцию, чем конкретную величину. Может, древние обладали разработанным методом для графического выражения чистой мысли. Во всяком случае, ясно, что тут не изображен объект, доступный для опознания.

— Да, да, он в самом деле нераспознаваем, —

хмыкнув, согласился брат Джерис.

— С другой стороны, чертеж должен изображать какой-то объект, но так как он полностью формализован, то нужна специальная подготовка или же…

— Специальный угол зрения?

— Мое мнение таково, что он представляет собой чистую абстракцию, заключающую в себе, скорее всего, бесценное выражение мыслей блаженного Лейбовица.

— Браво! Итак, о чем же он думал?

— Ну… о «цикличности операций», — сказал Френсис, пустив в ход термин, замеченный им в ряду букв справа внизу.

— Хм-м-м, к какой дисциплине относится это искусство, брат? Каковы его составляющие, особенности, в чем отличие от других?

«Сарказм Джериса становится надоедливым», — подумал Френсис и решил парировать его мягкостью ответа.

— Посмотри на эту колонку цифр и на их заголовок: «Перечисление деталей электронного оборудования». И здесь что-то было, искусство или наука, именуемая Электроника, которая могла иметь отношение и к Науке, и к Искусству.

— Ага! Так что же это такое было — Электро-

ника?

— Об этом тоже было написано, — ответил Френсис, который облазил Меморабилию сверху донизу в надежде найти ключ, при помощи которого суть чертежей станет ему яснее. — Предмет изучения Электроники — суть электрон, — объяснил он.

— Значит, так и написано? Просто поразительно. Я так мало знаю об этих штуках. А что же такое, брат, суть «электрон»?

— Ну, у нас имеется обрывок одного источника, который дает понять, что это «Вход в Ничто».

— Что? Как они могут говорить о «Ничто»? Разве это не «Нечто»?

— Но, может быть, это относится к…

— А! Теперь ты совсем запутался! Ты выяснил, что такое Ничто?

— Еще нет, — признался Френсис.

— На этом и стой, брат! До чего они были умные, эти древние, они знали, как иметь дело с тем, что называется Ничто. Стой на этом, и тебе тоже станет это ясно. Значит, «электрон» где-то внутри. И что нам с ними делать? Положить на алтарь в часовне?

— Ладно, — вздохнул Френсис. — Я не знаю. Но я глубоко верю, что в свое время «электрон»

существовал, хотя я не имею представления, как он был устроен и для чего он был нужен.

— До чего трогательно! — хмыкнул иконоборец, возвращаясь к своей работе.

Периодические нападки брата Джериса огорчали Френсиса, но не мешали ему с той же преданностью относиться к своему делу.

Точное воспроизведение каждой черточки, пятна или подтека было невозможным, но аккуратность Френсиса делала его копию практически не отличимой от оригинала; с расстояния уже в два шага и более ее смело можно было демонстрировать в этом качестве, так что оригиналы могли быть спрятаны под замок и опечатаны. Закончив факсимильное воспроизведение, брат Френсис ощутил разочарование. Рисунок был слишком аккуратен. В нем не было ничего, что при первом же взгляде должно было наводить на мысль, что это святая реликвия. Стиль его исполнения был сжатый и сдержанный — может быть, он вполне устраивал самого блаженного, и все же…

Копии реликвии было недостаточно. Святые были скромными людьми, которые прославляли не себя, а Бога, и остальным лишь оставалось передавать их внутреннее сияние при помощи внешних, видимых средств. Даже самой точ-

ной копии было мало: ее холодная точность не поражала воображение, а ее внешний вид не имел ничего общего со святым вдохновением блаженного.

«Да восславим», — думал Френсис, работая. Он переписывал страницы псалмов, готовя их к переплету. Он остановился, чтобы найти место в тексте, с которым работал, и понять значение слов — после долгих часов копирования он терял их смысл и просто позволял руке выводить буквы, по которым скользили глаза. Он отметил, что переписывает молитвы Давида о прощении из четвертого псалма «...ибо я знаю свои прегрешения, и грех мой по-прежнему лежит на мне». То была молитва униженного и раздавленного, но стиль, в котором была разрисована страница перед его глазами, отнюдь не напоминал о скромности и униженности. Заглавная «М» была вся инкрустирована золотыми листьями. Арабески сплетенных фиолетовых и золотых нитей заполняли поля страниц, окружая прихотливыми блистательными клубками величественные заглавные буквы в начале каждого абзаца. Брат Френсис копировал лишь основной массив текста, перенося его на новый пергамент, и оставлял место для будущих заглавных букв и широкие

поля. Другие мастера заполнят буйством цвета скромные строчки, написанные его рукой, и создадут красочное зрелище. Его учили, как украшать тексты, но он не был настолько искушен, чтобы взять на себя эту работу.

«Да восславится», — он непрестанно думал о тех синьках.

Никому не говоря о пришедшей к нему идее, брат Френсис начал кое-что придумывать. Он раздобыл отличную шкуру ягненка и несколько недель убивал все свободное время, растягивая ее, выглаживая каменными ступами до полного совершенства, пока она не приобрела снежно-белый оттенок, после чего он аккуратно сложил ее и спрятал. В течение нескольких последующих месяцев он использовал каждую минуту, чтобы заглянуть в Меморабилию, снова и снова разыскивая ключ к разгадке тайны чертежей Лейбовица. Ничего, похожего на ключ, найти не удалось, и он по-прежнему не мог понять их значения, но после долгих поисков наткнулся на остаток книги, обрывки которой имели отношение к таким же синькам, намекая на них. Похоже, что это была часть энциклопедии. Информация была краткой, а ряд статей исчез, но несколько раз прочитав оставшиеся, он начал подозревать,

что и он, и много копиистов до него лишь впустую тратили и время, и чернила. Эффект, который производило белое на черном, был результатом простейшего процесса копирования. Оригинальные чертежи, с которых производилось копирование, представляли собой черные линии на белом фоне. Он с трудом подавил внезапное желание удариться головой о каменную стену. И затраченные чернила и труд по тщательному копированию — все впустую! Впрочем, брату Хорнеру говорить об этом не стоит. Сердце у него слабое, и поберечь его будет благим делом.

Понимание, что цвет синек не является обязательным для оригиналов древних чертежей, дало толчок к разработке его плана. Копируя святую работу Лейбовица, надо убирать все случайное. Если он сменит цвета, никто не узнает с первого взгляда первоначальный рисунок. К тому, что ему непонятно, он и не притронется, но все, в чем он разобрался, придется менять; так, наборы букв в рамках он симметрично разместит вокруг диаграмм на свитках и щитах. Смысл диаграмм по-прежнему оставался туманным, и он не решился менять их размер и расположение, но так как цвет чертежей уже стал неважным, они должны будут получиться просто великолепно.

Он решил некоторые части чертежа изобразить в золоте, но чрезмерное обилие золота может быть воспринято как тщеславие. Асимметрия рисунка должна оставаться нетронутой, и он не думал, что его смысл будет искажен, если он пустит по нему вьющиеся виноградные лозы, полные гроздья на которых несколько скроют асимметрию или же придадут ей более естественный характер. После того как брат Хорнер украсит заглавное «М» листьями, ягодами и ветками и даже, может быть, обовьет его змеей с высунутым жалом, оно будет оставаться той же буквой «М». И брат Френсис не видел оснований, почему он не может подобным же образом обойтись с чертежом.

А в целом, используя завитки на краях, он может изобразить чертеж на большом щите, что будет, конечно, смотреться лучше, чем сухие линии на полях, отграничивающие рисунок от остального поля. Он сделал не меньше дюжины предварительных набросков. На самом верху пергамента он даст изображение Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, а в самом низу — рясу альбертианского ордена, как раз под образом блаженного.

Но, насколько Френсису было известно, подлинного изображения блаженного не существовало.

Было несколько предполагаемых портретов, но среди них не было ни одного, который бы точно относился ко времени Очищения. Трудно было представить себе, как он выглядел, хотя предания говорили, что Лейбовиц был скорее высок и сутуловат. Но, может, после того, как откроют убежище…

Как-то в полдень размышления брата Френсиса над набросками были прерваны внезапным ощущением тревоги, что за его спиной кто-то стоит, и на его рабочий стол легла чья-то тень, которая принадлежала…

— НЕТ! ПОЖАЛУЙСТА! СВЯТОЙ ЛЕЙБОВИЦ, СНИЗОЙДИ КО МНЕ! ПОЩАДИ, ВЛАДЫКА!

— Итак, чем мы тут занимаемся? — пробурчал аббат, разглядывая его работу.

— Черчением, милорд аббат.

— Это я вижу. Но чего именно?

— Синьки Лейбовица.

— То, что ты нашел? Но это нечто совсем иное. Почему ты изменил их?

— Это должна быть…

— Громче!

— …раскрашенная копия, — с трудом выдавил из себя брат Френсис.

— Ах, вот как.

Аббат Аркос пожал плечами и удалился.

Через несколько минут брат Хорнер приковылял в скрипторий и удивился, увидев, что Френсис потерял сознание.

Глава 8

К изумлению брата Френсиса, аббат Аркос никак не отреагировал на его интерес к этим реликвиям. С тех пор как доминиканцы согласились заняться сутью дела, аббат как-то расслабился, и так как вопрос о канонизации снова обрел движение в Новом Риме, порой казалось, что он забыл о тех необычных обстоятельствах, которыми сопровождалось бдение в пустыне послушника Френсиса Джерарда, некогда жителя Юты, а ныне обитателя скриптория. Со времени этой истории миновало одиннадцать лет. Слухи, которые ходили среди послушников относительно личности пилигрима, давно стихли. Послушник времен брата Френсиса был совершенно не тот, что сегодня, ибо те, кто приходили в монастырь, и не слышали об этой истории.

Она обошлась брату Френсису в семь лет обета, проведенных среди волков, и до сих пор он не мог поверить, что все в порядке. Когда эти годы всплывали в памяти, ему снились ночи среди волков и лицо аббата Аркоса; Аркос кидал волкам куски мяса, и Френсис знал, что корм этот — он сам, его плоть.

Тем не менее монаху стало ясно, что он может продолжать работу над своим проектом без помех, если не считать брата Джериса, который продолжал его поддразнивать. Френсис принялся за украшение овечьей шкуры. Сложности украшения полей завитками, исключительная тонкость работы с золотом, несмотря на скоротечность, с которой он пришел к своему замыслу, должны были растянуть работу на многие годы; в темном море столетий ничто не имело значения, а жизнь человеческая была лишь легким дымком, исчезающим с первым дуновением ветра. В унылом рутинном порядке дни шли за днями и весны сменялись веснами, затем приходили боли и страдания, завершающиеся «последним прости», которому предшествовала темнота конца — или, скорее, начала. Ибо тогда маленькая дрожащая душа, которая вынесла скуку этих томительных времен, неважно, достойно или нет, обретала себя в мире света, растворяясь в жарком пламени всепонимающих глаз, когда представала перед Всевышним. И тогда Господь говорил: «Иди», или же Господь изрекал: «Уходи», и лишь для этого мгновения имела смысл томительная череда дней.

Брат Сарл, кончив пятую страницу восстанов-

ленных математических расчетов, рухнул на свою кафедру и через несколько часов скончался. Ничто не имело значения. Его заметки остались нетронутыми. Через столетие-другое кто-то, возможно, наткнется на них, сочтет интересными и, не исключено, возможно, продолжит его работу. А тем временем братья молились за душу Сарла.

Рядом существовал и брат Финго с его резьбой по дереву. Год или два назад он вернулся в свою плотницкую и получил разрешение время от времени резать и полировать свою полуоконченную скульптуру мученика. Как и Френсису, ему удавалось уделять не больше часа в день, чтобы заниматься излюбленным ремеслом, и работа над резным изображением шла так медленно, что была незаметна даже для тех, кто видел ее лишь раз в несколько месяцев. Френсис же, хоть и часто наблюдал за работой мастера, видел, как он продвигается вперед. Френсис был очарован неиссякаемым радушием Финго, даже понимая, что Финго старается вести себя подобным образом, дабы как-то возместить свое уродство, и был рад проводить несколько свободных минут, если они ему выпадали, наблюдая, как работает Финго.

Плотницкая была полна запахов сосны, кедра,

свежих стружек и пота. Найти работы из дерева в аббатстве было не так просто. Кроме фигового дерева и нескольких тутовников, растущих в непосредственной близости от источника, местность вокруг была безлесной. В трех днях пути верхом лежала небольшая рощица, оставшаяся от чащи, и в поисках леса монахи нередко уходили из аббатства на неделю и больше, после чего возвращались с мулами, нагруженными вязанками дерева, из которого делали втулки и затычки, посохи и ступеньки, а порой и стулья. Иногда им удавалось притащить одно-другое бревно, когда нужно было менять подгнившие стропила. При таком недостатке дерева плотник волей-неволей был и резчиком по дереву, и скульптором.

Порой, пока Финго возился с деревянной скульптурой, Френсис сидел на скамеечке в углу мастерской и рисовал, пытаясь запечатлеть на бумаге детали резьбы, которые пока лишь смутно проглядывали в абрисе фигуры. В ней уже проступали неясные очертания лица, но оно было скрыто под щепками и следами резца. В своих рисунках Френсис старался предугадать те черты, которые должны проступить из дерева. Финго посматривал на рисунки и посмеивался. Но работа у него шла. Френсиса не покидало

ощущение, что лицо, проступающее из дерева, улыбается усмешкой, которая ему уже знакома. Он набросал ее, и ощущение, что он уже видел это выражение, усилилось. Тем не менее он не мог ни изобразить это лицо, ни назвать имя застенчиво улыбающегося человека.

— В самом деле, неплохо. Совсем неплохо, — оценил Финго его набросок.

Копиист пожал плечами.

— Я не могу отделаться от ощущения, что я его раньше видел.

— Только не здесь, брат. И не при мне.

Френсис заболел, и прошло несколько месяцев, прежде чем он снова посетил мастерскую плотника.

— Лицо я почти закончил, Френсиско, — сказал резчик. Как он теперь тебе нравится?

— Я знаю его! — выдохнул Френсис, увидев глаза в сети морщинок, в которых смешалось странное — и веселое и печальное — выражение, а в углах рта таилась застенчивая улыбка; лицо это было знакомо ему.

— Знаешь? И кто же это? — удивился Финго.

— Это… ну, я не совсем уверен. Я предполагаю, что знаю его. Но…

Финго рассмеялся.

— Ты просто узнаешь свои собственные рисунки, — предложил он объяснение.

Уверенности в этом у Френсиса не было. Но вспомнить, где же он видел это лицо, Френсис так и не мог.

«Хм-м-хм-м», — казалось, говорила ему эта застенчивая улыбка.

Аббата она раздражала. Когда он счел, что работа закончена, то объявил, что никогда не позволит, чтобы она была использована для той цели, для которой предназначалась с самого начала — как образ, который будет стоять в церкви, если канонизация блаженного будет подтверждена. Несколько лет спустя, когда фигура была окончательно завершена, Аркос потребовал поставить ее в коридоре дома для гостей, но позже приказал перенести к себе в кабинет, после того как она испугала гостя из Нового Рима.

Медленно и тщательно брат Френсис превращал овечью шкуру в сияние поразительной красоты. Слух о его работе разнесся по скрипторию, монахи часто собирались вокруг его стола и, глядя на его труд, бормотали в почтительном восхищении.

— На него снизошло вдохновение свыше, — шептал кое-кто, — и вот тому доказательство.

Должно быть, сам блаженный встретился ему…

— Не могу понять, почему бы тебе не использовать свое время для более полезных вещей, — хмыкал брат Джерис, сарказм которого поутих после того, как год за годом он сталкивался с терпеливыми ответами брата Френсиса. Скептик использовал свое свободное время, сшивая и украшая абажуры на лампы в церкви, чем привлек внимание аббата, который повысил его в должности, сделав старшим. Не за горами было и дальнейшее возвышение брата Джериса.

Брат Хорнер, дряхлый мастер-копиист, болел. Через несколько недель стало ясно, что возлюбленный брат в монашестве не встанет со смертного ложа. Похоронная месса прозвучала в первые дни Пасхи. Святые останки старого мастера были преданы земле. Пока братство изливало свою печаль в молитвах, Аркос тихой сапой назначил брата Джериса старшим в скриптории.

На следующий день после своего назначения брат Джерис оповестил брата Френсиса — он пришел к выводу, что ему пора бросать свои детские забавы и заниматься делом, подобающим взрослому человеку. Монах послушно свернул свою драгоценную работу, спрятал ее далеко на полку дубового шкафа и в свободное время стал делать

абажуры. Он не высказал ни одного слова протеста, но успокаивал себя пониманием того, что в свое время душа дорогого брата Джериса пойдет вслед душе брата Хорнера по той дороге, на которой наше пребывание на грешной земле — лишь краткая остановка, может, это произойдет еще в его молодые годы, и тогда, с Божьего соизволения, Френсис продолжит свою работу.

Провидение, впрочем, проявило себя значительно раньше, без того чтобы призывать брата Джериса к Создателю. В то лето, последовавшее за возвышением брата Джериса, в аббатство из Нового Рима явилась апостолическая процессия с караваном мулов, на которых восседала целая свита клириков, а глава ее представился монсиньором Мальфредо Агуэррой, истолкователем для процедуры канонизации святого Лейбовица. Вместе с ним было несколько доминиканцев. Он явился, чтобы присутствовать при вскрытии убежища и исследования его «Изолированной Среды Обитания». Кроме того, он должен был исследовать доказательства, которые могли появиться в аббатстве, включая — и аббат не мог скрыть своего разочарования — сообщение о появлении блаженного, который, по рассказам путешественников, в свое время явился Френсису

Джерарду из Юты.

Монахи тепло встретили адвоката святого; они собрались в помещении, отведенном для приема прелата, которого с любовью и тщанием обслуживали шесть молодых послушников, получивших указание незамедлительно реагировать на каждый каприз гостя, хотя, как выяснилось, монсиньор Агуэрра, к разочарованию поставщиков, почти не выражал никаких желаний. Для него были открыты лучшие вина; Агуэрра вежливо пригубил их, но предпочел молоко. Брат-охотник поймал для пиршественного стола в честь гостя толстую перепелку и фазана, но после разговора о том, как питается фазан («Он клюет зерна, брат?» — «Нет, он пожирает змей, монсиньор»), монсиньор Агуэрра предпочел отпробовать монашескую кашу в общей трапезной. Но поинтересуйся он, какого происхождения были куски мяса, которые встретились ему в пище, он, может быть, предпочел бы натурального фазана. Мальфредо Агуэрра настаивал, чтобы жизнь в аббатстве и в его присутствии шла как обычно. Тем не менее каждый вечер адвоката святого развлекали скрипач и группа клоунов, так что он начинал верить, что «обычная жизнь» в аббатстве должна быть исключительно оживленной,

насколько это позволяет бытие монашеской общины. На третий день пребывания Агуэрры аббат пригласил Френсиса. Отношения между монахом и его владыкой были далеки от подлинной близости, но тем не менее носили формально дружелюбный характер с тех пор, как аббат разрешил послушнику принять обет, и ныне брат Френсис больше не содрогался от страха, постучав в двери кабинета и спросив:

— Вы посылали за мной, досточтимый отец?

— Да, посылал, — сказал Аркос и спокойно осведомился: — Скажи мне, думал ли ты о смерти?

— Часто, милорд аббат.

— И ты молился святому Иосифу, чтобы смерть не причинила тебе излишних мучений?

— М-м-м… каждый раз, досточтимый отец.

— Значит, ты не хочешь, чтобы тебе внезапно проломили голову? Чтобы твои кишки натянули струнами скрипки? Чтобы тебя скормили гиенам? Чтобы твои кости похоронили в неосвященной земле? А?

— Н-н-нет, магистер меус.

— Я тоже так думаю, и поэтому тщательно обдумывай свои ответы на вопросы монсиньора Агуэрры.

— Я?..

— Ты. — Аркос потер подбородок и, казалось, погрузился в невеселые размышления. — Мне все совершенно ясно. Дело Лейбовица положено на полку. Бедный наш брат стал жертвой упавшего кирпича. Вот он лежит ничком, моля об отпущении грехов. И обрати внимание, все мы стоим вокруг него. Мы стоим, глядя на беднягу, слыша его предсмертный хрип, и ни у кого не поднимается рука послать ему «последнее прости». И он отправляется прямиком в ад. Без отпущения грехов. Дьявол уносит его у нас из-под носа. Какая жалость, не правда ли?

— Милорд… — еле выдавил из себя Френсис.

— О, не порицай меня. Я и так выбивался из сил, останавливая братьев от желания забить тебя до смерти.

— Когда?

— Надеюсь, что этого вообще не произойдет. Потому что ты в самом деле будешь очень осторожен, не так ли? Относительно того, что ты будешь говорить монсиньору. В противном случае я отдам тебя им на растерзание.

— Да, но…

— Постулатор желает сейчас с тобой увидеться. Прошу тебя не давать воли своему воображению и отвечать за свои слова. И, пожалуйста, помень-

ше размышляй.

— Надеюсь, что мне это удастся.

— Давай, сынок, давай.

Френсис испытывал страх, когда впервые постучался в двери монсиньора Агуэрры, но быстро убедился, что у страха нет оснований. Высокий член Священной Коллегии был мягким, учтивым стариком, который дипломатично и любезно интересовался жизнью маленького скромного монаха.

После нескольких минут дружелюбного предварительного разговора они перешли к предмету встречи:

— Ну-с, а теперь о твоей встрече с лицом, которое могло быть Благословенным Основателем…

— Но ведь я никогда не говорил, что он был нашим Благословенным Лей…

— Конечно, ты не говорил, сын мой. Конечно, нет. Вот у меня целый рассказ об этом случае — составленный главным образом по слухам, — и я хотел бы, чтобы ты прочел его, а затем подтвердил или же исправил, — он замолчал, вытаскивая свиток из своего баула, и протянул его брату Френсису. — Эта версия основана на рассказах путешественников, — добавил он. — Только ты можешь рассказать, что случилось — из первых

рук, — поэтому я хочу, чтобы ты прочел этот текст очень внимательно.

— Конечно, мессир. Но на самом деле все было очень просто…

— Читай! Читай! А потом мы поговорим об этом, ладно?

Объем свитка свидетельствовал о том, что это было отнюдь не «очень просто». Читая его, брат Френсис чувствовал, как в нем росли опасения. Скоро они стали граничить с неподдельным ужасом.

— Ты побледнел, сынок, — сказал высокий чин. — Тебя что-то беспокоит?

— Мессир, такого… такого вообще не было!

— Не было? Но ведь в конце концов можно предположить, что ты можешь быть автором этого сочинения. Иначе откуда все это могло бы появиться? Разве не ты был единственным очевидцем?

Брат Френсис закрыл глаза и потер лоб. Своим собратьям-послушникам он говорил чистую правду. Послушники шепотом обсуждали его историю между собой. Потом при случае рассказали ее какому-то путешественнику. Тот рассказал ее другим странникам. И наконец — случилось вот это! Чудо, что еще аббат Аркос позволил себе го-

ворить на эту тему. О, не стоило вообще говорить о пилигриме!

— Он сказал мне всего лишь несколько слов. Я видел его лишь мельком. Он замахнулся на меня посохом, спросил о дороге к аббатству и сделал знак на камне, под которым я нашел пещеру. И больше я его не видел.

— Галлюцинаций не было?

— Нет, мессир.

— А хора с небес?

— Нет!

— А как насчет ковра из роз, который должен был простираться перед ним, когда он шел?

— Нет, нет. Ничего подобного, мессир, — выдохнул монах.

— Он написал на камне свое имя?

— Бог мне судья, мессир, он сделал всего лишь два этих знака. И я не знал, что они означали.

— Ну, хорошо, — вздохнул истолкователь. — Путешественники вечно преувеличивают в своих россказнях. Но меня интересует, как все это началось. Не можешь ли ты мне рассказать, как все это было на самом деле?

Брат Френсис был очень краток. Казалось, что Агуэрра опечалился. Задумчиво помолчав, он взял толстый свиток, встряхнул его, приводя в

порядок, и сунул в пустой ларь.

— Чудо номер семь, — пробормотал он.

Френсис поспешил принести извинения.

Собеседник отвел их.

— Об этом не будем. На самом деле свидетельств у нас хватает. У нас есть несколько случаев мгновенных излечений, когда болезнь отступала по вмешательству блаженного. По сути дела, с ними все просто и ясно, и истории эти подтверждены документально. На таких случаях и основывается канонизация. Но «адвокат дьявола» может распять тебя, и ты это знаешь.

— Я ничего не говорил о…

— Понимаю, понимаю! Все началось из-за убежища. Кстати, сегодня мы его вскрыли.

Френсис оживился.

— Вы… вы нашли что-то новое о святом Лейбовице?

— Пока еще о блаженном Лейбовице, — поправил его монсиньор. — Пока еще нет. Мы открыли внутреннюю камеру. Понадобилось чертовски много времени, пока мы до нее добрались. Внутри обнаружили пятнадцать скелетов и множество удивительных изделий. Артефактов. Видимо, женщина, — кстати, то была в самом деле женщина, чьи останки ты нашел, — выбралась во

внешний отсек, ибо внутренний был полон. Возможно, ей удалось бы как-то спастись, если бы рухнувшие стены не закрыли выход из пещеры. Бедные страдальцы были пойманы в ловушку, потому что глыбы заблокировали выход. И бог их знает, почему они не сделали двери, открывающиеся внутрь.

— Женщина в первом отсеке — это в самом деле была Эмили Лейбовиц?

Агуэрра улыбнулся.

— Как мы можем доказать это? Пока я не знаю. Сам я верю, что так оно и было, да — я верю, но, возможно, убедительные доказательства заставят меня расстаться с этой надеждой. Увидим, что нам удастся найти еще. Увидим. У другой стороны есть иные свидетельства, и я не могу предугадывать заключение.

Несмотря на разочарование, которое доставил ему Френсис своим рассказом о встрече с пилигримом, Агуэрра не изменил своему дружелюбному расположению к нему. Прежде чем возвращаться в Новый Рим, он провел десять дней на археологических раскопках и, уезжая, оставил двух своих ассистентов наблюдать за их ходом. В день отъезда он посетил в скриптории брата Френсиса.

— Мне сказали, что ты работаешь над документом для увековечения памяти о тех реликвиях, что ты нашел, — сказал истолкователь. — И если верить тем писаниям, которые мне довелось услышать, я был бы очень признателен, если бы мне удалось его увидеть.

Монах начал было возражать, что его работа не представляет собой ничего особенного, но тем не менее тут же принес пергамент, держа его с таким благоговением, что руки его дрожали, когда он разворачивал свиток. Ему доставляло удовольствие наблюдать, как брат Джерис с трудом справляется с нервным ознобом.

Монсиньор долго смотрел на его работу.

— Восхитительно! — вырвалось у него наконец. — Какие блистательные цвета! Превосходно, превосходно! Кончай ее, брат мой, кончай ее!

Брат Френсис взглянул на брата Джериса и вопросительно улыбнулся.

Начальник скриптория быстро отвернулся. Затылок у него налился багровой краской. На следующий день Френсис разобрал свои кисточки, краски, растертое золото и приступил к работе.

Глава 9

Через несколько месяцев после отъезда монсиньора Агуэрры в аббатство из Нового Рима прибыл второй караван мулов с полным набором чиновников и вооруженной охраной для защиты от разбойников на больших дорогах, маньяков-мутантов и драконов, о которых ходили упорные слухи. На этот раз экспедицию возглавлял монсиньор Флаут, украшенный маленькими рожками и заметными клыками, который объявил, что в его обязанности входит противостоять канонизации блаженного Лейбовица и что он прибыл расследовать и, возможно, установить меру ответственности, как он намекнул, за некие неправдоподобные истерические слухи, наполняющие аббатство жалобными стенаниями, которые донеслись даже до ворот Нового Рима. Он совершенно ясно дал понять, что не собирается выслушивать разную романтическую чепуху, что, возможно, позволял себе предыдущий визитер.

Аббат вежливо встретил его и предложил железную койку в келье, выходящей на южную сторону, с бесконечными извинениями, что в по-

мещении для гостей недавно были обнаружены следы оспы. Монсиньор проводил время только со своими людьми и питался грибами и травами в общей трапезной, так как в этом году не было ни перепелок, ни фазанов, как сообщили охотники.

На этот раз аббат не счел нужным предупреждать Френсиса, чтобы он не давал воли своему воображению. Пусть делает с ним, что хочет. Существовала небольшая опасность, что «адвокат дьявола» немедленно поверит этой истине, не утруждая себя тщательным расследованием и не заботясь о том, что вкладывает персты в язвы.

— Я знаю, что ты можешь потерять сознание, столкнувшись с воздействием чар, — сказал монсиньор Флаут, когда они остались с братом Френсисом наедине и впившись в него взглядом, в котором, как решил Френсис, светилось воплощенное зло. — Скажи мне, в твоей семье случались у кого-то эпилептические припадки? Были ли нейромутанты?

— Нет, ваше преподобие.

— Я не преподобие, — фыркнул священник. — Итак, теперь мы вытянем из тебя подлинную правду. «Тебе необходимо сделать небольшую хирургическую операцию, — казалось, говорил его тон, — ампутировав лишь то, что необходимо».

— Тебе не приходило в голову, что документы могли подвергнуться искусственному старению? — спросил он.

Брату Френсису это не приходило в голову.

— Ты заметил, что этого имени, Эмили, не встречается среди бумаг, которые ты нашел?

— Но ведь… — он остановился, внезапно ощутив неуверенность.

— Имя, которое там встречается, звучит, как Эм, не так ли? Оно может быть сокращением от Эмили?

— Я… я думаю, что так оно и есть, мессир.

— Но ведь так же это может быть сокращением от Эммы, разве нет?

Френсис молчал.

— Ну?

— О чем вы спрашиваете, мессир?

— Неважно! Только что я доказал тебе, что «Эм» может принадлежать и Эмме, а «Эмма» — это не сокращенное от Эмили. Что ты на это скажешь?

— У меня нет сложившегося мнения на этот счет, но…

— Но что?

— Муж и жена, как правило, не обращают внимания, как они называют друг друга.

— ДА ТЫ НИКАК ДЕРЗИШЬ МНЕ?

— Нет, мессир.

— А теперь говори мне правду! Как ты открыл это убежище, и что это за бредовое пустословие относительно какой-то встречи?

Брат Френсис попытался объяснить. «Адвокат дьявола» периодически прерывал его рассказ ироническим фырканьем и саркастическими замечаниями, а когда монах кончил, яростно вцепился в его рассказ и раздолбал его по кусочкам вдоль и поперек так, что сам Френсис начал сомневаться, в самом ли деле он видел старика или же просто выдумал всю эту историю.

Перекрестный допрос был груб и жесток, но Френсис почувствовал, что он пугает его меньше, чем беседа с аббатом. «Адвокат дьявола» мог лишь расчленить его по частям, и знание того, что операция скоро кончится, помогало переносить терзания. А вот стоя лицом к лицу с аббатом, Френсис знал, что карающий бич может обрушиваться на него снова и снова, ибо Аркос был владыкой его души и тела и неизменным инквизитором до скончания жизни.

Похоже, что монсиньор Флаут счел историю монаха слишком примитивной и разочаровывающе прямолинейной, чтобы обрушить на нее всю мощь своего нападения.

— Ну что ж, брат. Если твоя история такова и ты настаиваешь на ней, я думаю, что возиться с тобой мы больше не будем. Даже если это правда — с чем я не могу согласиться, — она банальна до глупости. Ты понимаешь это?

— Именно об этом я всегда и думал, мессир, — вздохнул брат Френсис, который в течение долгих лет старался отстраниться от всех преувеличений, которыми другие сопровождали появление пилигрима.

— Самое время признать это! — рявкнул Флаут.

— Я всегда говорил, что, по моему мнению, он был, скорее всего, обыкновенным стариком.

Монсиньор Флаут закрыл глаза рукой и тяжело вздохнул. Его опыт общения с такими свидетелями подсказал, что делать ему тут больше нечего.

Перед тем как оставить аббатство, «адвокат дьявола», как и его предшественник, выступавший на стороне святого, изъявил желание посетить скриптoриум, где захотел видеть готовящуюся копию синек Лейбовица («Сплошную глупость», как Флаут называл их). На этот раз руки монаха дрожали не от благоговения, а от страха, потому что он снова чувствовал опасность расстаться с делом своей жизни. Монсиньор Флаут молча

осмотрел пергамент. Трижды сглотнул. Наконец заставил себя кивнуть.

— Воображение у тебя живое, — признал он. — Но все это нам известно, не так ли? — он помолчал. — Как давно ты над этим работаешь?

— Шесть лет, мессир, — с перерывами.

— Похоже, что тебе еще долго придется трудиться.

Рожки монсиньора Флаута уменьшились примерно на дюйм, а клыки совершенно исчезли. В тот же вечер он отправился в Новый Рим.

Годы неспешно текли один за другим, покрывая морщинками молодые лица и серебря виски. Работа в монастыре шла, как и раньше, а если временами над ним и бушевали штормы, то они неизменно заканчивались песнопениями в честь Божественного Провидения. Медленно, но неустанно каждый день пополнялись страница за страницей рукописей и копий, время от времени епископат требовал клерков и писцов, когда шли заседания трибунала Экклезиаста, а порой за их помощью обращались и мирские власти. Брат Джерис возгордился до того, что решил поставить печатный пресс, но, услышав о его планах, аббат Аркос разрушил их. Не было ни качественной бумаги, ни хороших чернил, ни

потребности в дешевых книгах, поскольку мир погряз в неграмотности. Копиисты обходились чернильницами и гусиными перьями.

Во время празднества в честь Пяти Святых Дураков явился посланец из Ватикана с радостными известиями для ордена. Монсиньор Флаут снял все возражения и принес покаяние перед иконой блаженного Лейбовица. Монсиньор Агуэрра выиграл дело: папа дал указание издать декрет, в котором рекомендует канонизацию. Дата формального оповещения об этом событии назначена на грядущий Святой Год и совпадает с созывом Генерального совета церквей, собирающегося с целью снова огласить развернутое заявление относительно веры и морали. Вопрос этот поднимался много раз в истории, но каждое новое столетие заставляло его возникать вновь и вновь, особенно в те темные времена, когда люди только смутно понимали, что такое даже ветер, звезды и дождь. И во время совета основатель альбертианского ордена будет внесен в Святцы.

После этого сообщения аббатство охватило веселье. Дом Аркос, сгорбленный от груза лет и порой выживающий из ума, вызвал к себе брата Френсиса и проскрипел:

— Его святейшество приглашает тебя в Новый

Рим на канонизацию. Так что готовься к отъезду.

— Я, милорд?

— Только ты. Брат-фармацевт запрещает мне передвижения, а пока я болен, брат-приор не должен оставлять общину.

— Только больше не теряй сознания, — брюзгливо добавил Дом Аркос. — Тебе оказано куда больше доверия, чем ты заслуживаешь, так как высокий суд признал доказанной дату смерти Эмили Лейбовиц. Но так или иначе его святейшество приглашает тебя. Я думаю, что тебе остается только вознести благодарение Богу…

Брат Френсис пошатнулся.

— Его святейшество…

— Да. Мы посылаем в Ватикан оригиналы чертежей Лейбовица. Что ты думаешь о том, чтобы взять с собой свою работу как дар к престолу Святого Отца?

— Ух, — сказал Френсис.

Аббат приободрил его, благословил, назвал милым простаком и отправил готовить облачение.

Глава 10

Путешествие в Новый Рим занимало самое малое три месяца, а может, и больше, время это зависело от пути, по которому Френсис мог двигаться в безопасности, прежде чем неизбежно столкнется с бандой грабителей, которая отнимет его осла. Путешествовать он должен будет один, без всякого оружия, с собой у него будет только монашеское облачение и чашка для сбора подаяний, не считая реликвий и раскрашенной копии. Он молил, чтобы разбойники не обратили на нее внимания: среди грабителей с большой дороги встречались порой достаточно любезные личности, которые забирали лишь то, что представляло ценность для них, позволяя своим жертвам спасти свою жизнь, тело и личные вещи. Другие были куда менее сговорчивы.

Для предосторожности брат Френсис закрыл черной повязкой правый глаз. Крестьяне часто бывают очень суеверны и стараются унести ноги лишь при намеке, что сейчас увидят дурной глаз. Снаряженный таким образом, он отправился в путь, дабы исполнить повеление его высокопреосвященства папы Льва XXI.

Примерно через два месяца после отъезда из аббатства монах наткнулся на поджидавших его грабителей. Это случилось на густо заросшей горной тропе, пролегавшей далеко от поселений, если не считать поселением Долину рожденных по ошибке, которая лежала в нескольких милях к западу от горы, и где, подобно прокаженным, отрезанная от всего мира, жила колония генетических монстров. Существовало несколько таких колоний, которыми управляли госпитальеры Святой Церкви, но Долины рожденных по ошибке среди них не числилось. Уроды, которым удалось избежать смерти от рук лесных племен, расположились здесь несколько столетий назад. Число их непрестанно пополнялось изуродованными и искалеченными существами, которые бежали от жестокого мира, но некоторые из них могли рожать и давали потомство. Нередко их дети наследовали уродства родителей. Часто они или рождались мертвыми или никогда не могли достичь возмужания. Но бывало, изуродованные гены подвергались рецессии и среди уродов появлялись нормальные дети. Порой случались лишь внешне нормальные, так как плод еще в утробе подвергался каким-то нравственным деформациям, имеющим отношение к душе или морали,

в результате чего от человеческого существа оставалось лишь внешнее сходство с ним. Даже Церковь осмелилась выразить точку зрения, что хотя эти существа созданы по внешнему образу и подобию, как и все остальные Божьи дети, души у них звериные, и закон природы гарантирует безнаказанность, если их будут уничтожать как зверей, а не как людей, ибо Бог создал их как наказание за грехи, которые едва не погубили человечество. Несколько теологов, чья вера в ад никогда не покидала их, утверждали, что порой можно прибегнуть к любой форме наказания, которая будет носить временный характер, но для человека взять на себя смелость решать судьбу существа, рожденного от женщины и имеющего божественный облик, — это значит присваивать себе божественные привилегии. Даже полные идиоты, одаренные куда меньше, чем собака, свинья или коза, если они рождены от женщины, имеют бессмертную душу, снова и снова грозно громыхали магистры. После нескольких таких оповещений, которые должны были пресечь убийства детей, из Нового Рима вышла энциклика, гласившая, что несчастные выродки получают имя «Племянников Папы», или, что то же самое, «Детей Папы».

— Пусть это отродье, которое живым появляется на свет у живых родителей, будет обречено на страдания и муки жизни, — сказал предыдущий Лев. — В соответствии с законом природы и Божественным предначертанием любви; и пусть их выкармливают и растят как детей, каковы бы ни были их внешние формы и поведение, ибо так распорядилась сама природа, глухая к Божественному откровению, и среди естественных прав человека есть право родителей способствовать жизни своих потомков, оно не может быть изменено законным образом ни обществом, ни государством, разве что Принцы осмелятся отменить это право. Но даже твари земные так не поступают.

У грабителя, напавшего на брата Френсиса, не было никаких заметных признаков деформаций, но было совершенно очевидно, что он явился из Долины рожденных по ошибке. Когда из кустов на склоне появились две фигуры в остроконечных капюшонах и, насмешливо ухая по-совиному, остановили монаха, издевательски склонившись перед ним, Френсис не мог разобрать с первого взгляда, шесть ли пальцев или больше было на руке, держащей лук: но не было никаких сомнений, что у одной из фигур в рясе два капюшона,

хотя он не видел лиц и не мог разобрать, скрывает ли второй капюшон еще одну голову или нет.

Сам грабитель стоял прямо перед ним на дороге. Он был невысок ростом, но тяжел и крепок как бык, с бритой лоснящейся макушкой и с челюстью, словно высеченной из гранита. Широко расставив ноги и скрестив на груди мускулистые руки, он стоял на дороге, наблюдая, как верхом на осле к нему приближается маленькая фигурка. Грабитель, насколько брат Френсис успел разглядеть, был вооружен только своими мускулами и ножом, который он даже не позаботился вынуть из ножен на поясе. Он поманил Френсиса рукой, приглашая двигаться вперед. Когда монах остановился в пятидесяти ярдах от него, один из «Детей Папы» спустил тетиву, и стрела врезалась в дорогу как раз у задних ног осла, отчего животное сделало скачок вперед.

— Слезай, — приказал грабитель.

Осел стоял на тропе. Брат Френсис откинул капюшон, чтобы показать повязку на глазу и дрожащими пальцами прикоснулся к ней. Он начал медленно высвобождать глаз из-под повязки.

Грабитель откинул голову и разразился взрывом грохочущего смеха, который, как подумал Френсис, мог бы исходить из глотки Сатаны. Мо-

нах пробормотал формулу изгнания дьявола, но грабителя она не тронула.

— Ваши заклятья, ты, черный мешок с дерьмом, мы уже который год пропускаем мимо ушей, — сказал он. — А теперь слезай.

Брат Френсис улыбнулся, пожал плечами и без всяких слов слез с седла. Грабитель осмотрел осла, потрепал его по холке, заглянул ему в зубы и пощупал копыта.

— Жрать? Жрать? — хрипло крикнула одна из задрапированных фигур на склоне холма.

— Еще нет, — рявкнул грабитель. — Слишком тощий.

Брат Френсис отнюдь не был уверен, что речь идет об осле.

— Добрый день вам, сэр, — любезно сказал монах. — Осла вы можете взять. Пешая прогулка, я думаю, будет способствовать моему здоровью, — он снова улыбнулся и двинулся дальше по дороге.

В тропу у его ног врезалась стрела.

— Прекратите! — прорычал грабитель и обратился к Френсису. — А ну-ка, снимай все с себя. Посмотрим, что у тебя в свертке и в багаже.

Брат Френсис притронулся к чашке для подаяния и сделал жест полного отчаяния, который

вызвал еще один взрыв издевательского смеха у грабителя.

— Я уже знаком с этими штуками относительно бедных попрошаек, — сказал он. — Последний, кого я видел с такой чашкой, тащил с собой в сапогах полгеклы золота. Разоблачайся.

Брат Френсис, у которого не было сапог, растерянно снял свои сандалии, но грабитель сделал нетерпеливый жест. Монах распустил пояс, положил его с замотанным содержимым для осмотра и начал раздеваться. Грабитель осмотрел его одеяние, ничего не нашел и швырнул одежду обратно владельцу, пробормотавшему благодарность, ибо ждал, что его оставят голым на тропе.

— Теперь давай-ка посмотрим твое другое барахло.

— В нем только документы, сэр, — запротестовал монах. — Они имеют ценность только для их владельца.

— Открывай.

Брат Френсис безмолвно развязал бечевку и развернул оригиналы синек и разрисованную их копию. Золото росписей и цвета украшений ярко блеснули на солнце, которое пробилось сквозь листву. У грабителя отвалилась челюсть. Он слегка присвистнул.

— Во здорово! Бабы будут рады повесить это у себя на стенке!

Френсис почувствовал приступ тошноты.

— Золото! — крикнул грабитель своим сообщникам в капюшонах, стоявшим на склоне.

— Жрать? Жрать? — послышалось оттуда рычанье.

— Сожрем, не волнуйтесь! — отозвался грабитель, а затем непринужденно объяснил Френсису: — Пару дней просидели здесь и здорово проголодались. Дела плохи. За это время никто не проехал.

Френсис кивнул. Грабитель не скрывал своего восхищения перед блистающим великолепием пергамента.

«Господи, если Ты ниспослал их, чтобы испытать меня, то помоги мне умереть как мужчине, дабы он взял свою добычу лишь из мертвых рук Твоего слуги. Святой Лейбовиц, воззри на эти деяния и молись за меня…»

— Это чего? — спросил грабитель. — Амулет, что ли? — он держал перед собой оба документа, изучая их. — О! Этот как привидение другого. Что за волшебство? — он посмотрел на брата Френсиса подозрительными серыми глазками. — Как оно называется?

— Э-э-э… Транзисторная система контроля за группой Шесть-Б, — запинаясь сказал монах.

Грабитель, который держал документы вверх ногами, тем не менее увидел, что один вариант представляет собой зеркальное отражение другого, что заинтриговало его не меньше, чем золото росписи. Выясняя их сходство, он водил по чертежу коротким и грязным пальцем, оставляя грязные пятна на белоснежных полях разрисованного пергамента. Френсис едва сдерживал слезы.

— Молю! — выдохнул монах. — Золота здесь так мало, что не стоит и говорить о нем. Взвесьте его в своих руках. Оно весит не больше, чем сам пергамент. Вам оно ни к чему. Прошу вас, сэр, возьмите лучше мою одежду. Возьмите осла, пояс. Берите все, что вы хотите, но оставьте мне эту вещь. Для вас она ничего не значит.

Грабитель задумчиво смерил его взглядом. Он видел, как взволнован монах, и смотрел на него, потирая челюсть.

— Я дам тебе обратно и одежду, и осла, и все остальное, кроме вот этого, — ответил он. — А вот амулет я заберу.

— Ради Бога, ради любви к Господу, сэр, тогда убейте меня! — взмолился брат Френсис.

Грабитель хихикнул.

— Посмотрим. Расскажи-ка мне, для чего эта штука.

— Ни для чего. Всего лишь память о давно умершем человеке. О древности. А вторая — только копия.

— Какой тебе в них прок?

Френсис на мгновение прикрыл глаза и попытался представить, как он сможет объяснить, что это такое.

— Вы знакомы с лесными племенами? Вы знаете, как они чтят своих предков?

Серые глазки грабителя вспыхнули мгновенным пламенем гнева.

— А мы презираем наших предков, — рявкнул он. — Да будут прокляты те, кто дал нам жизнь!

— Прокляты, прокляты! — эхом отозвался один из закутанных в саван стрелков из лука.

— Ты знаешь, кто мы? И откуда мы?

Френсис кивнул.

— Я не хотел оскорбить вас. Тот древний, от которого остались эти реликвии, — не наш предок. Он когда-то был нашим учителем. Мы чтим его память. И это всего лишь подарок на память, ничего больше.

— А вот эта, вторая?

— Я сам ее сделал. Прошу вас, сэр, она отняла у меня пятнадцать лет. Вам она ни к чему. Прошу вас — ведь вы же не можете просто так уничтожить пятнадцать лет жизни человека?

— Пятнадцать лет? — грабитель откинул голову и зашелся от хохота. — Ты провел пятнадцать лет вот за этим?

— Но… — Френсис внезапно замолчал. Глаза его не отрывались от коротких пальцев грабителя. Указательным он водил по чертежу.

— И это отняло у тебя пятнадцать лет? Это уродство? — он хлопнул себя по животу и, покатываясь со смеху, продолжал указывать на реликвию. — Ха! Пятнадцать лет! А чем ты еще занимался в это время? Чем? Что толку в этой непонятной писанине? Убить на это пятнадцать лет! Ха-ха! На эту бабскую работу!

Брат Френсис слушал его, погруженный в напряженное молчание. То, что грабитель спутал священную реликвию с ее разукрашенной копией, привело его в такой ужас, что он был не в состоянии говорить.

Все еще смеясь, грабитель взял оба свитка с документами и приготовился разорвать их напополам.

— Иисус, Мария, Иосиф! — вскрикнул монах

и рухнул на колени. — Во имя любви к Господу, сэр!

Грабитель швырнул бумагу на землю.

— Ты будешь драться за них! — возбужденно предложил он. — Против моего меча.

— Ладно, — импульсивно согласился Френсис, подумав, что в этой ситуации Небеса могут как-то вмешаться путем, о котором он не подозревает. — О, ГОСПОДИ! ТЫ, КОТОРЫЙ УКРЕПИЛ МОЩЬ ИАКОВА, КОТОРЫЙ СМОГ ОДОЛЕТЬ АНГЕЛА НА СКАЛЕ…

Брат Френсис перекрестился. Они сошлись. Грабитель вытащил нож из футляра на поясе. Они стали ходить по кругу.

Через несколько секунд монах со стоном рухнул на землю, подмятый горой мускулов. В спину ему упирался острый обломок камня.

— Хех-хе! — сказал грабитель, поднимаясь. Засунув нож за пояс, он скрутил документы в свиток.

Сложив перед грудью руки, как для молитвы, брат Френсис подполз к его коленям, на последнем дыхании умоляя его.

— Прошу, возьми же лишь одно, не оба! Прошу!

— Ты можешь их выкупить! — хмыкнул граби-

тель. — Я выиграл их в честном бою.

— У меня ничего нет, я беден!

— Ясно, но если ты так нуждаешься в них, заплатишь за них золотом. Две геклы золота — таков выкуп. Когда достанешь, приедешь в любое время. Твои вещи будут лежать у меня в хижине. Если они нужны тебе, неси золото.

— Послушай, они важны для других людей, а не для меня. Я везу их к папе. Может быть, они и заплатят тебе. Но дай мне хоть одну, чтобы я мог показать им. Она не имеет никакой ценности.

Посмотрев из-за плеча, грабитель опять рассмеялся.

— Вижу, что ты готов целовать мне ноги, лишь бы получить их.

Брат Френсис кинулся к его ногам и стал страстно целовать сапоги.

Его поступок поразил даже такого, как грабитель. Ногой он отшвырнул его, разделил свою добычу и одну из бумаг с проклятием швырнул Френсису в лицо. Вскарабкавшись на его осла, он направился по склону холма к зарослям. Брат Френсис, подобрав драгоценный документ, поспешил за грабителем, исступленно благодаря его и непрестанно призывая благословения на его голову.

— Пятнадцать лет! — фыркнул грабитель, снова отталкивая Френсиса ногой. — Убирайся! — разукрашенное великолепие пергамента, который он поднял над головой, переливалось на солнце всеми цветами. — Помни — две геклы золота, вот твой выкуп. И скажи своему папе, что я выиграл в честной схватке.

Когда тропа пошла вверх, Френсис остановился. Он перекрестил, благословляя, удаляющиеся спины разбойников и безмолвно помолился Богу за этих бескорыстных грабителей, которые могли сделать такую ошибку из-за своей неграмотности. Он любовно сложил оригинальный чертеж, осторожно спускаясь вниз на тропу. Грабитель на вершине холма гордо показал своим спутникам-мутантам сияющую красками копию.

— Жрать! Жрать! — сказал один из них, поглаживая осла.

— Ехать, ехать, — поправил его грабитель. — Жрать потом.

Но когда брат Френсис оставил далеко за собой это место, глубокая печаль постепенно овладела им. Насмешливый голос по-прежнему звучал в ушах: «Пятнадцать лет! А чем ты еще занимался в это время? Пятнадцать лет! На эту бабскую работу! Хо, хо, хо…»

Да, грабитель сделал ошибку. Но как бы там ни было, ушли пятнадцать лет, и вместе с ними вся любовь, все страсти, которые он вложил в копию.

Заточенный все эти годы в монастыре, Френсис понял, что отвык от того, чем живет внешний мир, с его грубыми привычками, с его бесцеремонностью. Он чувствовал, что сердце его глубоко задето насмешками грабителя. Он вспомнил мягкую иронию брата Джериса. Может, он был прав.

Монах медленно шел по тропе, низко опустив голову, скрытую капюшоном.

По крайней мере у него был оригинал реликвии. По крайней мере.

Глава 11

И час настал. Брат Френсис, воспитанный в привычной для монахов скромности, никогда не чувствовал себя более ничтожным, чем тогда, когда стоял на коленях в величественной базилике, ожидая начала церемонии. Неспешные движения вокруг, буйство красок, звуки, сопровождавшие подготовку к церемонии, уже сами несли в себе нечто возвышенное, и трудно было представить, что, в сущности, ничего еще не происходит. Епископы, монсиньоры, кардиналы, священники, многочисленные клирики в элегантных облачениях, на которых тем не менее лежала печать древности, двигались, входя и выходя, по огромному пространству церкви: их передвижения напоминали работу огромного часового механизма, который никогда не останавливается, не ошибается и всегда движется в одном предписанном направлении. Протодиакон вошел в базилику, и его появление было столь величественно, что Френсис поначалу ошибся, приняв служителя за прелата. Он нес скамеечку для ног, держа ее с таким благоговением, что монах, если бы он уже не стоял на коленях, пре-

клонился бы перед ней. Прислужник, встав на одно колено перед высоким алтарем, перекрестил папский трон и поставил у его подножия новую скамеечку, забрав старую, у которой, кажется, покосилась ножка, затем удалился тем же манером, как и пришел. Брат Френсис восхищался элегантностью и изяществом самых простых движений, которые проходили перед его глазами. Никто не спешил. Никто не семенил и не размахивал руками. Ни одно движение, ни один жест не нарушили достоинство и величие этого древнего храма, в котором застыли неподвижные статуи и висели великие полотна. Даже шепот, казалось, вместе с дыханием разносился эхом в отдаленных апсидах.

Terribilis est locus iste: hic domus Dei est, et porta caeli[11]; и в самом деле, он наводит страх, дом, где пребывает Господь, врата Неба!

Некоторые из статуй, на которые монах осмеливался взглянуть, казались живыми. В нескольких ярдах слева от него стояли полные боевые доспехи. Стальная рукавица держала древко блистающего боевого копья. Все то время пока брат Френсис в благоговении стоял на коленях, на шле-

---

[11] Примечания: 11
Ужасно то место: там дом Божий и врата Неба *(лат.)*.

ме не шевельнулось ни одно перо из плюмажа. Дюжина таких же закованных в броню рыцарей стояла вдоль стен. И только увидев, как слепень вьется над прорезью шлема, Френсис заподозрил, что оболочка статуй содержит в себе живого человека. Глаз его не замечал ни малейшего движения, но доспехи издали легкий металлический скрип, когда слепень наконец добрался до своей цели. Здесь располагалась папская гвардия, готовая к рыцарским битвам, маленькая личная армия Первого Наместника Божьего.

Капитан гвардии совершал обход своих людей. Только тогда статуя шевельнулась в первый раз. Приветствуя начальство, поднялось забрало. Капитан задумчиво помедлил и, прежде чем проследовать дальше, пустил в ход свой шарф, согнав слепня с бесстрастного лица внутри шлема. Статуя опустила забрало и снова застыла в каменной неподвижности.

Величественный интерьер базилики был тут же заполнен толчеей пилигримов. Толпы были хорошо организованы и заботливо управляемы, но было видно, что они чувствовали себя здесь чужаками. Большинство из людей старались ступать на цыпочках, производя как можно меньше звуков и не привлекая к себе ничьего

внимания, чем заметно отличались от клириков Нового Рима.

Внезапно базилика наполнилась бряцаньем оружия — когда стража поднялась и застыла. Появилась еще одна группа закованных в железо статуй; войдя в святилище, они опустились на одно колено, преклоняя перед алтарем древки копий, прежде чем занять свои посты. Двое из них встали рядом с папским троном. Третий опустился на колени с его правой стороны и остался коленопреклоненным, держа в поднятых руках меч святого Петра. И снова все застыло в неподвижности, если не считать пляшущего пламени свечей на алтаре.

Напряженное молчание внезапно разорвали торжественные звуки труб.

Мощь их росла и поднималась, пока всем присутствующим не стало казаться, что медные вопли раздаются у каждого в ушах.

Звуки эти служили не музыке, а благовещению. Начавшись на низких нотах, они росли, пока их мощь не заставила зашевелиться волосы на голове у монаха, и в базилике, как показалось ему, не осталось ничего, кроме заполнивших ее звуков.

А затем наступило мертвое молчание, за которым последовали высокие голоса:

Appropinguat agnis pastor
et ovibus pascendis.
Genua nunc flectantur omnia.
Jussit olim Jesus Petrum
pascere gregem Domini.
Ecce Petrus Pontifex Maximus.
Gaudeat igitur populus Christi,
et gratias agat Domino.
Nam docebimur a Spiritu sancto.
Alleluia, alleluia[12].

Толпа заволновалась и медленными волнами стала опускаться на колени, когда уловила движение на высоком престоле, на котором появился хрупкий старец в белом, который жестом

---

[12] Примечания: 12

Приближается пастырь к агнцам
и овцам пасущимся.
Ныне все преклоняют колена.
Прежде повелел Иисус,
чтобы Петр пас стадо Господне.
Вот Петр — архиепископ.
Итак, да возрадуется народ Христов,
и возблагодарит Господа.
Ибо научимся от Духа Святого.
Аллилуйя, Аллилуйя (лат.).

руки послал свое благословение людям в золоте и пурпуре, в черном и красном, процессии которых медленно плыли мимо его трона. У маленького монаха, прибывшего из отдаленной обители в далекой пустыне, перехватило горло и пресеклось дыхание. Было невозможно охватить взглядом все, что происходило, настолько ошеломляюще было воздействие вздымающихся волн музыки и двигающихся толп, когда все чувства и эмоции ждали того, что должно скоро свершиться.

Церемония была краткой. Длись она еще немного, напряжение, которое она вызвала, стало бы невыносимым. Монсиньор Мальфредо Агуэрра — личный адвокат святого, как заметил брат Френсис, — приблизился к трону и преклонил перед ним колени. После краткого молчания он возвысил свой голос в молении: «Sancte pater, ab Sapientia summa petimus ut ille Beatus Leibowitz cujus miracula mirati sunt multi…»[13]

Ответ папы Льва должен был торжественно возвестить возлюбленной пастве благочестивое убеждение наместника божьего на земле, что блаженный Лейбовиц в самом деле святой, дей-

[13] Примечания: 13

«Святой отец, от Мудрости высшей стремимся, чтобы тот блаженный Лейбовиц, чудесами которого восхищались многие…» *(лат.).*

ствовавший к вящей славе церкви.

— Gratissima Nobis causa, fili[14], — прозвучал голос старого человека, оповещающего, что сердце его полно радости возвестить: благословенный мученик ныне пребывает в сонме святых, а также — что все происходит божественным соизволением, и только им едино, sub ducatu sancti Spiritus[15]. Папа рад удовлетворить просьбу Агуэрры и обратился ко всем с просьбой вознести молитвенное благодарение божественному провидению.

И снова громовые раскаты хора наполнили базилику звуками святой литании: «Отец Небесный, Господь наш, смилуйся над нами. Сын твой, Искупитель Грехов Мира, смилуйся над нами. Дух Святой Преосвященный, Господь наш, смилуйся над нами. О, Святая Троица miserere nobis![16] Святая Дева Мария, молись за нас. Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis[17]…»

---

[14] Примечания: 14
Весьма приятно нам это, сын *(лат.).*

[15] Примечания: 15
под руководством Святого Духа *(лат.).*

[16] Примечания: 16
помилуй нас *(лат.).*

[17] Примечания: 17
Святая Матерь Божья, молись за нас… *(лат.).*

Торжественные звуки литании улетали к своду купола. Френсис взглянул на изображение блаженного Лейбовица, с которого ныне было скинуто покрывало. Фреска изображала его в сугубо героическом виде: блаженный противостоял разъяренной толпе, на лице его была смущенная улыбка, так он улыбался и в работе Финго. «До чего величественно», — подумал Френсис, сливаясь в мыслях со всеми присутствующими в базилике.

По окончании литании монсиньор Мальфредо Агуэрра снова обратился с молением к папе, прося, чтобы имя Айзека Эдварда Лейбовица ныне было официально внесено в Святцы. И снова было обращение к божественному предначертанию, когда папа сказал: Veni, Creator Spiritus[18].

И в третий раз Мальфредо Агуэрра воззвал к папе:

— Surgat ergo Petrus ipse[19]…

И наконец свершилось. Лев Двадцать Первый оповестил о решении Церкви, руководствовавшейся соизволением Духа Святого, что древний и некогда проклинаемый инженер по имени

---

[18] Примечания: 18
Я явился, Дух Творец *(лат.).*

[19] Примечания: 19
Итак, да восстанет сам Петр… *(лат.).*

Лейбовиц ныне поистине святой, пребывающий на Небесах, и верующие могут и имеют право в своих молениях обращаться к нему за защитой, и в честь его будет назван соответствующий день.

— Святой Лейбовиц, спаси и сохрани нас, — выдохнул брат Френсис в одном порыве со всеми.

После краткой молитвы хор грянул «Te Deum»[20]. И после мессы в честь нового святого все кончилось.

В сопровождении двух служек в пурпурных одеяниях из внутренних покоев дворца небольшая группка пилигримов проследовала через бесконечные, как им показалось, коридоры и покои, время от времени останавливаясь у резных столов, за которыми восседали чиновники, изучавшие их разрешения, на которых гусиными перьями они ставили свои подписи. А служки вели их все дальше и дальше, к новым чиновникам, звания которых все возрастали по ходу процессии, и их все труднее было запоминать и произносить. Брата Френсиса колотила дрожь. Среди его спутников были два епископа, человек в горностаевой мантии, усыпанной золотом, глава клана лесных племен (недавно обращенный

[20] Примечания: 20
«Тебя, Бога, славим» *(лат.).*

в христианство, но по-прежнему облаченный в плащ из шкуры леопарда и водрузивший на голову оскаленную пасть пантеры, родовой тотем его племени), простак, тащивший на кожаной перчатке сокола с колпачком на глазах (без сомнения, подарок Святому Отцу) и несколько женщин, скорее всего, насколько Френсис мог догадаться, жены и наложницы обращенного вождя клана людей пантеры.

Поднявшихся по «небесной лестнице» пилигримов встретил церемониймейстер в торжественном облачении и ввел их в небольшую прихожую, предшествующую залу для приемов.

— Святой Отец примет их здесь, — тихо сообщил высокопоставленный служка сопровождающему, который держал все их бумаги. Как показалось Френсису, он с некоторым разочарованием оглядел пилигримов и что-то быстро шепнул сопровождающему. Глава племени просиял и поправил свой застывший в немом рычании клыкастый шлем так, что теперь он закрывал и затылок. После краткого совещания относительно расположения визитеров, Его Высокое Елейство, глава служб в покоях папы, голосом столь мягким, что казался почти извиняющимся, стал расставлять по помещению

как шахматные фигуры гостей в соответствии с неким тайным протоколом, который мог понять только посвященный.

Папа долго не показывался. Наконец он быстро вошел в комнату — маленький человек в белой сутане, окруженный свитой. Брат Френсис ощутил мгновенный озноб, но припомнил, что Дом Аркос обещал содрать с него кожу живьем, если он потеряет сознание во время аудиенции, и взял себя в руки.

Цепочка пилигримов опустилась на колени. Старик в белом любезно попросил их встать. Брат Френсис наконец обрел в себе смелость поднять глаза. В базилике он видел папу лишь как белое сияние, окруженное радугой красок. Здесь, в зале для аудиенций, брат Френсис, допущенный к лицезрению с близкого расстояния, убедился, что у папы нет и девяти футов роста, как у кочевника из легенд. К удивлению монаха, этот хрупкий старый человек, Отец Королей и Принцев, Строитель Мостов над Миром, Наместник Христа на Земле, выглядел куда менее свирепым, чем Дом Аркос, аббат.

Папа неторопливо двигался вдоль линии пилигримов, приветствуя каждого из них и обняв одного из епископов; с каждым присутствующим

он говорил на его собственном диалекте или через переводчика; он рассмеялся, получив сокола в подарок, и обратился к вождю племени лесных людей на его собственном лесном диалекте, милостиво положив ему руку на плечо, отчего закутанный в шкуру пантеры вождь внезапно расплылся от счастья. Папа заметил, что шлем на голове вождя несколько сполз, и остановился водрузить его на место. Вождь раздулся от гордости, обвел глазами комнату, дабы убедиться, все ли лакеи видели его торжество, но в эту минуту они, как на грех, скрылись за деревянными панелями зала.

Папа подошел к брату Френсису.

«Я есмь Петр Понтифик… Всевидящее Око Божье, верховный первосвященник, Лев XXI самолично. Бог един, и так же как он насаждает Принцев по всем странам и королевствам, а затем вырывает их с корнем, уничтожая и отбрасывая, так же он простирает свою охранительную длань над всеми истинно верующими…». И в ту же минуту монах увидел на лице Льва XXI доброту и мягкость, которые дали ему понять, что папа достоин своего титула, который несет с величественностью, большей, чем у всех принцев и королей, хотя сам он называет себя «раб рабов

Божьих».

Френсис упал на колени и приник поцелуем к кольцу Святого Рыбаря. Поднявшись, он обнаружил, что сжимает в руках реликвии святого, держа их перед собой, словно стесняясь развернуть. Добродушный взгляд янтарно-желтых глаз понтифика приободрил его. Лев XXI заговорил в присущей ему мягкой манере: прием, который им самим воспринимался как тяжкая ноша, тем не менее порой был необходим, когда он хотел приободрить визитеров не столь диких, как вождь в шкуре пантеры.

— Наше сердце было глубоко опечалено, когда мы услышали о постигшем тебя несчастье, сын мой. Отчет о твоем путешествии достиг нашего слуха. Ты отправился сюда по нашему распоряжению, но в пути натолкнулся на грабителей. Истинно ли то?

— Да, Святой Отец. Но, честное слово, это неважно. То есть… я имею в виду, это было важно, кроме… — Френсис запнулся.

Седой старик добродушно улыбнулся.

— Мы знали, что ты вез нам подарок, но он был украден по пути. Но не беспокойся о нем. Твое присутствие уже является подарком для нас. Давно мы лелеяли надежду на встречу с человеком,

который нашел останки Эмилии Лейбовиц. Мы знаем и о твоем труде в аббатстве. Мы всегда испытывали горячую любовь к братству святого Лейбовица. Без ваших трудов беспамятство мира стало бы всеохватывающим. И если Церковь представляет собой Тело Божье, так ваш орден является одним из органов этого тела. Мы в неоплатном долгу перед вашим святым патроном и основателем. И будущие века еще умножат этот долг. Не могу ли я услышать поподробнее о твоем путешествии, сын мой?

Френсис развернул синьку.

— Разбойник был так добр, что оставил мне эту синьку, Святой Отец. Он… он по ошибке взял раскрашенную копию, ее готовую я вез в подарок святому престолу.

— Ты не исправил его ошибку?

Брат Френсис зарделся.

— Я постеснялся признать, Святой Отец…

— Итак, значит, это и есть та оригинальная реликвия, что ты нашел в убежище?

— Да…

Папа смущенно улыбнулся.

— Значит… бандит решил, что твоя работа представляет собой истинное сокровище? Да, порой и грабители обладают вкусом к подлинному искус-

ству, не так ли? Монсиньор Агуэрра рассказывал нам, какое великолепие представляла собой твоя копия. Какая жалость, что она похищена.

— Ничего, Святой Отец. Жаль лишь, что на нее было потеряно пятнадцать лет.

— Потеряно? Почему «потеряно»? Если бы грабителя не ввела в заблуждение красота твоей работы, он бы мог забрать вот это? Разве не так?

Брат Френсис признал, что такая возможность существовала.

Лев Двадцать Первый принял древний чертеж из протянутых дрожащих рук и бережно развернул. Некоторое время он в молчании изучал схему, а потом спросил:

— Скажи нам, понимаешь ли ты символы, которые использовал Лейбовиц? И значение этих… э-э-э, вещей, которые они изображают?

— Нет, Святой Отец, я должен признать свое невежество.

Папа наклонился к нему и шепнул:

— И наше тоже, — хмыкнув, он прикоснулся губами к реликвии, как к алтарной иконе и, свернув чертеж, вручил его своему помощнику. — От всего сердца мы благодарим тебя за эти пятнадцать лет, возлюбленный сын наш, — сказал он брату Френсису. — Эти годы были отданы для то-

го, чтобы спасти оригинал. Не думай о них, как о потерянном времени. Они были посвящены Богу. Когда-нибудь мы выясним значение оригинала и поймем его важность, — старик мигнул — или подмигнул ему? Френсис был почти уверен, что старик подмигнул. — Мы должны поблагодарить тебя.

После мигания или подмигивания папы Френсис стал яснее видеть и комнату и свое окружение. Ему бросилась в глаза дырочка от моли на папской сутане. Да и сама сутана была уже порядком изношена. Ковер в помещении для приемов был местами истерт чуть ли не до дыр. В нескольких местах с потолка обвалилась штукатурка. Но царившее здесь достоинство превышало бедность. Приметы ее Френсис видел лишь несколько секунд. Рассеянность его прошла.

— С тобой мы хотим передать наши самые горячие приветы всем членам вашей общины и ее аббату, — сказал Лев. — И над тобой и над ними мы простираем наше апостольское благословение. Ты увезешь с собой послание об этом, — помолчав, он снова то ли мигнул, то ли подмигнул. — И, конечно, письмо это будет под надежной защитой. Мы скрепим его печатью Noli

molestare[21], которая угрожает отлучением от церкви всякого, кто покусится на него.

Брат Френсис пробормотал благодарность за предоставленную защиту против разбойников с большой дороги; он не позволил себе намекнуть, что грабитель может просто не прочесть грозные слова и не понять, какая его ожидает кара.

— Я приложу все силы, Святой Отец, чтобы доставить его.

Лев снова наклонился поближе к нему и шепнул:

— А тебе мы дадим специальный знак нашего благорасположения. Прежде чем ты отбудешь, постарайся увидеться с монсиньором Агуэррой. Мы бы предпочли лично вручить его тебе из своих рук, но, к сожалению, сейчас не подходящий для этого момент. Монсиньор передаст его тебе от нас. И делай с ним что захочешь.

— От всего сердца благодарю вас, Святой Отец.

— А теперь прощай, возлюбленный сын наш.

И понтифик двинулся дальше, разговаривая с каждым из присутствующих, и в завершение торжественно благословил всех. Аудиенция была закончена.

---

[21] Примечания: 21
«Не тревожь!» *(лат.).*

Когда группа пилигримов выходила через портал, монсиньор Агуэрра притронулся к руке Френсиса. Он тепло обнял монаха. Истолкователь так постарел, что Френсис с трудом узнал его, лишь приблизившись вплотную. Да и у Френсиса посеребрились виски, а глаза утопали в сети морщинок, которые появились от долгого всматривания в чертеж Лейбовица. Когда они оказались у «небесной лестницы», монсиньор вручил ему пакет и письмо.

Френсис глянул на адрес на письме и кивнул. На пакете, который был запечатан дипломатической печатью, было написано его имя.

— Это для меня, мессир?

— Да, личный подарок от Святого Отца. Здесь его лучше не открывать. Ну, а теперь скажи, могу ли я сделать что-либо для тебя до того, как ты покинешь Новый Рим? Я был бы рад показать тебе что-нибудь, чего ты еще не видел.

Брат Френсис думал недолго. Путешествие уже изрядно измотало его.

— Я хотел бы еще раз увидеть базилику, мессир, — наконец сказал он.

— Конечно, ты ее увидишь. И это все?

Брат Френсис опять задумался. Они заметно отстали от процессии пилигримов.

— И еще я хотел бы исповедаться, — застенчиво сказал он.

— Ничего нет проще, — хмыкнув, сказал Агуэрра. — Ты же знаешь, что попал в самое подходящее место для этого. Здесь ты можешь получить отпущение любых беспокоящих тебя грехов. Неужто он так тяжек, что требует внимания самого папы?

Френсис покраснел и покачал головой.

— Как насчет главы Высокого Трибунала? Он не только отпустит тебе грехи, если ты раскаешься в них, но и наградит ударом посоха по голове.

— Я имел в виду… я попросил бы вас, монсиньор, — запинаясь, сказал монах.

— Меня? Почему меня? Я никого не представляю. Здесь перед тобой город, полный красных кардинальских шапок, а ты хочешь исповедываться перед Мальфредо Агуэррой.

— Потому, что… потому, что вы защитник нашего патрона, — объяснил монах.

— Да, в самом деле. Почему бы мне и не выслушать твою исповедь? Но я не могу отпустить тебе грехи именем твоего патрона, ты же знаешь. Нам должна помочь в этом деле Святая Троица. Устраивает?

Френсису почти не в чем было каяться, но на

сердце его долгое время лежала тревога, ибо он помнил намек Дома Аркоса и страшился того, что находка убежища может послужить помехой канонизации святого. Истолкователь выслушал его, приободрил, дал совет и отпущение грехов в базилике, а затем провел его по этой старинной церкви. Во время церемонии канонизации и последовавшей за тем мессы Френсис был подавлен великолепием здания. Теперь, сопровождаемый пожилым каноником, он обратил внимание и на выщербленную кладку, нуждавшуюся в восстановлении, и на постыдное состояние древних фресок. Снова ему бросились в глаза приметы бедности, скрытые покровом благородства и достоинства. В свои годы Церковь не могла похвастаться отменным здоровьем.

Наконец Френсис получил возможность вскрыть пакет: там был кошель, а в нем — две геклы золота. Он посмотрел на монсиньора Агуэрру. Тот улыбался.

— Ты сказал, что грабитель выиграл у тебя копию в схватке, не так ли? — спросил Агуэрра.

— Да, мессир.

— Что же, если он вынудил тебя к этому, теперь у тебя есть шанс выиграть у него другим образом, согласен? Ты принимаешь этот вызов?

Монах кивнул.

— Тогда, если ты выкупишь свою работу, я не думаю, что мне придется отпускать тебе грехи, — он хлопнул монаха по плечу и благословил. Пора было прощаться.

Маленький хранитель огонька знаний пешком пустился в обратный путь к аббатству. Шли дни за днями, неделя сменяла неделю, но сердце его пело по мере того, как он приближался к месту встречи с грабителями. «Делай с ним что хочешь», — сказал папа, вручая ему золото. И теперь монаху есть что показать в ответ на насмешливый вопрос грабителя. В мыслях его всплыли книги в тихих покоях, ждущие своей очереди, чтобы вернуться к жизни.

Но грабитель не ждал его в том же месте, как Френсис надеялся. На тропе здесь были недавние отпечатки, но вели они в другую сторону, и нигде не было и следа разбойника. Сквозь ветви светило солнце, и на земле качалась тень густой листвы. Лес был не очень густой, но, по крайней мере, в нем можно было укрыться от солнца. Френсис присел недалеко от тропы, решив ждать.

Проснувшийся к полудню филин ухнул где-то в глубине леса. Стервятники пятнышками висели в синеве неба. Лес был мирным и спокойным.

Дремотно прислушиваясь к щебетанию воробьев в кустах неподалеку, он вдруг поймал себя на том, что не уверен — явится ли грабитель сегодня или завтра. Но таким долгим было его путешествие, что он был не против отдохнуть денек в лесу, поджидая его. Он сидел, наблюдая за стервятниками, время от времени поглядывая на тропу, в конце которой его ждал далекий дом в пустыне. Грабитель нашел прекрасное место для своей берлоги. Отсюда тропа была видна не меньше чем на милю в обе стороны, в то время как наблюдатель оставался скрытым покровом леса.

В отдалении на тропе показалось какое-то движение.

Френсис прикрыл глаза от солнца и пригляделся. Ниже по дороге было выжженное пространство, где лесной пожар уничтожил несколько акров кустарника, и казалось, что тропа колышется в жарком мареве, которое стояло над выжженной плешью. В самом средоточии пекла виднелась какая-то маленькая черная закорючка. Через некоторое время прояснилось, что у нее была голова. Еще через какое-то время это стало совершенно ясно, но он по-прежнему не мог определить, приближается ли эта фигура к нему. Когда облака на несколько секунд закрыли

солнце и зеркало миража перестало слепить его, даже усталым близоруким глазам Френсиса удалось разобрать, что изогнутая закорючка в самом деле была человеком, но на таком расстоянии узнать его было затруднительно. Он поежился. Закорючка показалась ему чем-то знакомой.

Нет, скорее всего, это не он.

Монах перекрестился и, бормоча молитвы, принялся перебирать четки, не отрывая глаз от существа, передвигающегося в жаркой дали.

Он ждал появления грабителя, а на склоне холма, что возвышался над его головой, были в разгаре жаркие споры, велись они шепотом, односложными выражениями и длились уже около часа. Наконец спорщики пришли к соглашению: Двухголовый убедил Одноголового. «Дети Папы» бок о бок осторожно выбрались из-за кустов и распростерлись на склоне холма.

Они были от Френсиса уже в десяти ярдах, когда скрипнула галька под их ногами. На четках монах переходил к третьему повторению «Аве Мария», когда догадался обернуться.

Стрела поразила его точно между глаз.

— Жрать! Жрать! Жрать! — завопили «Дети Папы».

Пожилой странник присел на бревно, валяв-

шееся у тропы, и прикрыл глаза, чтобы они отдохнули от солнца. Сняв плетеную соломенную шляпу, он сунул в рот листик прессованного табака. Позади у него остался долгий путь. Поиск казался бесконечным, но каждый раз, когда он подходил к очередному повороту или спуску тропы, надежда снова оживала в нем. Передохнув, странник нахлобучил шляпу на голову и почесал кустистую бороду, пока, прищурившись, осматривал окрестность. Прямо перед ним на склоне холма стояла рощица, которую не тронуло пламя. Она обещала долгий отдых в приятной тени, но путник продолжал сидеть на солнцепеке, теперь наблюдая за стервятниками. Большая стая их кружилась низко над рощицей. Одна из птиц, решившись, нырнула в гущу деревьев, но почти тут же показалась снова и, отягощенная ношей, тяжело взмахивая крыльями, нашла наконец восходящий поток воздуха, который понес ее вверх. Было видно по темному силуэту поедателя падали, что он с трудом взмахивает крыльями, хотя обычно стервятники просто парили, экономя силы. Теперь же они спешили приземлиться на этот участок земли, словно их снедало нетерпение.

Наблюдая за активностью птиц, странник оста-

вался в том же положении. Возможно, на холме крылись остатки охоты пумы. На вершине холма могли скрываться существа и похуже пумы, которые порой приходили сюда издалека.

Странник продолжал ждать. Наконец стервятники осмелели и скрылись за деревьями. Странник подождал еще минут пять, затем поднялся и захромал вперед по лесной тропинке, перенося вес с искалеченной ноги на посох.

Немного погодя он уже оказался под сенью рощицы. Стервятники трудились над останками человека. Отогнав их взмахом палки, странник склонился над остатками человеческого тела. Немалая часть его уже исчезла. В черепе торчала стрела, вышедшая наконечником у основания затылка. Старик тревожно всмотрелся в заросли кустов. Никого не было видно, но в отдалении от тропы было изобилие следов. Долго оставаться здесь не стоило.

Но так или иначе дело надо было сделать. Странник нашел место, где мягкая земля позволяла копать ее руками и посохом. Пока он копал, разъяренные стервятники описывали низкие круги над верхушками деревьев. Время от времени они устремлялись к земле, потом снова взмывали в воздух. И час, и два они продолжали

неустанно кружиться над рощицей.

Одна из птиц наконец села на землю. С независимым видом она подошла к холмику свежей земли, в изголовье которого стоял камень. Разочарованный стервятник снова поднялся в воздух. Стая легла на крыло и кругами поднялась высоко в горячем воздухе, жадно обозревая простирающиеся под ними пространства.

Неподалеку от Долины рожденных по ошибке лежал мертвый кабан. Увидев его, птицы оживились и понеслись вниз, где их ждало пиршество. В далеком горном проходе пума доела остатки добычи и удалилась. Стервятники были благодарны за предоставленную возможность докончить ее трапезу.

Для них подходила пора откладывать яйца и любовно выращивать подрастающее поколение, которому они приносили мертвых змей и куски дохлых собак.

Птенцы росли сильными, они все дальше и выше отлетали от гнезда на крепнущих крыльях, опушенных черными перьями, и земля щедро дарила их своими плодами. Правда, порой им на обед доставались только жабы. Но случалось насыщаться и путником из Нового Рима.

Маршруты их полетов пролегали над равни-

нами Среднего Запада. Они радовались тому изобилию добра, которое кочевники оставляли валяться на земле, когда их караваны шли к югу.

Стервятники откладывали яйца и любовно выращивали птенцов. Столетия за столетиями земля обильно кормила их. И впереди лежали еще долгие века, когда она будет поставлять им пропитание…

В свое время в районе Красной реки были отменные объедки, но теперь, с окончанием массовых битв, резни и побоищ, здесь стали расти города. Стервятники без большой радости воспринимали их появление, хотя когда города время от времени гибли, им это нравилось. Они покидали Тексаркану и расселялись все дальше на равнинах Запада. Как и у всех живых существ, поколения их не раз сменялись на Земле.

Шел год от рождения Господа нашего 3174-й.

Повсюду были слышны слухи о войне.

FIAT LUX!
ДА БУДЕТ СВЕТ!

Глава 12

Маркус Аполло понял, что война неизбежна, когда услышал, как третья жена Ханнегана рассказывала служанке, что дворецкий, которого она так любила за учтивость, с целой шкурой вернулся из шатров клана Бешеного Медведя. Тот факт, что он живым вернулся из расположения кочевников, говорил, что война зреет. И свидетельствовала о сем следующая последовательность событий: миссия эмиссара заключалась в том, чтобы сообщить племенам Долин — цивилизованные государства заключили Соглашение о Биче Небесном, касающееся спорных земель, и впредь будут сурово карать кочевые племена и отдельных разбойников, если они посмеют вторгаться на эти территории. Но ни один человек на Земле не мог бы доставить такую новость Бешеному Медведю и остаться в живых. То есть, пришел к выводу Аполло, ультиматум не был доставлен, и эмиссар Ханнегана отправлялся в Долины с другой, скрытой целью.

Аполло вежливо прокладывал путь, проталкиваясь сквозь группки гостей, его острые глаза искали брата Кларе и старались поймать его

взгляд. Стройная фигура Аполло, облаченная в скромную черную сутану, лишь с яркими опоясками по запястьям, которые говорили о его ранге, резко выделялась в головокружительном калейдоскопе красок одежд всех прочих гостей в банкетном зале. Ему не пришлось долго искать своего помощника; увидев, он кивнул ему, подзывая к столу с закусками, который ныне превратился в свалку объедков, грязной посуды и недоеденных бифштексов. Аполло, поболтав ложкой в бокале, отчего со дна поднялся осадок, увидел плавающего в нем мертвого таракана и задумчиво передал кубок брату Кларе, как только тот предстал перед ним.

— Благодарю вас, мессир, — сказал Кларе, не заметив таракана. — Вы хотели видеть меня?

— Сразу же по окончании приема. У меня. Саркал вернулся живым.

— Ох.

— Никогда не слышал более выразительного «ох». Думаю, что ты понимаешь подтекст событий?

— Конечно, мессир. Это значит, что Соглашение было обманом со стороны Ханнегана и он хочет его использовать против…

— Тс-с-с. Потом.

Аполло заметил, что к ним приближаются, и клирик торопливо приник к чаше, которую поторопился опустошить. Интерес его внезапно оказался прикованным лишь к содержимому бокала, и он не увидел стройную фигуру в одеянии водянисто-светлого шелка, которая направлялась к ним от входа. Аполло вежливо улыбнулся и поклонился человеку. Их руки на мгновение сошлись в нескрываемо прохладном приветствии.

— Ну, Тон Таддео, — сказал священник, — ваше присутствие удивляет меня. Я считал, что вы избегаете такие веселые сборища. Что же в нем такого, что оно привлекло внимание столь досточтимого ученого? — с насмешливым удивлением он поднял брови.

— Конечно, вы, — сказал новоприбывший, отвечая на сарказм Аполло, — были единственной причиной моего появления.

— Я? — Аполло умело изобразил неподдельное удивление, но утверждение это, скорее всего, соответствовало истине. Прием по случаю помолвки сводной сестры отнюдь не был таким событием, которое заставило бы Тона Таддео облачиться в пышный наряд, соответствующий его сану, и покинуть уединенные залы Коллегии.

— В сущности, я искал вас весь день. Мне сказа-

ли, что вы будете здесь. В противном случае… — он оглядел банкетный зал и с раздражением фыркнул.

Этот звук заставил встрепенуться брата Кларе, он отвел взгляд от чаши для пунша и повернулся, чтобы отвесить поклон Тону.

— Не хотите ли пунша, Тон Таддео? — спросил он, предлагая полный бокал.

Ученый кивком поблагодарил его и осушил чашу.

— Я хотел бы, чтобы вы несколько подробнее поведали мне о документах Лейбовица, о которых мы беседовали, — сказал он Маркусу Аполло. — Я получил из аббатства письмо от человека по имени Корнхоер. Он уверяет меня, что эти рукописи датированы последним годом европейско-американской цивилизации.

Если упоминание об этом факте, в котором он несколько месяцев назад уверял ученого, и вывело Аполло из себя, он ничем не показал этого.

— Да, — сказал он. — Как я и считал, они совершенно аутентичны.

— Если так, то они поражают меня одной тайной, о которой никто не слышал — впрочем, не будем об этом. Корнхоер перечисляет количество документов и текстов, которые, как он утвержда-

ет, имеются у него, и описывает их. Если они в самом деле существуют, я должен их увидеть.

— Вот как?

— Да. Если это обман, его необходимо разоблачить, а в противном случае эти данные могут быть бесценными.

Монсиньор нахмурился.

— Уверяю вас, что обмана здесь нет, — твердо сказал он.

— В письме содержится приглашение посетить аббатство и лично посмотреть документы. Они, скорее всего, слышали обо мне.

— Не обязательно, — сказал Аполло, не в силах не использовать подворачивающуюся возможность. — Их не особенно интересует, кто читает их книги, лишь бы читатели мыли руки и не портили имущество.

Ученый вспыхнул. Предположение, что может существовать грамотный человек, который никогда не слышал его имени, не доставило ему удовольствия.

— Но давайте к делу, — непринужденно продолжил Аполло. — Проблем у вас не существует. Приглашение есть, так что отправляйтесь в аббатство и изучайте тексты. Они радушно вас примут.

Предложение это едва не заставило ученого выйти из себя.

— Но путешествие через Долины в то время, когда клан Бешеного Медведя… — Тон Таддео резко замолчал.

— Что вы сказали? — обратился к нему Аполло, лицо его не выражало никакого особого интереса, хотя вены на висках вздулись, когда он выжидательно смотрел на Тона Таддео.

— Только то, что путешествие будет долгим и опасным, а я не могу покинуть Коллегию на полгода. Я хотел бы обсудить возможность послать группу хорошо вооруженных воинов, которые могли бы доставить документы сюда для изучения.

Аполло хмыкнул. У него возникло детское желание пнуть ученого в голень.

— Боюсь, — вежливо сказал он, — что это невозможно. Но в любом случае решение этого вопроса вне моей компетенции, и предполагаю, что не смогу оказаться вам полезным.

— Почему же? — возразил Тон Таддео. — Разве вы не папский нунций при дворе Ханнегана?

— Совершенно верно. Я представляю здесь Новый Рим, но не монашеский орден, а управление аббатством всецело находится в руках его

аббата.

— Но если Новый Рим слегка нажмет на него…

Желание пнуть по голени становилось почти непреодолимым.

— Лучше нам несколько позже вернуться к этому разговору, — любезно сказал монсиньор Аполло. — Вечером у меня в кабинете, если вы не против, — полуобернувшись, он вопросительно посмотрел на собеседника, словно говоря: «Ну?».

— Я приду, — резко сказал ученый, отходя.

— Почему вы сразу не сказали ему «нет» — прямо и недвусмысленно? — взорвался Кларе, когда час спустя они оказались наедине в посольских покоях. — В такое время перевозить бесценные реликвии через разбойничьи угодья? Невероятно, мессир!

— Конечно.

— Тогда почему же…

— По двум причинам. Во-первых, Тон Таддео родственник Ханнегана и имеет на него влияние. Мы должны быть любезны с Цезарем и его родней, нравится нам это или нет. Во-вторых, он начал что-то говорить о клане Бешеного Медведя и резко оборвал себя. Я думаю, он знает о том, что должно случиться. Я не собираюсь заниматься вынюхиванием, но если он сам добровольно что-

то сообщит, нам ничего не помешает включить его информацию в сообщение, которое ты сам отвезешь в Новый Рим.

— Я? — клирик не мог скрыть своего изумления. — В Новый Рим?.. Но почему…

— Не так громко, — сказал нунций, бросив взгляд на дверь. — Я собираюсь отослать свою оценку сложившейся ситуации его святейшеству, и сделать это надо побыстрее. Но есть некоторые вещи, писать которые не стоит. Если люди Ханнегана перехватят такое сообщение, то, скорее всего, и я и ты поплывем лицом вниз по Красной реке. Если же его перехватят враги Ханнегана, тот, скорее всего, получит основание публично повесить нас как шпионов. Мученичество, конечно, прекрасная вещь, но у нас дела, которые надо успеть сделать.

— И я доставлю в Ватикан ваше устное сообщение? — пробормотал брат Кларе, явно не обрадованный перспективой пересечь враждебные пространства.

— Так оно выходит. Тон Таддео может, подчеркиваю, только может дать нам повод сразу же отправиться в аббатство святого Лейбовица или в Новый Рим, или и туда и туда. На тот случай, если у Двора появятся какие-то подозрения. С ними я

уж справлюсь.

— А в чем будет суть сообщения, которое я должен буду передать, мессир?

— Что амбиции Ханнегана объединить весь континент под властью одной династии не столь уж сумасшедшая мечта, как мы предполагали. Что участие в Соглашении о Биче Небесном — только уловка со стороны Ханнегана, он хочет использовать его, хочет втянуть в конфликт с кочевниками обе империи — Денвера и Ларедана. Если силы Ларедана завязнут в бесконечных стычках с Бешеным Медведем, государству Чихуахуа не понадобится большой отваги, чтобы ударить по Ларедо с юга. Кроме того, между ними постоянно тлеет старая вражда. И тогда Ханнеган пройдет победным маршем до Рио-Ларедо. Взяв к ногтю Ларедо, он может уже строить планы, как завоевать республику Миссисипи и Денвер, не опасаясь удара с юга в свой становой хребет.

— Вы считаете, что Ханнеган может пойти на это?

Маркус Аполло принялся было отвечать, но медленно закрыл рот. Подойдя к окну, он посмотрел на залитый солнцем город, беспорядочно раскинувшееся поселение, построенное главным образом из развалин и щебенки прошлых

веков. Город с беспорядочным переплетением улиц рос себе и рос на древних руинах — так же как в свое время на его развалинах поднимется другой город.

— Я не знаю, — тихо ответил Аполло. — В эти времена трудно обвинять человека за то, что он хочет собрать под одну руку этот растерзанный континент. Даже такой ценой, как… нет, я не имею в виду… — он тяжело вздохнул. — Во всяком случае, наши интересы лежат не только в области политики. Мы обязаны предупредить Новый Рим о том, что может последовать, ибо в любом случае Церковь может понести урон. И, исполнив свой долг, мы должны будем держаться в стороне от свар и стычек.

— Вы в самом деле так думаете?

— Конечно нет! — вежливо ответил священник.

Тон Таддео Пфардентротт явился в покои Маркуса Аполло в столь ранний час, что его с большим трудом можно было считать наступлением вечера, и его манеры претерпели заметные изменения со времени их встречи на приеме. На губах играла сердечная улыбка, а тон его разговора отличался серьезностью и нервным напряжением. «Этот тип, — подумал Маркус, — пришел

потому, что он в чем-то страшно нуждается, и он даже старается быть вежливым в надежде получить это». Может быть, список древних текстов, присланных монахом из аббатства Лейбовица, поразил Тона больше, чем он хочет признать. Нунций был готов к фехтовальной дуэли, но неподдельное восхищение ученого делало его столь легкой жертвой, что Аполло расслабился, отложив готовность к словесной дуэли.

— Сегодня в полдень была встреча всех факультетов Коллегии, — сказал Тон Таддео, когда они присели. — Мы говорили о письме брата Корнхоера и о списке документов, — он помолчал, словно сомневаясь, стоило ли об этом рассказывать. Тусклый свет приближающегося вечера, падавший из большого овального окна слева от него, подчеркивал бледность и напряженность лица Тона Таддео, и его большие серые глаза не отрывались от лица священника, словно он прикидывал, что услышит в ответ.

— Предполагаю, что сообщение было встречено с определенным скептицизмом?

Серые глаза тут же опустились и снова поднялись.

— Должен ли я быть излишне вежливым?

— Пусть вас это не волнует, — хмыкнул Апол-

ло.

— Да, скептицизма было в избытке. «Недоверие» — вот более точное слово. Я сам лично считаю, что если такие бумаги и существуют, то датированы они поддельной датой, которая была нанесена несколькими столетиями позже. Я сомневаюсь, что сегодняшние монахи в аббатстве пошли на такой подлог. Конечно, они искренне верят в ценность документов.

— С вашей стороны очень любезно признать это, — мрачно сказал Аполло.

— Я могу перейти на более вежливый язык, как я вам и предлагал. Хотите?

— Нет. Продолжайте.

Тон соскользнул со стула и перебрался на подоконник. Глядя на желтоватые купы облачков, тянущихся на запад, и мягко постукивая ладонью по оконной раме, он продолжил:

— Эти бумаги… Независимо от того, что мы собираемся в них обнаружить, одна лишь мысль о том, что такие документы по-прежнему в сохранности могут существовать, — одна лишь эта мысль должна заставить нас немедленно приступить к их изучению.

— Очень хорошо, — слегка смутившись, сказал Аполло, — они вас пригласили. Но скажите мне:

почему вас так возбуждает мысль о находке этих документов?

Ученый бросил на него быстрый взгляд.

— Вы знакомы с моими работами?

Монсиньор помедлил. Он был с ними знаком, но признание этого факта должно было заставить его высказать и свое беспокойство по поводу того, что имя Тона Таддео с тех пор, как ему едва минуло тридцать, уже упоминалось в одном ряду с именами натурфилософов, которые умерли тысячу и более лет назад. Священник не был готов признать, что молодой ученый давал основания считать его одним из тех редких представителей рода человеческого, одним из тех гениев, что рождаются один-два раза в столетие, и их взгляды меняют всю картину мира. Он откашлялся.

— Должен признать, что добрую долю из них я не читал…

— Неважно, — Пфардентротт отмахнулся от его извинений. — Большинство из них носят чисто абстрактный характер и довольно скучны для законников. Теории электричества. Движение планет. Взаимопритяжение тел. И тому подобные материи. И теперь Корнхоер упоминает такие имена, как Лаплас, Максвелл и Эйнштейн — эти имена что-нибудь значат для вас?

— Немного. В истории они упоминаются как натурфилософы, не так ли? Они существовали незадолго до гибели последней земной цивилизации. И мне кажется, что они упоминались в одном из еретических житий святых, не так ли?

Ученый кивнул.

— Это все, что известно о них и об их работах. Как говорят наши не очень сведущие историки, они были физиками. Их заслугами объясняется стремительный рост евро-американской культуры, как они считают. Историки склонны к банальностям. Я почти не обращаю на них внимания, да и забыл их работы. Но в описании старых документов, присланных Корнхоером, говорится, что там есть старые тексты, относящиеся к физике. Это просто невероятно!

— И вы должны в этом убедиться?

— Мы должны быть убеждены. Но поскольку об этом зашел разговор, я предпочел бы никогда не слышать о них.

— Почему?

Тон Таддео пристально вглядывался в лежащую под ним улицу. Он подозвал священника.

— Подойдите сюда на минутку. И я вам покажу, почему.

Аполло выскользнул из-за стола и подошел к

окну, посмотрев вниз на улицу с колеями, полными невысыхающей грязи под стенами дворца, которая, опоясывая и дворец, и пристройки к нему, и строения Коллегии, отграничивала святилище от плебейских лачуг города. Ученый показал на смутно различимую фигуру крестьянина, который в сумерках гнал домой ослика. Ноги путника были обмотаны мешковиной и так облеплены грязью, что он с трудом поднимал их. Он продвигался вперед шаг за шагом, каждый раз приостанавливаясь на секунду, прежде чем поднять ногу. И было видно, что избавиться от грязи было для него непосильной задачей.

— Он не садится на своего осла, — сказал Тон Таддео, — потому что утром ослик таскал зерно. И ему не приходит в голову, что мешки уже пустые. Как он жил утром, так же можно жить и к вечеру.

— Вы его знаете?

— Он проходит и под моими окнами. Каждое утро и каждый вечер. Разве вы не замечали его?

— Здесь тысячи таких, как он.

— Взгляните. Можете ли вы заставить себя поверить, что это человекоподобное существо — прямой потомок тех, кто смог придумать машины, летающие в воздухе, кто высаживался

на Луне, использовал себе во благо силы Природы, создавал машины, которые могли говорить и, похоже, начинали думать? Можете ли вы поверить в такое, глядя на этого человека?

Аполло молчал.

— Посмотрите на него! — настаивал ученый. — Хотя нет, уже слишком темно. Вам не удастся увидеть сифилитические пятна у него на шее и провалившуюся переносицу. Поражена нервная система. Вне всякого сомнения, с самого рождения он уже был слабоумным. Безграмотный, суеверный, кровожадный. Он заражает своих детей. А за несколько монет он может убить их. Во всяком случае, когда они подрастут и смогут приносить пользу, он продаст их. Посмотрите на него и скажите — видите ли вы, к чему пришла некогда могучая цивилизация? Что же вы видите?

— Образ Христа, — раздраженно скрипнул зубами монсиньор, удивленный своей внезапной вспышкой гнева. — А что, по вашему мнению, я должен был увидеть?

Ученый нетерпеливо фыркнул.

— Несоответствие. Людей, которых вы видите через свои окна, и тех, которые, как нас уверяют историки, когда-то существовали. Я не могу

принять этого. Каким образом столь великая и могучая цивилизация могла разрушить себя до основания?

— Возможно, потому, — сказал Аполло, — что она была велика и могуча лишь в материальном смысле — и ничего больше, — он отошел зажечь свечи, потому что сумерки стремительно и незаметно перешли в ночь. Он чиркал кресалом и огнивом, пока не высек искру, и стал осторожно раздувать трут.

— Возможно, — сказал Тон Таддео, — но я сомневаюсь в этом.

— Вы отрицаете всю историю, как чистый миф? — Наконец от трута занялось пламя.

— Не отрицаю как таковую. Но она вызывает многочисленные вопросы. Кто писал нашу историю?

— Естественно, монашеские ордена. Во время темных столетий не было никого другого, кто мог бы заняться этим, — монсиньор осторожно подрезал фитиль.

— Вот именно! И вы управляли ими. А во время антипапы сколько схизматических орденов фабриковали свои версии событий и распространяли свои сочинения как работы предыдущих веков? Вы не можете этого знать, вы не можете знать

этого доподлинно. На этом континенте существовала куда более развитая цивилизация, чем то, что мы сегодня имеем, и отрицать это невозможно. Стоит только взглянуть на груды щебня и на ржавые остатки металла, и вы поймете это. Стоит зарыться в песчаные насыпи, и вы найдете их дороги, выщербленные от времени. Но где свидетельства существования машин, о которых нам рассказывали ваши историки? Где остатки самодвижущихся повозок и летающих машин?

— Переплавлены на плуги и мотыги.

— Если только они существовали.

— Коль скоро вы сомневаетесь в этом, зачем вам утруждать себя изучением документов Лейбовица?

— Потому что сомнение — не отрицание. Сомнение — это движущая сила, и история должна это признать.

Нунций натянуто улыбнулся.

— И чего вы хотите от меня, высокоученый Тон?

Ученый с серьезным видом склонился к нунцию.

— Напишите аббату. Заверьте его, что с документами будут обращаться с величайшей тщательностью, и после того как мы, изучив

их, установим их аутентичность, исследуем их содержание, они будут тут же возвращены.

— Чью гарантию вы хотите, чтобы я дал ему — вашу или мою?

— Ханнегана, вашу и мою.

— Я могу дать только гарантию Ханнегана и вашу. У меня нет собственных войск.

Ученый покраснел.

— Скажите, — торопливо добавил нунций, — почему, не считая опасности столкновения с бандитами, вы настаиваете, что должны увидеть их именно здесь, вместо того чтобы отправиться самому в аббатство?

— Самая убедительная причина, которую вы можете изложить аббату, заключается в том, что если документы в самом деле подлинные и если мы их исследуем в аббатстве, подтверждение того будет не очень убедительно для других светских ученых.

— Вы имеете в виду… ваши коллеги решат, что монахи как-то провели вас?

— М-м-м… можно сказать и так. Но, кроме того, важно, что, если они окажутся здесь, их сможет исследовать каждый член Коллегии, достаточно квалифицированный, чтобы сформулировать собственное мнение. И любой достойный Тон из

соседних княжеств, посетивший нас, может сам взглянуть на них. Мы не можем отправить всю Коллегию в далекую пустыню на шесть месяцев.

— Я понимаю вашу точку зрения.

— Вы пошлете письмо в аббатство?

— Да.

Тон Таддео не мог скрыть изумления.

— Но это будет ваша просьба, а не моя. И, откровенно говоря, должен предупредить вас, что я не уверен в согласии Дома Пауло, аббата обители.

Тем не менее Тон был удовлетворен. Когда он удалился, нунций подозвал своего помощника.

— Завтра же ты отправляешься в Новый Рим, — сказал он ему.

— По пути заехать в аббатство Лейбовица?

— Завернешь туда на обратном пути. Сообщение для Нового Рима очень спешно.

— Да, мессир.

— А в аббатстве скажешь Дому Пауло, что Шеба ждет прибытия Соломона к ней. С дарами. А потом лучше прикрой уши. Когда он кончит извергаться, спеши обратно, чтобы я мог сказать «нет» Тону Таддео.

Глава 13

В пустыне время течет медленно и неторопливо, и мало чем можно отмерить его ход. Два времени года сменились с тех пор, как Дом Пауло ответил отказом на просьбу, пришедшую из-за Долин, но дело уладилось только две недели назад. Или с ним вообще было покончено? Результаты не принесли Тексаркане облегчения.

На закате аббат прогуливался вдоль стен аббатства, выставив вперед челюсть, напоминая замшелый старый утес, о который должны разбиваться все вихри и ураганы стихии. Его белоснежные волосы, поднятые ветром пустыни, ореолом стояли вокруг головы; ветер рвал на его сутулом теле привычное одеяние, и он выглядел, как бредущий изможденный Иезекииль со странно округлым брюшком. Засунув в рукава свои шишковатые от старости кисти, он время от времени бросал взгляд через пространство на деревеньку Санли Боуиттс, лежащую в отдалении от аббатства. От красных лучей заката по двору протянулись длинные тени, и монахи, которые в это время торопливо пересекали его, с удивлением глядели на старика. Глава паствы

к завершению дня впадал в плохое настроение и изрекал странные предсказания. Шепотком ходили слухи, что грядет время, когда обителью будет править новый аббат ордена святого Лейбовица. Шептались, что старик плох, совсем не в себе. Шептались, что, если аббат услышал бы этот шепот, шептуны повисли бы на стенах аббатства. Аббат все слышал, но ему доставляло удовольствие не обращать внимания ни на что. Он прекрасно понимал, что шепот говорил сущую правду.

— Прочти мне снова, — отрывисто сказал он монаху, который безмолвно стоял рядом с ним. Капюшон, закрывавший голову монаха, слегка качнулся в направлении аббата.

— Что именно, Домине? — спросил он.

— Ты знаешь, что.

— Да, милорд, — монах порылся в рукаве. Было видно, что он обвис под тяжестью полбушеля документов и корреспонденции, но через секунду монах нашел то, что требовалось. Привязанная к свитку, болталась табличка, говорившая об авторе и об адресате письма: с приветом к Маркусу Аполло обращался Дом Пауло де Пекос, аббат монастыря Братства Лейбовица, что неподалеку от деревни Санли Боуиттс, юго-западная пустыня,

империя Денвер.

— Оно и есть. Итак, читай, — нетерпеливо сказал аббат.

«Взываю к тебе…»

Монах перекрестился и пробормотал привычное благословение Текста, которое произносилось перед зачтением любого текста столь пунктуально, как и молитва перед трапезой. Так как забота о сбережении грамотности, которую надо было пронести сквозь непроглядную тьму столетия, была целью Братства святого Лейбовица, этот маленький ритуал заставлял всегда держать ее в центре внимания.

Покончив с благословением, он поднял свиток так, что пронизанный закатными лучами, он стал почти прозрачным.

Iterum oportet apponere tibi cruce ferendam, amice…[22]

Голос его звучал громко и напевно, пока глаза бежали по строчкам, извлекая слова из причудливой вязи почерка. Слушая, аббат прислонился к парапету, наблюдая, как коршуны кружатся над плоской верхушкой горы Последнего Успокоения.

---

[22] Примечания: 22

Надлежит снова возложить на тебя бремя креста, друг… *(лат.).*

«Опять возникла необходимость возложить на вас крест, старый мой друг и пастырь близоруких книжных червей, — звучал голос чтеца, — но, возможно, тяжесть креста несет с собой и запах триумфа. Похоже, что Шеба все же явится к Соломону, хотя, скорее всего, объявит его шарлатаном.

«Сим сообщаю Вам, что Тон Таддео Пфардентротт, Мудрейший из Мудрейших, Учитель Учителей, Прекрасный Сын, родившийся вне брака некоего Принца, Божий Дар «Пробуждающегося Поколения» наконец решился нанести Вам визит, потеряв все надежды на получение вашей Меморабилии в его прекрасном королевстве. Он явится в канун Успения, если ему удастся избежать столкновения с группами «бандитов» по пути. Он пускается в путь с дурными предчувствиями и небольшим отрядом вооруженных всадников, что явилось результатом любезности Ханнегана II, чья корпулентная туша ныне нависает надо мной, когда я пишу, и что-то бурчит, глядя на эти черточки, которые Его Высочество указал мне вывести, и в которых Его Высочество попросил меня представить Тона, его кузена, наилучшим образом в надежде, что вы ему окажете подобающий прием. Но так как секретарь Его

Высочества возлежит в постели с подагрой, пишу Вам откровенно и прямо.

Первым делом, разрешите оповестить Вас об этом лице, о Тоне Таддео. Примите его с обычной для Вас вежливостью, но особенно ему не доверяйте. Он блестящий ученый, но ему свойственно светское направление интересов, и политически он всецело предан государству. А здесь государство представляет собой Ханнеган. Во-вторых, Тон скорее антиклерикален, как я думаю, — или в крайнем случае, настроен антимонастырски. После его рождения, наделавшего немало хлопот, он воспитывался в монастыре бенедиктинцев и… впрочем, спросите лучше курьера относительно этой темы…»

Монах поднял глаза от текста. Аббат по-прежнему наблюдал за кружением стервятников над Последним Успокоением.

— Ты что-нибудь слышал о его детстве, брат? — спросил Дом Пауло.

Монах кивнул.

— Читай дальше.

Чтение продолжалось, но аббат уже не слушал. Он знал письмо это почти наизусть, но все время чувствовал, что было в нем нечто, что Маркус Аполло тщился сказать между строк, и что ему,

Дому Пауло, все никак не удается понять. Маркус старается предупредить его — но о чем? Тон письма был легковесен и даже дерзок, но в нем была какая-то недосказанность, которая вызывала темную тревогу, если он все правильно понимал. Какую опасность мог представлять светский ученый, который хочет уделить время своим занятиям в аббатстве?

По рассказу курьера, который доставил письмо, сам Тон Таддео с детства обучался в монастыре бенедиктинцев, куда его отдали ребенком, чтобы не доставлять сложностей жене его отца. Отцом Тона был дядя Ханнегана, а матерью — служанка во дворце. Графиня, законная жена графа, ничего не имела против того, что граф порой волочился за женщинами, пока одна из них не родила ему сына, о котором он всегда мечтал; и тогда она ударилась в тоску и рыдания. Она рожала ему только дочек, и в народе ходили слухи, что над ней тяготеет заклятье. Она отослала ребенка, выпорола и прогнала служанку и мертвой хваткой вцепилась в графа. Она решила обязательно произвести на свет ребенка мужского пола, чтобы восстановить свою женскую честь; на свет появились еще три дочки. Граф терпеливо ждал пятнадцать лет, и когда она умерла от осложнений при родах (еще

одна дочка), он прямиком отправился к бенедиктинцам, признал мальчика и объявил его своим наследником.

Но молодой Таддео Ханнеган-Пфардентротт вырос в суровости и ожесточении. С детства и до отрочества он рос в отдалении от города и дворца, где его двоюродный брат готовился взойти на трон. Если бы его собственная семья продолжала не обращать на него внимания, он бы, возможно, вырос без ощущения отверженности своего положения. Но и его отец, и девушка-служанка, чье чрево выносило его, навещали его достаточно часто, чтобы дать почувствовать — он живой человек из плоти и крови, а не из камня, и постепенно он стал понимать, что лишен той доли любви, для которой был рожден. И когда принц Ханнеган навестил монастырь, чтобы провести год в учебе, он ужасно важничал пред своим незаконнорожденным братом, дав ему понять, что превосходит его по всем статьям, кроме одной — в гибкости ума Таддео далеко обошел его. Юный Таддео возненавидел принца с тихой яростью и за все время учебы старался держаться от него как можно дальше. Пребывание их под одной крышей все поставило на свои места: на следующий год принц оставил монастырь та-

ким же неграмотным, как и прибыл, с головой, свободной от каких бы то ни было мыслей. Тем временем его брат-изгнанник продолжал постигать науки в одиночестве и удостоился высших почестей за успехи, но его победа была ни к чему, так как Ханнеган ее даже и не заметил. Тон Таддео относился ко двору в Тексаркане с откровенным презрением, но с юношеской непоследовательностью охотно вернулся туда, чтобы Двор наконец признал его сыном своего отца, он простил всех, кроме покойной графини, изгнавшей его, и монахов, принявших его во время ссылки.

«Возможно, мысль о нашем монастыре вызовет у него неприятные воспоминания», — подумал аббат. Горькие, спутанные, а может, и воображаемые воспоминания.

«…Новая Грамотность дает противоречивые всходы, — продолжал читать монах. — Потому будь осторожен и наблюдай за симптомами.

Но, с другой стороны, не только Его Высочество, но и соображения справедливости требуют, чтобы я представил его Вам как самого благожелательного человека или как человека, совершенно чуждого злу, не в пример этим образованным и любезным язычникам (каковыми, несмотря ни на что, они сами себя делают). Он будет вести

себя подобающим образом, если Вы проявите достаточно твердости, но будьте осторожны, друг мой. Ум у него, как заряженный мушкет, и он может выстрелить в любом направлении. Я не сомневаюсь, что Ваше гостеприимство и Ваша сообразительность позволят успешно решить любую проблему общения с ним».

— Дай-ка мне еще раз посмотреть на печать, — сказал аббат. Монах протянул ему свиток. Дом Педро поднес его ближе к глазам и вгляделся в расплывшиеся буквы надписи внизу пергамента, которые оставила грубо вырезанная деревянная печать.

С
ОДОБРЕНИЯ ХАННЕГАНА II, МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ ПРАВИТЕЛЯ ТЕКСАРКАНЫ, ЗАЩИТНИКА ВЕРЫ, ВЕРХОВНОГО ВСАДНИКА ДОЛИН. ПЕЧАТЬ ЕГО: Х

— Интересно, читал ли его высочество письмо, отосланное от его имени? — забеспокоился аббат.

— В таком случае, милорд, разве было бы оно отослано?

— Предполагаю, что нет. Но игривость под носом у Ханнегана, использующая его неграмот-

ность, не свойственна Маркусу Аполло, хотя он старался что-то сказать мне между строк — но, скорее всего, он не мог придумать достаточно надежного способа сообщить мне то, что хотел. Вот эта последняя часть — относительно чаши, которая, как он опасается, будет пронесена мимо. Ясно, его что-то беспокоит, — но что? Нет, на Маркуса это не похоже, совершенно не похоже на него.

После прибытия письма прошло несколько недель; спал в это время Дом Пауло плохо, страдая от приступов застарелого гастрита; порой в своих видениях он то и дело возвращался мыслями к прошлому, и ему казалось, что многое надо было делать по-другому, что позволило бы избежать будущего. «Какого будущего?» — спрашивал он себя. Причин испытывать тревогу вроде не было. Противоречия между монахами и селянами давно сошли на нет. Кочевые племена на севере и востоке не давали никаких поводов для беспокойства. Империя Денвера не собиралась усиливать налоговый пресс для монастырских конгрегаций. В отдалении не бродило никаких отрядов. Оазис по-прежнему в изобилии снабжал водой. Ни среди животных, ни среди людей не было признаков какой-нибудь чумы. На орошаемых

полях в этом году уродился отличный урожай. Мир шел к прогрессу, и процент грамотных в соседней деревушке Санли Боуиттс поднялся на невиданную высоту — восемьдесят процентов, за что ее обитатели могли (но не хотели) благодарить лишь монахов ордена Лейбовица.

И все же он чувствовал — что-то грядет. Где-то в дальнем уголке мира таится некая безымянная угроза, из-за которой, казалось ему, однажды не взойдет солнце. Чувство это угнетало его, как рой голодных насекомых, облепивших лицо путника в пустыне. Оно было беспричинным, беспочвенным, бессмысленным, оно крылось в сердце, как обезумевшая от жары гремучая змея, готовая кинуться и на перекати-поле.

Это искушающий его дьявол, с которым он пытается помериться силами, решил аббат, но дьявол, чьи следы невозможно уловить. Дьявол аббата был мал ростом, не более чем по колено, но весил он десять тонн и обладал силой пятисот быков. Не злоба толкала его, как представлялось Дому Пауло, а невозможность поступать по-другому — как не может вести себя иначе бешеная собака. Она рвет мясо до костей, вцепившись в него зубами просто потому, что на ней лежит проклятье безвыходности, которая вызывает

неутолимый аппетит. Зло было таковым просто потому, что оно отрицало существование Бога, и отрицание это стало частью его бытия или же того пустого места, которое оно собой представляло. Порой Дому Пауло казалось, что он одолел океан людского бытия, и волны оного искалечили его.

«Что за чепуха, старик! — пробормотал он про себя. — Ты просто устал от жизни, и происходящие в тебе изменения кажутся тебе злом, разве не так? Ибо любые изменения несут с собой беспокойство, смущающее смертный покой на закате жизни. Да, пусть его искушает дьявол, но не отдавай ему больше, чем того заслуживает его проклятое существование. Ведь ты, древнее ископаемое, просто устал от жизни, не так ли?».

Но предчувствие не покидало его.

— Как вы думаете, стервятники уже съели старого Элеазара? — спросил тихий голос рядом с ним.

Сумерки сгущались, и Дом Пауло обернулся. Голос принадлежал отцу Галту, его приору и возможному наследнику. Он стоял с розой в руках и, казалось, был смущен тем, что нарушил покой старого человека.

— Элеазара? Ты имеешь в виду Бенджамина? Что-нибудь слышал о нем?

— Увы, нет, отец аббат, — он смущенно рассмеялся. — Но я видел, как вы смотрели в сторону столовой горы, и решил, что вы думаете об этом, о старом еврее, — он взглянул на гору, верхушка которой имела очертания наковальни, вырисовывающейся серым пятном на фоне неба к западу от аббатства. — Там тянется дымок, и поэтому я предположил, что он еще жив.

— Мы не имеем права предполагать, — резко сказал Дом Пауло. — Я хочу верхом съездить туда и нанести ему визит.

— Вы говорите так, словно собираетесь это сделать сегодня вечером, — хмыкнул Галт.

— Завтра или послезавтра.

— Вам бы лучше поостеречься. Говорят, что он бросает камни со скалы.

— Я не видел его пять лет, — признался аббат. — И мне стыдно. Он в полном одиночестве. Я тоже.

— Если он так одинок, почему же он настаивает на своем желании жить отшельником?

— Чтобы избежать одиночества — но в новом мире.

Молодой священник рассмеялся.

— Наверно, он в самом деле так ощущает его. Отче, но по правде я этого не вижу.

— Когда ты достигнешь моих лет или его, то

увидишь.

— Не думаю, что доживу до такого возраста. Он утверждает, что ему несколько тысяч лет.

Аббат задумчиво усмехнулся.

— И знаешь, я не хочу с ним больше спорить. Впервые я встретил его, когда был послушником, лет пятьдесят назад, и он выглядел таким же старым, как и сегодня. Ему, должно быть, больше сотни лет.

— Три тысячи двести девять лет, как он говорит. А порой и больше. Думаю, что он и сам верит в свои слова. Интересный вид сумасшествия.

— Я отнюдь не уверен, чти он сумасшедший, отец. Психика у него нормальная, но с отклонениями. Зачем вы меня искали?

— Три небольших дела. Во-первых, как нам до прибытия Тона Таддео выставить Поэта из королевских покоев для гостей? Он приедет через несколько дней, а Поэт пустил там такие корни…

— Я займусь им. Что еще?

— Вечерня. Вы явитесь в церковь?

— После повечерия. Займись этим сам. Что еще?

— В подвале идет спор — в связи с экспериментами брата Корнхоера.

— Кто и о чем?

— Суть спора достаточно глупа. Брат Корнхоер оспаривает точку зрения брата Амбрустера на vespero mundi expectando[23], говоря, что это та заутреня, которую служили тысячелетиями. Корнхоер передвинул некоторую обстановку, чтобы освободить себе место для экспериментов. Брат Амбрустер завопил: «Проклятье на тебя!», а брат Корнхоер стал орать: «Ради прогресса!», и они снова сцепились друг с другом. Затем они бросились ко мне за разрешением их конфликта. Я стал распекать их, чтобы они умерили свой темперамент. Они смирились и десять минут просили друг у друга прощения. Через шесть часов пол задрожал от воплей брата Амбрустера в библиотеке: «Проклятье!». Я ждал, что последует взрыв, но, оказывается, речь идет об Основном Вопросе.

— Чего ты хочешь от меня, чтобы я сделал? Выгнать их из-за стола?

— Пока не надо, но вы могли бы предупредить их.

— Хорошо. Я справлюсь с этим. Есть что-то еще?

— Это все, — он собрался уходить, но остановил-

---

[23] Примечания: 23
«Ожидание заката мира» *(лат.).*

ся. — Да, кстати, как вы думаете, та хитроумная штука, что придумал брат Корнхоер, будет работать?

— Надеюсь, что нет! — фыркнул аббат.

Отец Галт не мог скрыть удивления.

— Но тогда почему же ему было позволено…

— Потому что сначала мне самому было любопытно. Но его работа вызвала столь много сложностей, и я чувствую свою вину за то, что разрешил ему начать ее.

— Тогда почему бы не остановить его?

— Потому что я надеюсь, что он дойдет до абсурда и без моей помощи. Если его постигнет неудача, то случится это как раз к прибытию Тона Таддео. И у нас будет прекрасный повод заставить брата Корнхоера заняться умерщвлением плоти и принести покаяние, что напомнит ему о его обетах — а то он в самом деле начнет думать, что обратился к Религии главным образом для того, чтобы строить источник электрической субстанции в подвале монастыря.

— Но, отец аббат, если у него получится, вам придется признать, что это в самом деле достижение.

— Мне не придется признавать этого, — вежливо сказал Дом Пауло.

Когда Галт ушел, аббат, подумав некоторое время, решил первым делом взяться за проблему Поэта, отложив на потом проблему «проклятье-против-прогресса». Простейшее решение стоящей перед ним задачи заключалось в том, что Поэта необходимо изгнать из королевских гостевых покоев и лучше всего вообще из аббатства, чтобы его не было ни видно, ни слышно в окрестностях. Но никому еще не удавалось принять «простейшее решение», когда дело касалось этого Поэта.

Аббат оставил парапет и через двор направился к домику для гостей. Двигался он, руководствуясь лишь ощущениями, потому что здание было в полной темноте, не освещенное даже светом звезд, и лишь в нескольких окнах колыхались огоньки свечей. Окна королевских покоев были совершенно темны, но Поэт скорее всего пребывал в состоянии вдохновения и должен был находиться там.

Внутри строения он пошарил по стене в поиске двери справа, нашел ее и постучал. Немедленного ответа не последовало, а раздался слабый блеющий звук, источник которого мог находиться и вне помещения. Он постучал снова и толкнул дверь. Та открылась.

Слабый багровый свет от тлеющих в жаровне углей освещал помещение; в комнате стоял запах несвежей пищи.

— Поэт?

Опять раздались те же невнятные звуки, но на этот раз они были ближе. Аббат подошел к очагу, расшевелил дотлевающие угли и зажег лучину. Оглядевшись, он содрогнулся при виде хаоса, царящего в комнате. Она была пуста. Дом Пауло зажег масляную лампу и отправился исследовать остальное помещение. Его придется тщательно вычистить и окурить дымом (и скорее всего провести тут изгнание дьявола) до прибытия Тона Таддео. Он надеялся, что Поэт уберет здесь, но надежда на это была слабой.

Во второй комнате Дому Пауло показалось, что кто-то наблюдает за ним. Остановившись, он медленно обернулся.

Одинокий зрачок пялился на него из сосуда с водой, стоящего на полке. Аббат успокоенно кивнул ему и вышел.

В третьей комнате он увидел козла. Это была их первая встреча.

Козел стоял у дальней стены большого кабинета, пережевывая ростки брюквы. Похоже, что то был козленок, родом с гор, но у него была со-

вершенно лысая голова, которая в свете лампы казалась голубоватой. Несомненно, он родился уродцем.

— Поэт? — тихо спросил он, глядя на козла, пока рука его искала нагрудный крест.

— Иди сюда, — раздался сонный голос из четвертой комнаты. Дом Пауло облегченно вздохнул. Козел продолжал жевать зелень. Ну и дикие же мысли приходят в голову!

Поэт лежал, распростершись на постели, рядом в пределах досягаемости стояла бутылка вина: когда свет лампы упал на него, он раздраженно прищурил свой здоровый глаз.

— Я спал, — пожаловался Поэт, прилаживая на место черную повязку на глазу и протягивая руку за бутылкой.

— А теперь просыпайся. И немедленно убирайся отсюда. Сегодня же вечером. Вытаскивай свои пожитки в холл, чтобы тут можно было проветрить. Если хочешь, можешь спать в келье у конюхов на нижнем этаже. Утром вернешься и вычистишь все добела.

В этот момент Поэт выглядел как сломанная лилия: порывшись, он что-то нашел под одеялом. Вытащив из-под него сжатый кулак, он задумчиво посмотрел на него.

— Кто раньше пользовался этими покоями? — спросил он.

— Монсиньор Лонджи. Ну и что?

— Интересно, кто притащил сюда полчища клопов? — Поэт открыл кулак, подцепил что-то на ладони, раздавил между ногтями и отшвырнул остатки. — Все они могут достаться Тону Таддео. Мне они не нужны. Как только я тут очутился, они меня живьем съедают. Я и сам собирался уйти отсюда, а теперь, когда вы мне предлагаете мою старую келью, я просто счастлив…

— Я не имел в виду…

— …воспользоваться еще некоторое время вашим гостеприимством. Во всяком случае, пока я не окончу свою книгу.

— Какую книгу? Впрочем, неважно. Вытаскивай отсюда свои пожитки.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Отлично. Не думаю, что мог бы выдержать еще одну ночь с этими клопами. — Поэт сполз с постели и приостановился, чтобы сделать глоток.

— Отдай мне вино, — приказал аббат.

— О, конечно. Попробуй. Из прекрасных виноградников.

— Спасибо, потому что оно украдено из монастырских подвалов. Кажется, вино для причастия. Это тебе не приходило в голову?

— Меня в сие не посвящали.

— Удивительно, что ты вообще думаешь об этом, — Дом Пауло взял бутылку.

— Я вообще его не крал. Я…

— Не в вине дело. Откуда ты украл козла?

— Да не крал я его, — взмолился Поэт.

— Он что — возник просто так?

— Это подарок, досточтимейший.

— От кого?

— От дорогого друга, высокочтимейший.

— От какого дорогого друга?

— От моего, сир.

— Что за парадокс? Откуда у тебя здесь…

— От Бенджамина, сир.

Дом Пауло не мог скрыть тени удивления, мелькнувшего на его лице.

— Ты украл его у старого Бенджамина?

Поэт моргнул при этом слове.

— О, прошу вас, — только не крал.

— Тогда что же?

— После того как я сложил сонет в его честь, он настоял, чтобы я взял его в качестве дара.

— Говори правду!

Поэт жалобно сглотнул.

— Я выиграл его в игре в блошки.

— Вижу.

— Это правда! Этот старый колдун ободрал меня до нитки и отказался верить на слово. Мне пришлось поставить мой стеклянный глаз против козла. Но я все отыграл.

— Гони этого козла из аббатства.

— Но это восхитительный образец козла. Молоко его пахнет неземными ароматами и исключительно питательно. В сущности, именно его присутствием объясняется долголетие старого еврея.

— Сколько ему?

— Пять тысяч четыреста восемь лет.

— А я думал, что ему всего три тысячи двести… — Дом Пауло разочарованно замолчал. — Что ты делал на Последнем Успокоении?

— Играл в блошки со старым Бенджамином.

— Я имел в виду… — аббат сдержал себя. — Не важно. А теперь убирайся отсюда. Завтра вернешь козла Бенджамину.

— Но я честно выиграл его.

— Не будем спорить по этому поводу. В таком случае отведи козла в конюшню. Я сам его верну.

— Почему?

— Козлы нам не нужны. И тебе тоже.

— Хех-хе, — лукаво сказал Поэт.

— Что это значит, нечестивец?

— Прибывает Тон Таддео. Прежде чем он уедет, в козле будет большая необходимость. Уж в этом вы можете быть уверены, — и он хмыкнул, восторгаясь собственной проницательностью.

Аббат повернулся к выходу, чувствуя нарастающее раздражение.

— Убирайся же наконец, — с излишним гневом вымолвил он, направляясь разбираться с конфликтом в подвале, где ныне размещалась Меморабилия.

Глава 14

Глубокий, выложенный камнем подвал был выкопан столетия назад, в те времена, когда с севера начали просачиваться кочевники и орды захватили пустыню и большие пространства Долин, огнем и мечом опустошая все, что лежало у них на пути. Меморабилия, малая часть тех знаний, которых аббатству удалось уберечь от забвения, была спрятана в подземном убежище, чтобы спасти бесценные рукописи и от кочевников, и от «крестоносцев мести», созданных схизматическими орденами для борьбы с неверными, но погрязнувших в грабежах и сектантских раздорах. Ни кочевников, ни солдат военного ордена святого Панкраца не интересовали книги аббатства, но кочевники могли сжечь их просто из радостного стремления к всеобщему разрушению, а вооруженные братья-рыцари могли побросать их в костер как «еретические» сочинения, не соответствующие теологическим взглядам их антипапы Виссариона.

Но теперь Темные века, похоже, клонились к закату. Двенадцать столетий огонек знаний тлел в монастырях, и только сейчас он был го-

тов возгореться. Давным-давно, в отдаленные времена, некоторые гордые мыслители утверждали, что ценность знаний не может быть разрушена — идеи не подвержены гибели, а правда бессмертна. Но то было истиной только в определенном, малом смысле, думал аббат, и не носило всеобъемлющего характера. Чтобы быть точным, мир обладал объективным смыслом, которым были слово и образ Создателя, лежащие по ту сторону морали, но главное было в Боге, а не в Человеке, пока тот был подвержен непрестанной цепи перерождений, темным озарением, не понимающим ни речи, ни культуры человеческого общества. Да, Человек является носителем и культуры, и духа, но культура его не бессмертна, и если он погибает от несчастных случаев или от старости, то человеческое представление о смысле жизни и понимание, что такое правда, идут на убыль, оставаясь невидимыми пребывать в объективном логосе Природы и в невысказанном логосе Бога. Правду можно распять на кресте, но она скоро возрождается к жизни.

Меморабилия была полна древних слов, древних формул, древних соображений о смысле бытия, созданных творцами, умершими давным-давно, когда ушли в глубины забвения все суще-

ствовавшие общества. Мало что из их сочинений ныне можно было понять. Некоторые документы были столь же неясны для восприятия, каким показался бы требник шаману кочевого племени. Другие содержали лишь красивые периоды, выстроенные в определенном порядке, который позволял догадываться о заключенном в них смысле — так же как, попав в розарий, кочевник сделает себе ожерелье из цветов. Первые Братья ордена Лейбовица пытались набросить нечто вроде вуали на тело распятой цивилизации; она, как они пытались изобразить, исчезла, сохраняя облик древнего великолепия, но облик этот с трудом можно было различить; он был неполон и труден для восприятия. Монахи хранили его в нетронутости, и вот ныне он снова представал миру, если мир хотел и был готов вглядеться в него и, исследовав, понять. Меморабилия сама по себе не могла возродить древнюю науку или высокую цивилизацию, ибо культура являлась порождением человеческих племен и сообществ, а не древних толстых томов, но книги могли этому помочь, как надеялся Дом Пауло, — книги могли указать направление и предложить помощь в деле возрождения науки. Так уже было однажды, на что указывал почтенный Боэдуллус

в своем «De Vestigiis Antecessarum Civitatum»[24].

И настало время, думал Дом Пауло, напомнить им, кто поддерживал искру знаний, пока весь мир был погружен в сон. Остановившись, он обернулся, ибо на какое-то мгновение ему показалось, что опять слышит испуганное блеяние козла Поэта.

Шум из подвала скоро дошел до его слуха, когда он достиг подземных помещений, где был источник беспорядка. Кто-то колотил железом по камню. Запах пота мешался с ароматом старых книг. Нервная суматоха, не приличествующая ученым, переполняла библиотеку. Послушники носились взад и вперед с инструментами в руках, стояли в группах, изучая разостланные на полу чертежи, передвигали столы и шкафы, ставя на их место какие-то приспособления. Смутившись от внезапно появившегося света лампы, брат Амбрустер, библиотекарь и ректор Меморабилии, стоял, наблюдая за происходящим из дальнего укрытия между шкафами, сжав руки; на лице его была мрачность. Дом Пауло постарался не встретиться с его обвиняющим взглядом.

Брат Корнхоер встретил своего владыку торже-

---

[24] Примечания: 24

«О следах предшествующих государств» *(лат.)*.

ствующей улыбкой, полной энтузиазма.

— Ну, отец аббат, скоро мы дадим вам свет, которого не видел никто из живущих.

— Ты поддаешься излишнему тщеславию, брат, — заметил Пауло.

— Тщеславию, Домине? Из-за того, что хочу всего лишь найти применение всему, что мы изучали?

— Я имею в виду ту спешку, с которой вы трудитесь, чтобы успеть поразить прибывающего гостя. Но не обращайте внимания. Дайте-ка мне посмотреть на ваши инженерные чудеса.

Он подошел поближе к склепанному сооружению. Оно не напоминало ничего стоящего, разве что машину для пыток пленников. Шест, служащий стержнем, при помощи шкивов и ремней был соединен с крестовиной. Четыре колеса от вагонеток, разделенные несколькими дюймами, крепились на шесте. Кроме того, здесь было бесчисленное количество медной проволоки, ранее служившей для птичьих клеток, а ныне выпрямленной в кузне соседней деревушки. Колеса могли свободно вращаться, заметил Дом Пауло, так как тормозные устройства пока были в бездействии. Куски железа были обмотаны бесчисленными витками проволоки — «обмотка

поля», как назвал их Корнхоер. Дом Пауло торжественно покачал головой.

— Для аббатства это будет величайшее изобретение с тех пор, как сто лет назад мы поставили тут печатный станок, — гордо объявил Корнхоер.

— Но будет ли это работать? — засомневался Дом Пауло.

— Ставлю все свои месячные труды, милорд!

«Ты ставишь куда больше», — подумал священник, но подавил чуть не вырвавшиеся слова.

— Откуда пойдет свет? — спросил он, снова приглядываясь к странному сооружению.

Монах рассмеялся.

— О, у нас есть для этого специальная лампа. То, что вы видите — всего лишь динамо-машина. Она производит электрическую субстанцию, от которой горит лампа.

Грустно кивая головой, Дом Пауло прикинул, какое пространство библиотеки занимает динамо-машина.

— А нельзя ли, — пробормотал он, — извлекать ее, например, из кошачьей шкуры?

— Нет, нет… Электрическая субстанция — это… Вы хотите, чтобы я вам объяснил?

— Лучше не надо. Естественные науки — не

мое призвание. Предоставляю заниматься ими вашим более молодым головам, — он поспешно отступил, чтобы его не задело брусом, который торопливо протащили мимо два послушника. — Скажи мне, — произнес он, — если, изучив бумаги Лейбовица, ты понял, как можно сделать такую машину, почему этого не понял никто из твоих предшественников?

Несколько секунд монах молчал.

— Объяснить это нелегко, — наконец сказал он. — В сущности, в тех рукописях, что дошли до нашего времени, нет прямых указаний, как построить динамо. Скорее можно считать, что информация разбросана по самым разным источникам. Имеется лишь ее часть. Об остальном пришлось догадываться. Но для этого нужно было обзавестись некоторыми рабочими теориями — информацией, которой не было у наших предшественников.

— У нас она есть?

— Да, так как… появилось несколько человек, таких как… — теперь голос его был преисполнен глубокого уважения, и он помедлил, прежде чем произнести имя, — как Тон Таддео…

— Ты совершенно уверен в своих словах? — почти мягко спросил аббат.

— Сравнительно недавно некоторые философы стали заниматься новыми физическими теориями. В сущности, то была работа… работа Тона Таддео, — у него в голосе снова появились нотки почтительности, заметил Дом Пауло, — которая и дала необходимые рабочие аксиомы. Например, его работа о Движении Электрической Субстанции и его Теория Конденсаторов…

— Ему, должно быть, будет приятно увидеть, как его мысли воплощаются в жизнь. Не могу ли осведомиться, где сама лампа? Я надеюсь, что она не больше этого динамо?

— Вот она, господин мой, — сказал монах, вынимая из стола небольшой предмет. Казалось, что он представлял собой лишь скобку, поддерживающую пару черных стерженьков и винт для их регулировки. — Это уголь, — объяснил Корнхоер. — Древние называли ее «дуговой лампой». Есть и другие виды ламп, но у нас не было материалов, чтобы сделать их.

— Восхитительно. Откуда же будет идти свет?

— Вот отсюда, — монах показал на пространство между угольками.

— Должно быть, огонек будет очень маленьким, — сказал аббат.

— Но каким ярким! Ярче, как я прикидываю,

сотни свечей.

— Не может быть!

— Вы думаете, что он будет резать глаза?

— Я считаю абсурдом… — и, заметив страдальческое выражение на лице брата Корнхоера, аббат торопливо добавил: — Как мы привязаны к восковым свечам и искрам из кошачьей шерсти.

— Порой я задумывался, — застенчиво признался монах, — не использовали ли древние это освещение на алтарях вместо свечей.

— Нет, — сказал аббат. — Совершенно точно, что нет. Это я могу тебе сказать. Так что, прошу тебя, отбрось эту идею как можно скорее и никогда к ней не возвращайся.

— Да, отец аббат.

— А куда ты собираешься подвесить эту штуку?

— Ну… — брат Корнхоер помедлил, обводя внимательным взглядом сумрачное пространство подвального помещения. — Я об этом еще не думал. Я предполагаю, что она может висеть над тем столом, где Тон Таддео… («Почему он помедлил, прежде чем произнести это имя», — раздраженно подумал Дом Пауло)… будет работать.

— Лучше мы спросим об этом брата Амбрустера, — решил аббат и заметил, что монах

смутился. — В чем дело? Неужели вы с братом Амбрустером…

На лице Корнхоера появилось извиняющееся выражение.

— Честное слово, отец аббат, я все время старался держать себя в руках. Да, мы обменялись парой слов, но… — он пожал плечами. — Он не хочет что-либо здесь менять. Он продолжает бормотать о колдовстве и тому подобное. Договориться с ним непросто. Он уже почти ослеп из-за того, что ему приходилось читать в полутьме — и все же утверждает, что наши дела — это дьявольские выдумки. И я не знаю, что ему сказать.

Слегка нахмурившись, Дом Пауло пересек помещение, направляясь к тому месту, где продолжал стоять брат Амбрустер, наблюдая за происходящим.

— Наконец ты добился своего, — сказал библиотекарь Корнхоеру. — Когда же ты сделаешь и механического библиотекаря?

— Мы уже нашли указания, брат, что в свое время были такие штуки, — пробурчал изобретатель. — В описании аналитических машин есть ссылки, что…

— Хватит, хватит, — вмешался аббат, а затем обратился к библиотекарю. — Тону Таддео по-

надобится место для работы. Что ты можешь предложить?

Амбрустер ткнул пальцем на раздел Натуральных Наук.

— Пусть читает на пюпитре, как и все.

— А как насчет того, чтобы он мог заниматься на более открытом пространстве, отец аббат? — торопливо выдвинул Корнхоер встречное предложение.

— За столом ему понадобятся абака, грифельная доска и место для записей. Мы можем отделить его временной ширмой.

— Я считал, что он направляется сюда, дабы ознакомиться с нашими комментариями по Лейбовицу и с более ранними текстами, — с подозрением сказал библиотекарь.

— Этим он и будет заниматься.

— Тогда, если вы дадите ему место в середине, он сможет ходить взад и вперед. Самые редкие книги прикованы цепями и далеко их не унесешь.

— Проблемы в этом нет, — сказал изобретатель. — Просто снять цепи. Они выглядят очень глупо. Еретические культы давно скончались или они почти неизвестны. Уже сто лет никто и не слышал о панкратианском военном ордене.

Амбрустер покрылся краской гнева.

— Обойдемся и без тебя, — рявкнул он. — Цепи останутся на своих местах.

— Но зачем?

— Они не для тех, кто сжигает книги. Теперь нам доставляют беспокойство деревенские. И цепи останутся.

Корнхоер повернулся к аббату и развел руками.

— Вы видите, милорд?

— Он прав, — сказал аббат. — В деревне порой ходят самые разные разговоры. Не забывай, что городской совет отнял у нас школу. Теперь они прибрали к рукам библиотеку в деревне и хотят, чтобы мы им заполнили полки. Лучше всего разными редкими книгами, конечно. И дело не только в этом — в прошлом году воры доставили нам немало хлопот. Брат Амбрустер прав. Самые редкие книги останутся на своих местах, прикованные к столам.

— Хорошо, — вздохнул Корнхоер. — Значит, он будет работать в алькове.

— И где же тогда ты повесишь свою волшебную лампу?

Монах оглядел кубатуру пространства. Оно представляло собой одно из четырнадцати

совершенно одинаковых помещений, приспособленных для определенной цели. Над каждым альковом высилась арка, и на железных крюках, вмурованных в ключевой камень каждой, висело тяжелое распятие.

— Если он собирается работать в алькове, — сказал Корнхоер, — мы просто снимем распятие и временно повесим ее здесь. Другого выхода…

— Еретик! — прошипел библиотекарь. — Язычник! Осквернитель! — Амбрустер воздел к небу дрожащие руки. — Господи, помоги мне, а то иначе я растерзаю его своими же руками! Придет ли конец его измышлениям? Забери его прочь! Прочь! — он повернулся к ним спиной, не опуская дрожащих рук.

Дом Пауло и сам недоуменно моргнул, услышав предложение изобретателя, но сейчас он сурово нахмурился, увидев спину брата Амбрустера. Он никогда не ждал от него излишней кротости, которая вообще была чужда натуре Амбрустера, но сварливость строгого монаха уже переходила все границы.

— Повернитесь, пожалуйста, брат Амбрустер.

Библиотекарь повернулся.

— А теперь опустите руки и говорите поспокойнее, когда вы…

— Но, отец аббат, вы же слышали, что он…

— Брат Амбрустер, будьте любезны взять лесенку и снять это распятие.

Краска отхлынула от лица библиотекаря. Потеряв дар речи, он смотрел на Дома Пауло.

— Здесь не церковь, — сказал аббат. — Ничего лучше не придумать. Так что будьте любезны снять распятие. Похоже, что тут самое подходящее место для лампы. Позже мы повесим ее в другое место. Я понимаю, что все происходящее здесь вносит беспокойство в библиотеку и, может быть, плохо влияет на ваше пищеварение, но мы надеемся, что интересы прогресса требуют таких жертв. Если не так, то…

— Вы выкидываете Господа нашего, чтобы освободить место для прогресса!

— Брат Амбрустер!

— Почему бы вам не повесить эту дьявольскую лампочку ему прямо на шею?

Лицо аббата окаменело.

— Я не заставляю вас повиноваться, брат. После вечерни жду вас у себя.

Библиотекарь поник.

— Я принесу лестницу, отец аббат, — прошептал он и поспешил в глубь библиотеки.

Дом Пауло поднял глаза на распятого Христа

в проеме арки. «Понимаешь ли Ты меня?» — подумал он.

В животе у него словно лежал камень. Он знал, что позже он даст знать о себе, и оставил помещение, прежде чем кто-либо заметил, как ему плохо. В эти дни он не мог позволить себе, чтобы обитель видела, как такое обыкновенное происшествие потрясает его.

На следующий день все было поставлено на свои места, но во время испытаний Дом Пауло пребывал в своем кабинете. Дважды ему пришлось беседовать с братом Амбрустером с глазу на глаз, а однажды он сделал ему публичный выговор на общем собрании ордена. И все же ему по-своему нравилось отношение библиотекаря к Корнхоеру. Обмякнув, он сидел за своим столом, ожидая новостей из подвальных помещений и не очень беспокоясь, удастся или нет эксперимент. Одну руку он держал спрятанной под рясой и мягко поглаживал живот, словно стараясь успокоить плачущего ребенка.

Опять его грызут спазмы. Они появлялись, когда ему угрожали какие-то неприятности, и исчезали, когда удавалось справиться со всеми сложностями. Но сейчас они прочно гнездились в нем и, похоже, исчезать не собирались.

Он услышал предупреждение, и это знал. Явилось ли оно от ангела, или от демонов, или же из глубин его собственного сознания, в нем ясно звучал призыв остерегаться и себя, и той реальности, которую он еще не видел в лицо.

«И что же дальше?» — подумал аббат, позволив себе беззвучную отрыжку и молча попросив прощения перед статуей святого Лейбовица, стоящей в задрапированной нише в его комнате.

Вокруг носа святого Лейбовица вилась муха. Казалось, что глаза святого, скосившись, следят за мухой, моля аббата прогнать ее. Аббату нравилась эта резная деревянная статуя двадцать шестого века, на лице ее блуждала странная улыбка, необычная для облика святого. В уголках рта улыбка исчезала, и брови Лейбовица были нахмурены, словно он тяжело раздумывал над чем-то, хотя глаза были окружены смешливыми морщинками. Через одно плечо была перекинута петля палача, и, может быть, поэтому выражение лица святого казалось загадочным. Возможно, оно было результатом легкой неправильности слоев древесины, которая требовала от руки резчика внимания к мельчайшим деталям, связанным со структурой древесины. Дом Пауло не был уверен, создавалась ли эта скульптура из живого дерева

до того, как мастер приступил к окончательной отделке ее; в те времена терпеливый резчик порой начинал работу с подрастающим деревом и, проведя бесчисленные годы, подрезая, ошкуривая, сгибая и связывая растущие ветви, он, мучая живую древесную плоть, превращал ее в подобие дриады со сложенными или воздетыми руками, перед тем как срезать возмужавший ствол дерева и начать его резать и отделывать. Получающаяся таким образом статуя необычайно стойко сопротивлялась попыткам расколоть или сломать ее, так как большинство линий ее фигуры были созданы естественным путем.

Дом Пауло часто думал, не говорит ли деревянная скульптура Лейбовица, насколько успешно можно сопротивляться столетиям; на мысли эти его наводила столь странная улыбка святого. Эта легкая усмешка когда-нибудь станет причиной твоей гибели, предупреждал он статую… Конечно, святые могут себе позволить подсмеиваться над Небесами, псалмопевец говорит, что и сам Бог может позволить себе похихикать, что решительно не одобрял аббат Малмедди — упокой, Господи, его душу. Этакий велеречивый торжественный осел. Интересно, как ты терпел его? Ведь ты не ханжа. Эта улыбка… о чем она гово-

рит? Мне она нравится, но… Когда-нибудь в это кресло сядет мрачное собакоподобное существо. И заменит тебя каким-нибудь гипсовым Лейбовицем, Долготерпеливым, который не будет коситься на мух. А тебя будут жрать термиты на складе. Чтобы дожить до тех времен, когда Церковь понемногу будет обращаться к искусству, ты должен обладать внешностью, которая может удовлетворить любого невзыскательного простака, и в то же время ты должен скрывать в себе нечто, доступное лишь взгляду проницательного мудреца. Поворот свершается медленно, то и дело разворачиваясь в обратном направлении, когда какой-нибудь новый прелат, обходя свои владения, заглядывает в кладовые и каморки и бормочет: — «А это барахло пора выкинуть». Им обычно нужна лишь сладкая кашица. И когда старая, как им кажется, закисает, нужно новое варево. Если Церковью пять столетий правили священнослужители с плохим вкусом, здравый взгляд воспринимается в такой обстановке, как варево из потрохов, и от него отказываются, место подлинного величия замещается дешевым украшательством.

Аббат стал обмахиваться веером из птичьих перьев, но прохлады это не принесло. Воздух

из открытого окна напоминал горячее дыхание горна, источником которого была выжженная пустыня, и к этому еще добавлялось жжение в желудке, который раскаленными когтями разрывали то ли дьявол, то ли гневный ангел. Такая жара заставляет сходить с ума гремучих змей, она разряжается громовыми раскатами в горах, когда собаки бешено рвутся с цепей, а гнев человеческий выжигает все вокруг. Колики все усиливались.

— Поможешь? — громким шепотом обратился он к святому, без лишних слов излагая ему мольбу о прохладной погоде, о встрече с умным собеседником, об озарении, которое прояснит его смутное ощущение надвигающегося несчастья. «Может, из-за сыра, — подумал он. — Он весь оплыл и позеленел. Я должен последить за собой — перейти на легкую диету. Но нет, не в этом дело, — посмотри правде в лицо, Пауло, — не хлеб насущный вызывает у тебя такие ощущения, а то, чем питается твой мозг».

— Но что?

Деревянный святой не давал ему четкого и недвусмысленного ответа. Пустая болтовня. Его мозг лихорадочно связывал воедино отрывки. Пусть работает голова, когда приходят спазмы

и мир тяжело наваливается на него. Сколько он весит? Вес у него есть, но ощутить его и измерить невозможно. Что-то неверно в этих подсчетах. В нем жизнь и труд, противопоставленный серебру и злату. Их никогда не удастся уравновесить. Грубо и безжалостно этот груз давит на тебя, и всю жизнь ты борешься с ним, и лишь изредка мелькнет тебе отблеск золота. Слепцы с завязанными глазами, короли пересекают пустыню, надеясь, что им выпадет удача.

— Нет, — пробормотал аббат, прогоняя от себя это видение.

«Да, конечно же», — настаивала деревянная улыбка святого.

Дом Пауло, слегка передернувшись, отвел глаза от его образа. Порой ему казалось, что святой подсмеивается над ним. «Издевается ли он над нами с Небес? — подумал он. — Святой Мэйси из Йорка — помнишь ли его, старик? — скончался от хохота. Это совсем другое. Он умер, смеясь над самим собой. Впрочем, не такое уж другое. УЛП! — снова его раздуло от беззвучной отрыжки. — Вот уж поистине, среда — день поминовения святого Мэйси. Хор благоговейно зайдется от смеха, когда вознесет «Аллилуйю» на мессе в его честь. — Аллилуйя, хо-хо! Аллилуйя, хах-ха!»

— «Святой Мэйси, заступник наш…»

И король явится в подвал взвешивать книги на чашах своих мошеннических весов. Насколько «мошеннических», Пауло? И почему ты считаешь, что Меморабилия совершенно свободна от ерунды? Даже одаренный досточтимый Боэдуллус заметил как-то с горечью, что половину ее собрания надо было бы именовать Сборищем Непостижимого. Здесь были в самом деле драгоценные отрывочные свидетельства мертвых цивилизаций — но сколько из них стали подлинным хламом, заботливо украшенным оливковыми листьями и ангелочками, над которыми трудились сорок поколений монастырских переписчиков, детей темных веков, многие из которых с младенчества жили среди непонимаемых ими посланий, зная лишь то, что их надо затвердить и донести до последующих поколений.

«Я заставил его проделать путь от Тексарканы сквозь опасные места, — подумал Пауло. — А теперь я волнуюсь, что мы ему сможем показать ценного, и это все, что меня волнует».

Нет, не все. Он снова посмотрел на улыбающегося святого. И снова: Vexilla regis inferni

prodeunt[25].

«...И вознеслись знамена Владыки ада», — нашептала ему память какие-то искаженные строчки из древней commedia. Они гвоздем засели в мозгу.

Аббат еще крепче сжал кулак. Бросив веер, он втянул воздух сквозь сжатые зубы. Еще раз смотреть на святого ему больше не хотелось. Плоть его терзал огнем безжалостный ангел. Он наклонился над столом. В этом положении его не так жгло раскаленным железом. Тяжелое дыхание смело с поверхности стола налетевшую пыль пустыни. От ее запаха хотелось чихнуть. Розовый свет стал меркнуть в комнате, и ему показалось, что ее заполнили полчища черных комаров. «Я не могу больше бороться, и меня, кажется, сейчас вырвет — но Благословенный Патрон наш и Защитник, я вынужден. Я весь — суть боль. Эрго сум. Господь наш, Христос, прими сей дар».

Он изрыгнул рвотную массу, почувствовав ее соленый вкус, и упал головой на стол.

«Должен ли я выпить сей кубок, что преподносит мне Господь или я могу еще помедлить? Но распятие уже готово. Рано или поздно каждого

---

[25] Примечания: 25
Выступают знамена Владыки ада *(лат.)*.

ждут гвозди, которыми его распнут, и он будет висеть, а если ты попытаешься избежать этого, тебя забьют до смерти бичами, так что иди на крест с достоинством, старик. Если ты можешь не терять достоинства, когда тебя выворачивает, то ты можешь отправляться и на небеса в своем рубище»… — он чувствовал себя бесконечно виноватым.

Он долго ждал. Комары постепенно исчезли, скончавшись, а комната потеряла свои краски и стала сумрачной и серой.

«Ну что ж, Пауло, ты собираешься и дальше истекать кровью или же у тебя хватит сил еще немного подурачить мир?».

Он поборол обморочное состояние и поискал глазами лицо святого. На нем была все такая же легкая улыбка — грустная, всепонимающая, и в ней было что-то еще. Насмешка над палачом? Нет, улыбка для палача. Насмешка над самим сатаной. В первый раз он все отчетливо понял. И в последней земной чаше будет привкус триумфа.

Внезапно его одолела сонливость, лицо святого расплылось, но аббат продолжал улыбаться ему в ответ.

Незадолго до полунощной приор Галт нашел аббата лежащим на столе. Сквозь стиснутые

зубы просачивалась струйка крови. Молодой священник быстро пощупал пульс. Дом Пауло сразу же пришел в себя, вытянулся на своем кресле и, словно все еще в полудреме, торжественно объявил: «А я говорю вам, что все это предельно смешно! Полное и абсолютное идиотство! Ничего не может быть более абсурдным!».

— Что абсурдно, Домине?

Аббат потряс головой и несколько раз мигнул.

— Что?

— Я сейчас же пришлю брата Эндрю.

— А? Вот это и есть абсурдно. Иди сюда. Что тебе надо?

— Ничего, отец аббат. Как только я найду брата Эндрю, я сразу же…

— Да перестань ты приставать ко мне с этими медиками! Просто так ты сюда не являешься. Мои двери закрыты. Прикрой их снова, садись и говори, что тебе надо.

— Испытания прошли успешно. Лампы брата Корнхоера, я имею в виду.

— Отлично, расскажи мне об этом. Садись и начинай. Расскажи мне все-все об этом, — он оправил облачение и вытер рот куском мягкой бумаги. Голова у него по-прежнему кружилась, но руки ныне спокойно лежали на животе. Его

не очень волновал рассказ приора, как прошли испытания, но он приложил все силы, чтобы казаться внимательным и учтивым. «Попридержать его здесь, пока я не приду в себя настолько, что начну соображать. И не давай ему пойти за медиком — пока на надо, новости могут разнестись: со стариком все кончено. Ты сам решишь, приспело ли время для этого или нет».

Глава 15

Хонган Ос был в сущности простым и мягким человеком. Когда он увидел группу своих воинов, забавляющихся с ларедонскими пленниками, он остановился посмотреть, но когда они привязали троих ларедонцев за лодыжки к лошадям и стали нахлестывать животных, чтобы они рванули с места в галоп, Хонган Ос решил вмешаться. Он приказал выпороть воинов, потому что о Хонгане Осе — Бешеном Медведе — шла слава, как о милостивом вожде племени. И он никогда не позволял мучить лошадей.

— Убивать пленников — это женская работа, — с отвращением пробурчал он, обращаясь к выпоротым преступникам. — Вам придется очиститься от этого позора, и до новолуния убирайтесь из лагеря, потому что вы наказаны на двенадцать дней, — и отвечая на их протестующие стоны: — Вы хотели, чтобы лошади протащили их через лагерь? Эти травоядные — наши гости, и известно, что они легко пугаются при виде крови. Особенно если это кровь таких же, как они. Учтите это.

— Но эти — пожиратели травы с Юга, — воз-

разил воин, указывая на изувеченных пленников. — А наши гости — пожиратели трав с Востока. И разве не существует договора между нами, настоящими людьми, и Востоком, что мы идем войной на Юг?

— Если ты еще раз заикнешься об этом, я вырву твой язык и скормлю его собакам! — предупредил его Бешеный Медведь. — Забудь, что ты это слышал!

— Долго ли будут среди нас эти люди травы, о, Сын Могущества?

— Кто может знать, что думают эти фермеры? — ответил ему вопросом на вопрос Бешеный Медведь. — Их мысли — это не наши мысли. Они говорят, что часть из них отделится, чтобы пройти через Сухие Земли — там, где живут священники поедателей травы и эти в черных одеждах. Остальные останутся тут на переговоры — но это не для ваших ушей. А теперь отправляйтесь, и пусть стыд съедает вас двенадцать дней.

Он повернулся к ним спиной, так что наказанные могли ускользнуть, не чувствуя, что их провожает его взгляд. Дисциплине тут подчинялись все неукоснительно. Клан шумел и гудел. Людям Долин стало известно, что он, Хонган Ос, скрестил руки над огнем договора с посланцем

из Тексарканы и что шаман у обоих из них обрезал волосы и состриг ногти, из которых сделал куклу, дабы она предохранила от предательства с каждой из сторон. Стало известно, что заключено соглашение, а каждый договор между людьми и поедателями травы воспринимался племенем как позор. Бешеный Медведь чувствовал тайное презрение со стороны молодых воинов, но иного объяснения, что придет и их час, он им не давал.

Бешеный Медведь и сам был бы не прочь выслушать хороший совет, пусть даже и от пса. Мысли у поедателей травы редко бывали стоящими, но он был поражен посланием короля поедателей травы с Востока, который подчеркивал необходимость сохранения тайны и сожалел об излишнем хвастовстве. Если бы ларедонцам стало известно, что племена получают оружие от Ханнегана, замысел, без сомнения, провалился бы. Бешеный Медведь терялся в размышлениях; он отталкивал его — ибо куда приятнее и мужественнее было бы откровенно сказать врагу, что его ждет, прежде чем приступать к делу, и все же, чем больше он размышлял, тем яснее видел всю мудрость этой идеи. Если даже король пожирателей травы и был малодушным трусом, нельзя было отрицать, что он был умным человеком: Бешеный Медведь

еще не решил, какой оценке отдать предпочтение, но признавал, что мысли его были неглупы. Секретность была необходима, хотя порой казалось, что она скорее должна быть присуща женщинам. Если бы племя Бешеного Медведя узнало, что полученное ими оружие появилось не в результате смелого пограничного набега, а является подарком от Ханнегана, ларедонцы могли бы выпытать план от захваченных во время рейда пленников. Так что пусть уж лучше племя ворчит, что позорно заключать с фермерами с Востока мир.

Разговоры шли не о мире. Говорили то, что надо, чувствуя, что впереди ждет хорошая добыча.

Несколько недель назад Бешеный Медведь сам возглавил боевой отряд, отправившийся на Восток; и они вернулись с сотней голов лошадей, четырьмя дюжинами длинных ружей, несколькими бочонками черного пороха, множеством зарядов и одним пленником. Даже воины, сопровождавшие его, не знали, что склад оружия был организован здесь людьми Ханнегана и что пленник на самом деле был пехотным офицером, который в будущем станет советником Бешеного Медведя относительно возможной тактики ларедонцев в будущей войне. Прислушивать-

ся к словам и мыслям поедателей травы было постыдным делом, но знания офицера помогут разобраться в намерениях поедателей травы с Юга. До мыслей Хонгана Оса ему не додуматься.

Совершив эту сделку, Бешеный Медведь вполне обоснованно возгордился. Он не обещал ничего, кроме того, что не вступит в войну с Тексарканой и не будет угонять скот с восточных границ на то время, пока Ханнеган будет снабжать его оружием и припасами. Соглашение о войне против Ларедо молчаливо подразумевалось, но эта идея настолько соответствовала собственным намерениям Бешеного Медведя, что в формальном пакте не было и нужды. Союз с одним из врагов означал, что он может спокойно разделаться с другим противником, а затем при случае отвоевать обильные пастбища, которые в прошлом столетии были захвачены и заселены фермерами.

Когда глава клана верхом добрался до лагеря, спустилась ночь, и над Долинами воцарился стылый холод. Его гость с Востока сидел, закутавшись в одеяло, у костра совета, рядом с тремя стариками, пока привычный круг любопытных детишек время от времени выныривал из темноты и глазел на чужака. Всего сейчас тут было двенадцать чужих, но они разделились на две

отдельные группы, которые ехали вроде и вместе, но в то же время не обращали особого внимания друг на друга. Глава одной из групп был скорее всего сумасшедшим. Хотя Бешеный Медведь ничего не имел против помешательства (тем более что шаман оценивал его как наиболее ценное свидетельство присутствия потусторонних сил), он не знал, считают ли фермеры помешательство достоинством для руководителя. Добрую часть своего времени он проводил, копаясь в земле в русле высохших рек, а остальное время загадочно разглядывал содержимое маленькой коробочки. Явно он был колдуном, которому нельзя было доверять.

Прежде чем присоединиться к группе у костра, Бешеный Медведь долго и тщательно примерял свой церемониальный плащ из волчьей шкуры, пока шаман разрисовывал его лоб знаком тотема.

— Берегись! — торжественно провозгласил старый воин, когда глава племени торжественно вступил в круг огня. — Берегись, ибо Могущественный идет среди своих детей. Склони спины, о племя, ибо имя его Бешеный Медведь — имя, сулящее победу, ибо еще в юности он мог загнать медведя и голыми руками душил его, и воистину

все Северные земли знали о его свершениях…

Хонган Ос, не обращая внимания на велеречивые восхваления, присел к костру и взял кубок с кровью из рук старой женщины, прислуживавшей костру совета. Кровь была свежей и теплой, ибо ее только что выпустили из освежеванного оленя. Он осушил его, после чего повернулся к человеку с Востока, который с заметным беспокойством следил за возникшей краткой пирушкой.

— Аааааах! — сказал глава племени.

— Аааааах! — подхватили три старика вместе с поедателем травы, который постарался включиться в их хор. Несколько мгновений люди с отвращением смотрели на поедателя травы.

Сумасшедший постарался исправить промах своего товарища.

— Скажи, — сказал он, дождавшись, пока вождь племени сел, — как это получилось, что люди твоего племени не пьют воды? Запрещают ваши боги?

— Кто знает, что пьют боги? — пробурчал Бешеный Медведь. — Сказано же, что вода для коров и фермеров, молоко для детей, а кровь для мужчин. Разве может быть иначе?

Сумасшедший не оскорбился. Пару секунд он

не сводил с лица вождя испытующих серых глаз, а затем кивнул на одного из своих спутников.

— Эта «вода для коров» все объясняет, — сказал он. — Здесь постоянно властвует жажда. То небольшое количество воды, которое здесь есть, пастухи сохраняют для скота. Я пытался понять, нет ли здесь религиозного запрета.

Его спутник сделал гримасу и заговорил на тексарканском наречии.

— Воды! Господи, почему мы не можем пить воды, Тон Таддео? Я вижу, что вы слишком со многим соглашаетесь, — он с трудом сплюнул. — Кровь! Бр-р-р! Она застревает у меня в глотке. Почему мы не можем позволить себе маленький глоточек…

— Нет — пока мы не уедем отсюда!

— Но, Тон…

— Нет! — резко ответил ученый, а затем, заметив, что люди племени смотрят на них, снова обратился к языку Долин, заговорив с Бешеным Медведем.

— Мой товарищ говорил, какими мужественными и здоровыми выглядят ваши люди, — сказал он. — Наверно, у вас отличная пища.

— Ха! — рявкнул вождь, а потом, не пытаясь скрыть своего удовольствия, обратился к стару-

хе: — Дай чужеземцу чашу красного.

Спутник Тона Таддео передернулся, но даже не сделал попытки возразить.

— Я хочу, о Вождь, обратиться к твоему величию, — сказал ученый. — Завтра мы продолжим наше путешествие на Запад. Если кто-нибудь из твоих воинов мог бы сопровождать нас, мы сочли бы это за честь.

— Зачем?

Тон Таддео помолчал.

— Затем… ну, как проводники, — остановившись, он внезапно улыбнулся. — Я скажу всю правду. Кое-кому из твоих людей не нравится наше присутствие здесь. Пока нас охраняет твое гостеприимство…

Хонаган Ос откинул голову и зашелся от хохота.

— Они боятся других, мелких племен, — объяснил он старикам. — Они боятся, что, как только выйдут из моего вигвама, тут же попадут в засаду. Они едят траву и боятся сражений.

Ученый слегка покраснел.

— Ничего не бойся, чужеземец! — расхохотался вождь племени. — Тебя будут сопровождать настоящие мужчины.

Тон Таддео с насмешливой благодарностью

наклонил голову.

— Скажи нам, — продолжил Бешеный Медведь, — что ты разыскиваешь в Сухих Землях на западе? Новые места для пашен? Так я могу тебе сказать, что ты там ничего не найдешь. Если не считать нескольких колодцев, там ничего не растет, что может прокормить хотя бы корову.

— Мы не ищем новых земель, — ответил гость. — Мы вообще не фермеры, и ты должен это знать. Мы направляемся… — он помедлил. На языке язычников не было выражений, с помощью которых он мог бы объяснить цель своей поездки в аббатство святого Лейбовица, — за тайнами древнего волшебства.

Один из стариков, шаман, насторожил уши.

— Древнее волшебство на Западе? Я не знаю ни одного кудесника из тех мест. Разве что ты имеешь в виду тех, что ходят в черных одеждах?

— Именно их.

— Ха! Что у них за волшебство, на которое стоит смотреть? Мы хватаем их так легко, что это нельзя назвать и настоящим делом — хотя пытки они выдерживают отлично. Какой ворожбе ты хочешь у них научиться?

— Ну, с одной стороны, я согласен с тобой, — сказал Тон Таддео. — Но сказано в одной из

рукописей, что в их жилищах скрыты, м-м-м… заклинания большой силы. И если это правда, то, скорее всего, чернорясые даже на знают, как пользоваться ими, но мы надеемся, что обретем их для наших нужд.

— А позволят чернорясые тебе разузнавать их тайны?

Тон Таддео улыбнулся.

— Думаю, что да. Они не могут больше их скрывать. И если мы доберемся до них, мы их получим.

— Смело сказано, — пробурчал Бешеный Медведь. — Бывает, что и среди фермеров бывают смельчаки — хотя они сущие трусы по сравнению с настоящими людьми.

Ученый, который был уже сыт по горло оскорблениями из уст кочевников, предпочел пораньше пойти отдыхать.

Воины, оставшиеся у костра совета вместе с Хонганом Осом, обсуждали грядущую войну, запах которой уже носился в воздухе, но война эта не имела отношения к Тону Таддео. Политические амбиции его тупого кузена были далеки от его собственных интересов — вырвать знания из плена Темных Веков, хотя он не мог не понимать, что порой монаршее благоволение могло и

пользу приносить.

Глава 16

Старый отшельник стоял на краю плоской верхушки горы, наблюдая, как через пустыню движется грязноватое пятно. Пожевав губами, отшельник пробормотал про себя несколько слов и, подставляя лицо ветру, тихо хихикнул. Он был выжжен безжалостным солнцем до цвета старого пергамента. Древние морщины его задубели под солнцем, приобретя густо-коричневый цвет, а взлохмаченная борода кое-где у подбородка отливала желтизной. На нем была соломенная шляпа и набедренная повязка из домотканой мешковины, что представляло собой все его одеяние, если не считать сандалий и кожаного бурдюка для воды.

Он наблюдал за столбом пыли до тех пор, пока тот не втянулся в улочки деревни, а затем снова не показался на другом ее конце, направляясь к аббатству по дороге, которая вела мимо столовой горы.

— Ага! — фыркнул отшельник, и глаза его вспыхнули. — Его империя умножается, и он не жаждет мира: он хочет возглавить свое королевство.

Внезапно он двинулся вниз по высохшему руслу ручья, напоминая кота на трех лапах, поскольку опирался на посох, прыгая с камня на камень, он то и дело поскальзывался. Пыль, поднятая его торопливыми движениями, взлетала, подхваченная ветром, высоко в воздух и рассеивалась там.

У подножия горы его встретили густые заросли кустарника мескито, и он присел, решив подождать. Скоро он услышал приближающуюся неторопливую конскую рысь и стал продираться поближе к дороге. Из-за поворота показался пони, покрытый густым слоем пыли. Отшельник выскочил на дорогу и воздел руки.

— Олла-эллай! — крикнул он, кинувшись вперед. Он схватил поводья и встревоженно нахмурился, глядя на человека в седле. Глаза всадника вспыхнули на мгновение.

— Во имя Сына Божьего, что рожден для нас… — но возбуждение уступило место печали. — Это не Он, — раздраженно пробурчал отшельник, обращаясь к небу.

Всадник откинул капюшон и рассмеялся. Отшельник гневно посмотрел на него. Наконец он узнал его.

— А, это ты! — пробурчал он. — А я-то думал,

что тебя уж и нет на свете. Что ты тут делаешь?

— Хочу воздать тебе долги, Бенджамин, — сказал Дом Пауло. Он отвязал поводок, и из-под брюха пони на дорогу выскочил козленок с синей головой. Увидев отшельника, он заблеял и натянул поводок. — Ну и… я хотел бы навестить тебя.

— Животное это принадлежит Поэту, — мрачно сказал отшельник. — Он честно выиграл его — хотя скулил и жаловался немилосердно. Верни его обратно владельцу и позволь посоветовать тебе не вмешиваться в то всемирное свинство, что не имеет касательства к тебе. Будь здоров, — повернувшись, он двинулся обратно по ручью.

— Подожди, Бенджамин. Возьми своего козла, а то я отдам его крестьянам. Я не хочу, чтобы он бродил по аббатству и блеял в церкви.

— Это не козел, — возразил ему отшельник. — Это животное, о котором говорили ваши пророки, и он рожден женщиной, чтобы бегать по этой земле. Я предполагаю, что ты собираешься проклясть его и выгнать в пустыню. Тем не менее ты должен обратить внимание, что у него раздвоенные копыта, и он жует жвачку, — он снова было двинулся уходить.

Улыбка аббата исчезла.

— Бенджамин, неужели ты в самом деле уй-

дешь, даже не попрощавшись со старым другом?

— Привет, — не останавливаясь, с независимым видом сказал старый еврей. Затем он приостановился и глянул из-за плеча. — Тебе не стоит так волноваться, — сказал он. — Пять лет тому назад тебя уже посещали эти тревоги! Ха!

— Так оно и есть! — пробормотал аббат. Спешившись, он подошел к старому еврею. — Бенджамин, Бенджамин, я не мог не прийти…

Отшельник остановился.

— Коль ты уж здесь, Пауло…

Внезапно они рассмеялись и обняли друг друга.

— Ты хорошо сделал, старый ворчун, — сказал отшельник.

— Это я ворчун?

— Ну, и я становлюсь таким же. Последние сто лет нелегко дались мне.

— Я слышал, что ты бросал камни в послушников, которые направлялись в пустыню, чтобы выполнить свои Обеты. Неужели это правда? — он насмешливо посмотрел на отшельника.

— Только гальку.

— Жалкая старая развалина!

— Ну, ну, Пауло. Один из них издалека спутал меня с кем-то и назвал Лейбовицем. Он решил,

что я послан сюда, чтобы передать ему какое-то послание, — и мне кажется, что кое-кто из твоих прохвостов тоже так считает. Я не хотел, чтобы они так думали, и поэтому время от времени швырял в них камешки. Ха! С этим родственником у нас не будет ничего общего, потому что у нас нет общей крови, и я не хочу, чтобы нас путали!

Священник изумленно взглянул на него.

— С кем тебя спутали? Со святым Лейбовицем? Ну, Бенджамин! Ты зашел слишком далеко.

Бенджамин повторил сказанное, насмешливо подчеркивая каждое слово:

— Издалека меня спутали с кем-то по имени Лейбовиц, поэтому я и кидал в них камни.

Дом Пауло был совершенно сбит с толку.

— Святой Лейбовиц мертв уже не меньше двенадцати столетий. Как можно… — он оборвал фразу и устало уставился на отшельника. — Слушай, Бенджамин, давай не будем начинать сначала все эти сказки. Ведь ты не жил двенадцать столе…

— Чепуха! — прервал его старый еврей. — Я бы не сказал, что это было двенадцать столетий назад. Прошло только шестьсот лет. Ваш святой давно был мертв, и поэтому вся эта история совершенно нелепа. Конечно, в те времена ваши

послушники были куда набожнее, благочестивее и более доверчивы. Я вспоминаю, что его звали Френсис. Бедный парень. Потом мне пришлось его хоронить. Расскажи им там в Новом Риме, где можно найти его останки. Ты можешь обрести его скелет.

Аббат не отрываясь смотрел на старика, пока пробирался сквозь заросли к источнику, ведя на поводу пони и таща за собой козленка. «Френсис? — задумался он. — Да, Френсис. Вероятно, то мог быть досточтимый Френсис Джерард из Юты, тот самый, кому, как рассказывает древняя история, которую знают в деревне, какой-то пилигрим показал, где находится тайное убежище. Но это было еще до появления деревни. Да, прошло в самом деле шесть столетий — а теперь этот старый шут утверждает, что он и был тем пилигримом?». Порой аббат задумывался, откуда Бенджамин так хорошо знает всю историю аббатства, которая и позволяет ему выдумывать подобные истории. Скорее всего, от Поэта.

— Это было в начале моего пути, — продолжил Бенджамин, — поэтому ошибка эта вполне понятна.

— В начале пути?

— Странника.

— Неужели ты думаешь, что я поверю во всю эту чушь?

— Хм-м-м… А вот Поэт верит.

— Еще бы! Поэт никогда в жизни не поверит, что досточтимый Френсис встретил святого. Такая встреча слишком подозрительна. Поэт скорее поверит, что Френсис встретил тебя шесть столетий назад. Совершенно естественное объяснение, не так ли?

Бенджамин утомленно вздохнул. Пауло смотрел, как он подставил под слабую струйку воды грубо вырезанную деревянную чашку, вылил ее в бурдюк и снова наклонился. Легкие струйки, то исчезающие, то вновь пробивающиеся на поверхность, своей неопределенностью напоминали память этого старого еврея. «Но так ли уж смутны его воспоминания? Неужели он всех нас водит за нос?» — подумал священник. Если не считать его заблуждений, что он старше Мафусаила, Бенджамин Элеазар казался вполне здоровым, даже когда бывал предельно утомлен.

— Выпьешь? — спросил отшельник, предлагая чашку.

Аббат подавил внутреннюю дрожь, но принял чашку без возражений и одним глотком осушил мутноватую жидкость.

— Не очень вкусно, не так ли? — сказал Бенджамин, критически оглядывавший его. — Но меня это не волнует, — он потрепал вздувшийся бурдюк. — Для животных.

Аббат слегка хихикнул.

— А ты изменился, — сказал Бенджамин, по-прежнему пристально глядя на него. — Ты высох и стал белым, как сыр.

— Я болен.

— Ты и выглядишь больным. Пошли в мою хижину, если подъем не очень утомил тебя.

— Сейчас я приду в себя. Мне пришлось слегка поволноваться за эти дни, и наш врач сказал, чтобы я отдохнул. Если бы не ожидалось прибытия важных гостей, я бы не обратил на него внимания. Но гость приезжает, и поэтому я в самом деле решил отдохнуть. Прием будет достаточно утомительным.

Они карабкались вверх по руслу ручья, и Бенджамин с улыбкой обернулся на него, покачав взлохмаченной головой.

— Путешествие верхом десять миль через пустыню ты считаешь отдыхом?

— Для меня это в самом деле отдых. И мне хотелось увидеть тебя, Бенджамин.

— А что скажут деревенские? — насмешливо

спросил старый еврей. — Они решат, что мы с тобой примирились, и это подорвет репутацию нас обоих.

— Наши репутации никогда не ценились слишком высоко на рыночной площади, не так ли?

— Верно, — признал он и добавил загадочную фразу: — В наше время.

— Ты все еще ждешь, старый еврей?

— Конечно! — фыркнул отшельник.

Аббат почувствовал, что подъем начинает его утомлять. Дважды они останавливались, чтобы передохнуть. К тому времени когда они достигли ровного места, он совершенно выбился из сил и был вынужден опереться на руку отшельника, чтобы прийти в себя. В груди начинало полыхать пламя, предупреждая, что больше он ничего не может себе позволить, но, слава Богу, не было жестоких спазм, терзавших его несколько ранее.

Стайка синеголовых козлов-мутантов, увидев подходившего чужака, скакнула в заросли. Как ни странно, плоская верхушка горы оказалась куда более плодоносной и зеленой, хотя вокруг не было видно источника влаги.

— Вот сюда, Пауло. В мою хижину.

Жилище старого еврея представляло собой одну комнату без окон, с каменными стенами, сложен-

ными из валунов, в которых виднелись широкие щели, дававшие открытый доступ ветру. Крыша представляла собой груду веток (большинство из которых были искривлены), заваленных кучами травы, соломы и прикрытых козлиными шкурами. На большом плоском камне, лежащем у входа, была вырезана надпись на иврите.

Размер надписи и ее явное стремление обратить на себя внимание заставили аббата улыбнуться и спросить у Бенджамина:

— Что тут сказано, Бенджамин? Приносит ли она пользу тут?

— Ха — что тут сказано? Тут сказано — Шатры Раскинем Здесь.

Хмыкнув, священник выразил свое недоверие.

— Ладно, можешь мне не верить. Но если ты не веришь в эти слова, трудно ожидать, что ты поверишь в то, что написано на другой стороне камня.

— Той, что повернута к стене?

— Обычно она так и повернута.

Камень лежал так близко у порога, что между стеной и плоской его поверхностью было всего несколько дюймов свободного пространства. Пауло нагнулся и прищурился, вглядываясь в него. Ему понадобилось для этого некоторое

время, но вскоре он смог разобрать надпись на тыльной стороне камня, сделанную маленькими буквами.

— Ты поворачивал камень?

— Поворачивал? Ты думаешь, я сошел с ума? В такие времена?

— А что сказано там?

— Хм-м-м… — пробурчал отшельник, уходя от ответа. — Но трудись дальше, коль скоро ты не можешь все прочитать, что там кроется.

— Мешает стена.

— Она всегда мешала, разве на так?

Священник вздохнул.

— Хорошо, Бенджамин. Я знаю, что там могло быть, поскольку ты решил написать это «у входа и для двери» своего дома. Но только тебе могло прийти в голову повернуть камень.

— Повернуть наружу, — поправил его отшельник. — И так он будет лежать, пока здесь будет раскинутый шатер сынов Израилевых… Но давай, коль скоро ты уж решил отдохнуть, не будем дразнить друг друга. Я налью тебе молока, а ты мне расскажешь о госте, прибытие которого тебя так беспокоит.

— У меня в суме есть немного вина, если ты хочешь, — сказал аббат, с облегчением опускаясь

на подстилку из шкур. — Но я предпочел бы не говорить о Тоне Таддео.

— Так это, значит, он…

— Ты слышал о Тоне Таддео? Скажи мне, как ты ухитряешься знать все и всех, не показываясь со своего холма?

— Кто слышит, а кто и видит, — загадочно ответил отшельник.

— Тогда поведай, что ты о нем думаешь?

— Я его не видел. Но мне кажется, что с ним будут связаны муки и страдания. Может, это будут родовые муки — и все же…

— Родовые? Ты в самом деле веришь, что нас ждет новое Возрождение, как кое-кто говорит?

— Хм-м-м…

— Да перестань ты загадочно ухмыляться, старый еврей, и скажи мне свое мнение на этот счет. Оно у тебя обязательно есть. У тебя всегда есть свое мнение. Но почему так трудно добиться твоего доверия? Разве мы не друзья?

— Определенным образом, определенным образом. Но у нас с тобой есть и различия, у тебя и у меня.

— Какое отношение имеют наши различия к Тону Таддео и к Ренессансу, который оба мы хотим увидеть? Тон Таддео — светский ученый, и то, что

нас разделяет, его, скорее всего, не интересует.

Бенджамин красноречиво пожал плечами.

— Различия, светский ученый, — эхом отозвался он, щупая слова на вкус, как подгнившие яблоки. — И меня, были времена, называли «светским ученым» некоторые люди, но пришло время, и я был побит за это камнями, сожжен и погребен.

— Ты же никогда… — священник замолчал и сурово нахмурился. Опять это сумасшествие. Бенджамин с подозрением смотрел на него, и в его улыбке стал чувствоваться холодок. «Ныне, — подумал аббат, — он смотрит на меня, словно я был одним из Них. И кем бы ни были эти Они, их стараниями Бенджамин обречен на одиночество. Побит камнями, сожжен и погребен? Или же говоря “Я”, он имел в виду “Мы”, как в формуле “Я, мой народ”?»

— Бенджамин — Я Пауло. Торквемада давно мертв. Я родился семьдесят с лишним лет назад и скоро умру. Я люблю тебя, старик. И когда ты смотришь на меня, мне бы хотелось, чтобы ты видел Пауло из Пеко — и никого иного.

На мгновение Бенджамин дрогнул. Глаза его увлажнились.

— Порой я… я забываю…

— И порой ты забываешь, что Бенджамин — это только Бенджамин, а не Израиль.

— Никогда! — вспыхнув, вскочил отшельник. — За все тридцать два столетия я... — он остановился, плотно сжав губы.

— Но почему? — едва не теряя сознания от благоговейного ужаса шепнул аббат. — Но почему ты в одиночку тащишь через столетия весь груз народа и его прошлого?

В глазах отшельника вспыхнул огонек, предупреждающий, что дальше двигаться не стоит, но он лишь сглотнул хриплый горловой звук и опустил лицо на руки.

— Ты удишь рыбу в темной водице.

— Прости меня.

— Этот груз — он был взвален на меня другими, — он медленно поднял глаза. — Мог ли я отказаться нести его?

Священник с трудом втянул в себя воздух. Долгое время в убежище стояло полное молчание, нарушавшееся только свистом ветра. «Это сумасшествие отмечено печатью божественной благодати!» — подумал Дом Пауло. В те времена еврейская община почти растворилась. Бенджамин, скорее всего, пережил своих детей и каким-то образом стал отверженным. Такой ста-

рый израильтянин мог странствовать годами, не встречая никого из своих соплеменников. Возможно, в своем одиночестве на него снизошло тихое убеждение, что он последний, что он один и что он единственный. И, став последним, он отказался быть Бенджамином, чувствуя себя Израилем. И в сердце его ныне живет пятитысячелетняя история, которая стала историей его собственной жизни. Поэтому его «Я» превратилось в «Мы» с заглавной буквы.

«Но ведь и я, — подумал Дом Пауло, — член ордена одиночества, часть паствы, что уходит в бесконечность. Ведь и меня презирает мир. Ведь и я ясно вижу различие между собой, личностью и народом. Для тебя, старый мой друг, когда-то это стало отъединенностью от мира. Ноша, возложенная на тебя другими? И ты принял ее? Сколько она должна была весить? Сколько она весит для меня? Ты подставил свою спину под нее и попытался поднять, ощущая ее груз; я монах христианского ордена и священник его, но и я несу ответственность перед богом за дела и мысли каждого монаха и пастыря, что когда-либо ступали по земле со времен рождения Христа, не говоря уж о своих собственных».

Дрожь прошла по его телу, и так он сидел, по-

качивая головой.

Нет, нет. Такая ноша переламывает спину. Она слишком тяжела для одного человека, и только Христос мог справиться с ней. Подвергаться поношениям за веру — этого одного достаточно. Но если еще можно выносить эти поношения, то хватит ли сил выносить понимание, что проклятия в твой адрес ни на чем не основаны, что их озлобленная глупость обращена не только к тебе, но и на каждого человека одной с тобой веры или твоего племени, когда слова и поступки каждого из них приписываются тебе? И принимать все это, как Бенджамин пытался делать?

Нет, нет.

И все же вера, которой поклонялся Дом Пауло, говорила, что такая ноша в самом деле лежала на чьих-то плечах, лежала со времен Адама, и возложена она была злым духом, который насмешливо воззвал к Человеку, оповестив его, что за деяния всех и каждого он ныне будет нести ответственность, ноша, тяжесть которой будет переходить из поколения в поколение. И пусть дураки спорят об этом, те дураки, которые с наслаждением и с удовольствием принимают на себя другое наследство — древней славы, побед и триумфов, они полны тщеславного достоин-

ства, с которым гордятся этим наследством «по праву благородного рождения», и никому из них нимало не приходит в голову, что он и пальцем не шевельнул для получения наследства, если не считать того, что ему повезло быть рожденным Человеком. Он возмущенно протестует по поводу унаследованной ноши, которая заставляет его чувствовать себя «виновным и отверженным по праву рождения», и затыкает уши, не желая слышать ни слова из этого приговора. Да, ноша в самом деле тяжела. Его вера гласила, что облегчить ее может лишь Тот, чей образ смотрит на него с креста над алтарем, хотя ощущение непомерной тяжести все равно останется. Но ощущение это можно считать легчайшим ярмом, если сравнить его с грузом тяготеющего проклятия. Он не мог заставить себя поделиться своими мыслями со стариком, ибо тот и так знал, о чем он сейчас думает. Бенджамин алкал встретить Другого. И последний в этом мире старый еврей сидел в одиночестве на вершине горы в ожидании Мессии, неся кару за Израиль, и ждал, и ждал, и…

— Бог да благословит тебя и твою мужественную глупость. Впрочем, ты мудрый дурак.

— Хм-м-м! Мудрый дурак! — скорчил гримасу

отшельник. — Ты всегда был специалистом по парадоксам и загадкам, Пауло, не так ли? Если ты не видел противоречий в ситуации, она тебя даже не интересовала, верно? Ты должен был обязательно найти Тройственность в Единстве, жизнь в смерти, мудрость в глупости. В противном случае для тебя все было слишком обыденно.

— Обладать чувством ответственности — это мудрость, Бенджамин. А думать, что сможешь вынести все в одиночку — это глупость.

— Но не сумасшествие?

— Может, чуть-чуть. Но это сумасшествие мужественности.

— Тогда я открою тебе небольшую тайну. Давным-давно мне было известно, что я не смогу вынести эту ношу, пусть даже Он и призвал меня. Не об одном и том же мы говорим с тобой?

Священник пожал плечами.

— Ты можешь называть это ношей избранничества. Я могу называть это ношей Первородной Вины. В любом случае, и то и другое связано с ответственностью, хотя мы можем по-разному оценивать меру ее и яростно спорить, что означают те или иные слова, определяющие предмет, но ведь предмета спора по-настоящему не существует, ибо его может понять лишь мертвое

молчание сердца.

Бенджамин хмыкнул.

— Что ж, я рад убедиться, что ты наконец признал это, хотя ранее ты никогда не говорил таких слов.

— Перестань болтать, нечестивец.

— Но ведь и вы всегда извергаете обильные потоки слов, хитроумно защищая свою Троицу, хотя Он никогда не нуждался в такой защите с тех пор, как предстал передо мной Единым и Неразделенным. А?

Священник побагровел, но ничего не сказал.

— Вот оно! — завопил Бенджамин, подпрыгивая на месте. — Наконец я вызвал в тебе желание спорить! Ха! Но не обращай внимания! Сам я пользуюсь всего лишь несколькими словами, и у меня никогда нет уверенности, что мы с Ним имеем в виду одно и то же. Я очень надеюсь, что на тебя проклятие никак не обрушится, ибо получить его от Троицы будет куда болезненнее, чем от Единого.

— Проклятый старый кактус! Мне в самом деле нужно выслушать твое мнение о Тоне Таддео и обо всей этой компании.

— Зачем тебе нужно мнение бедного старого анахорета?

— Потому, Бенджамин Элеазар бар-Иешуа, если все эти годы ожидания появления Того-Кто-Не-Приходит и не дали тебе мудрости, они хотя бы научили тебя проницательности.

Старый еврей закрыл глаза, задрал лицо к небу и хитро улыбнулся.

— Оскорбляй меня, кричи на меня, унижай меня, преследуй меня — но знаешь, что я скажу?

— Ты скажешь: «Хм-м-м!».

— Нет! Я скажу, что Он уже здесь. Мне довелось увидеть мельком его облик.

— Что? Что ты болтаешь? О Тоне Таддео?

— Нет! Не только о нем. Я не собираюсь заниматься пророчествами, пока ты не скажешь мне, что тебя волнует, Пауло.

— Ну, все началось с лампы брата Корнхоера.

— С лампы? Ах да, Поэт упоминал о ней. Он вещал, что из нее ничего не получится.

— Поэт, как обычно, ошибался. Сам я ничего не видел, но мне сказали, что все в порядке.

— Значит, она загорелась? Прекрасно. И что тогда началось?

— И теперь я ломаю себе голову — насколько далеки мы от края пропасти? Или как близко берег? Электрическая субстанция у нас в подвале. Понимаешь ли ты, как много переменилось за

последние два столетия?

И пока отшельник латал полог, священник стал рассказывать о своих страхах и опасениях, так они сидели, беседуя, пока лучи опускающегося солнца не стали отбрасывать в пыльном воздухе длинные тени от западной стены аббатства.

— С тех дней, когда погибла последняя цивилизация, Меморабилия была нашей главной заботой, Бенджамин. Мы сохранили ее. Но что нас ждет? Я чувствую себя в положении сапожника, который будет пытаться продавать обувь в деревне, где все тачают ее.

Отшельник улыбнулся.

— Ему может повезти, если он умеет тачать обувь более высокого качества.

— Боюсь, что светские ученые тоже приходят к такому же выводу.

— Тогда брось свое сапожное ремесло, пока ты окончательно не разорился.

— Такая возможность существует, — признал аббат. — Хотя думать о ней не очень приятно. В течение двенадцати столетий мы были островком света в океане тьмы. Хранение наших собраний было бесцельно, но, как мы думали, оно было освящено свыше. В ней была мирская суть наших занятий, но мы всегда были собирателями

и запоминателями книг, и невыносимо думать, что труды наши скоро подойдут к концу — скоро в них отпадет необходимость. Я как-то не могу поверить в это.

— И поэтому ты позволил другому «сапожнику» возвести это странное сооружение у себя в подвале?

— Должен признать, что все выглядит именно так…

— Что ты собираешься предпринять, дабы опередить светскую науку? Построить летающую машину? Или возродить к жизни «махина аналитика»? Или, может, вывихнуть всем мозги и удариться в метафизику?

— Ты позоришь меня, старый еврей. Ты же знаешь, что первым делом все мы Христовы монахи, а то, что ты предлагаешь, подходит другим, а не нам.

— Я отнюдь не позорю тебя. Я не вижу ничего неподобающего в том, что Христовы монахи возьмутся строить летающую машину, хотя им больше подобало бы строить молитвенную машину.

— Провалиться бы тебе! Я наложу епитимью на всех монахов ордена за то, что они слишком много болтают с тобой!

Бенджамин ухмыльнулся.

— Симпатии к тебе я не испытываю. Книги, собранные вами, покрыты пылью веков, но они были написаны на заре человечества, детьми мира, и дети же мира возьмут их у тебя, и у тебя нет никакого права мешать им в этом.

— Ага, значит, ты начал пророчествовать!

— Отнюдь. «Скоро взойдет солнце» — разве это пророчество? Нет, это всего лишь признание последовательности событий. Дети мира по-своему тоже логичны — поэтому я и утверждаю, что они извлекут все, что ты можешь им предложить, отстранят тебя от дел, а затем объявят тебя жалкой развалиной. В конце концов они вообще перестанут обращать на тебя внимание. И отвечать за это будешь только ты сам. Теперь ты будешь пожинать плоды своей собственной медлительности.

Говорил он с насмешливым легкомыслием, но его предсказания пугающе совпадали со страхами Дома Пауло. Лицо священника опечалилось.

— Не обращай на меня внимания, — сказал отшельник. — Я не рискую предсказывать ход событий, пока не разберусь в той штуке, что у вас в подвале, или хотя бы не брошу взгляда на этого Тона Таддео, который, кстати, начинает интере-

совать меня. И если тебе в самом деле нужен мой совет, подожди, пока я в деталях не познакомлюсь с тем, что значит приход новой эры.

— Но ты же не сможешь увидеть лампочку, потому что ты никогда не приходишь в аббатство.

— Потому что вы там омерзительно кормите.

— И ты не встретишь Тона Таддео, потому что он приедет с другой стороны. И если ты хочешь присутствовать при появлении новой эры еще до ее рождения, то с пророчеством о ее рождении ты уже опоздал.

— Чушь. Щупание набухающего чрева будущего может повредить ребенку. Я буду ждать — а затем все услышат от меня пророчество, что оно родилось, и что оно — не то, чего я ждал.

— Забавная у тебя точка зрения! Но чего же ты ждешь?

— Кого-нибудь, кто позвал бы меня.

— Позвал бы?

— Рискни!

— Что за вздор!

— Хм-м-м! Говоря по правде, я не очень верю в то, что Он явится, но мне было сказано ждать и, — он пожал плечами, — я жду, — его глаза сузились до неразличимых щелок, и с внезапной серьезностью он наклонился вперед. — Пауло, возьми с

собой Тона Таддео на пешую прогулку к горе.

Аббат с насмешливым ужасом откинулся назад.

— Гонитель послушников! Фигляр от пилигримов! Я пришлю к тебе Поэта — и пусть он расположится у тебя и почит тут навеки. Привести Тона к твоей берлоге! Ты из ума выжил!

Бенджамин снова пожал плечами.

— Отлично. Забудь о моей просьбе. И да не покинет тебя надежда, что, когда придет время, Тон будет на твоей стороне, а не на стороне других.

— Других, Бенджамин?

— Кира, Навуходоносора, Фараона, Цезаря, Ханнегана Второго — нужно ли мне продолжать? Когда рядом с любым из них трутся пять умных человек, они становятся куда опаснее. Это все, что я могу тебе сказать. Это единственный совет, который я дам тебе.

— Ну, Бенджамин, хватит с меня — последние пять лет ты меня так мучил, что…

— Оскорбляй меня, кричи на меня, унижай меня…

— Прекрати. Я ухожу, старик. Уже поздно.

— Вот как? А как твой живот, на котором лежит проклятие, выносит верховую езду?

— Мой желудок?.. — остановившись, чтобы

прислушаться к своим ощущениям, Дом Пауло обнаружил, что чувствует себя куда лучше, чем в предшествовавшие недели. — Конечно, там сущая кутерьма, — пожаловался он. — Да и что иное может там быть после того, как послушаешь тебя?

— И то правда…

— Бог тебе в помощь, старик. И после того как брат Корнхоер придумает летающую машину, я пошлю несколько послушников, чтобы они сверху кидали в тебя камни.

Они тепло обнялись. Старый еврей проводил до края плоской площадки на вершине горы и остался стоять тут, закутавшись в молитвенное покрывало, плотная ткань которого так контрастировала с лохмотьями, препоясавшими его чресла; он смотрел, как аббат спускался по тропе, откуда затрусил к аббатству. И Дом Пауло еще долго видел на фоне заходящего солнца его сухопарую фигуру, словно его силуэт, вырисовывающийся на фоне сумеречного неба, посылал молитвы пустыне и небосводу.

«Да вознесутся к твоему престолу, о, Господи, все наши моления, — словно в ответ ему прошептал аббат, добавив: — И пусть он наконец выиграет в блошки у Поэта его искусственный

глаз. Аминь».

Глава 17

— Могу сказать тебе совершенно точно: война будет, — промолвил посланец из Нового Рима. Все силы Ларедо нацелены на Долины. Бешеный Медведь разбил свой лагерь. По всему пространству Долин идут стычки всадников, в типичном для кочевников стиле. Но государство Чихуахуа угрожает Ларедо с юга. Поэтому Ханнеган готов послать армию Тексарканы к Рио-Гранде — чтобы помочь «оборонять» границы. Конечно, с полного согласия ларедонцев.

— Король Горальди — слабоумный дурак! — сказал Дом Пауло. — Неужели его не предупреждали, что Ханнеган предаст его?

Посланник улыбнулся.

— Дипломатическая служба Ватикана всегда уважает государственные секреты, если ей доводится узнать их. Менее всего нас можно обвинить в шпионаже. Мы всегда тщательно заботимся о…

— Он предупрежден? — настойчиво переспросил аббат.

— Конечно. Горальди сказал, что папский легат лжет ему, он обвинил Церковь, что та разжигает подозрительность и враждебность между

союзниками по Договору святого Бича, стараясь укрепить временную власть папы. И этот идиот даже рассказал Ханнегану о полученном им предупреждении.

Дом Пауло прищурился и свистнул.

— И что сделал Ханнеган?

Посланник помедлил.

— Мне казалось, что я вам говорил: монсиньор Аполло арестован. Ханнеган приказал изъять его дипломатическую переписку. В Новом Риме идут разговоры об отлучении от Церкви всего королевства Тексарканы. Конечно, Ханнеган уже фактически подвергнут отлучению, но большинство тексарканцев это не очень волнует. Как вы, без сомнения, знаете, восемьдесят процентов населения придерживается различных культов, да и среди правящего класса католики составляют незначительное количество.

— Итак, значит, Маркус, — грустно пробормотал аббат. — А что о Тоне Таддео?

— Откровенно говоря, я плохо представляю себе, как он ныне проберется через Долины, не получив пару дыр от мушкетных пуль. Теперь мне ясно, почему он не хотел отправляться в путешествие. Но я ничего не знаю о его планах, отец аббат.

Морщины на лице Дома Пауло искривились гримасой боли.

— Если наш отказ выслать материалы университету приведет к его гибели…

— Не ломайте себе голову над этим, отец аббат. Ханнеган сам позаботится о нем. Я не знаю, как это произойдет, но уверен, что Тон Таддео доберется до вас.

— Мир будет очень опечален, если потеряет его, насколько я слышал. Но скажите мне, почему вас послали к нам, чтобы сообщить планы Ханнегана? Мы принадлежим к империи Денвера, и я не вижу причин, по которым данный регион должен испытывать тревогу.

— Ах, я же вам начал рассказывать. Ханнеган надеется наконец объединить весь континент. Надежно привязав к себе Ларедо, он собирается сокрушить окружение, которое сковывает его. И тогда он двинется на Денвер.

— Но ведь это значит, что линии снабжения у него пройдут через места обитания кочевников. Это же невозможно.

— Страшно трудно, и поэтому следующий его ход неизбежен. Долины представляют собой естественный географический барьер. Если они будут очищены от своих обитателей, Ханнеган может

считать свою западную границу совершенно надежной. Но присутствие на этих территориях кочевников делает для всех примыкающих к Долинам стран неизбежным содержание войск на их границах для сдерживания кочевых орд. И единственный путь для подчинения Долин заключается в том, что надо контролировать обе его плодородные полосы, и с запада, и с востока.

— Но даже в этом случае, — удивился аббат, — кочевники…

— У Ханнегана есть для них поистине дьявольский план. Воины Бешеного Медведя могут легко справиться с кавалерией ларедонцев, но вот коровью чуму одолеть они не в состоянии. Племена Долин еще не знают, что когда Ларедо бросит силы, чтобы покарать их за разбойничьи набеги, они погонят с собой несколько сот голов зараженного скота, которые смешаются со стадами кочевников. Это идея Ханнегана. В результате разразится голод, при котором будет легче легкого натравить одно племя на другое. Мы, конечно, не знаем всех деталей, но идея заключается в том, что будет создан легион кочевников под командованием какой-нибудь марионетки, вооруженной Тексарканой, преданной Ханнегану и готовой смерчем пройти на запад вплоть до гор.

— Но зачем? Ведь Ханнеган, конечно, не ожидает, что варвары составят преданное ему войско или будут способны управлять империей после того, как уничтожат ее?

— Нет, милорд. Но кочевые племена будут уничтожены, а Денвер потрясен до основания. Обломки того и другого достанутся Ханнегану.

— И что с ними делать? Особым богатством такая империя отличаться не будет?

— Нет, но со всех сторон она будет в безопасности. Положение у нее будет довольно благоприятное, если она решит двинуться на восток или на северо-восток. Конечно, прежде чем дойдет до этого, планы могут рухнуть. Но в любом случае в недалеком будущем этот район будет подвергаться серьезной опасности. В течение нескольких последних месяцев необходимо будет предпринять определенные шаги, чтобы обезопасить аббатство. У меня есть инструкции обсудить с вами меры, необходимые для спасения Меморабилии.

Дом Пауло почувствовал, что тьма вокруг него начинает сгущаться. После двенадцати столетий тьмы над миром забрезжила слабая надежда — и тут появляется некий неграмотный принц, который хочет раздавить ее своими конными ордами

варваров, и…

Он с грохотом ударил кулаком по столу.

— Мы хранили эти книги в своих стенах тысячу лет, — прорычал он, — и будем хранить еще тысячу лет. Аббатство трижды подвергалось осаде во время вторжения Бейрингов и один раз во время виссарионистской ереси. Мы сохраним книги. Мы знаем, как сберечь их.

— Но ныне вам угрожает другая опасность, милорд.

— В чем же она заключается?

— В том, что у вас может на хватить запасов пороха и картечи.

Праздник Успения пришел и закончился, но по-прежнему не было слышно ни слова о делегации из Тексарканы. К священникам аббатства толпами пошли странники, которые являлись в аббатство по обету. Дом Пауло отказывался даже от легкого завтрака, и поползли слухи, что он сам наложил на себя епитимью за то, что, несмотря на опасность, которая угрожала обители с Долин, все же пригласил ученого.

Впередсмотрящие на башнях не покидали своих постов. И сам аббат нередко поднимался на стены, всматриваясь в дали, простиравшиеся от аббатства к востоку.

Незадолго до того, как Вечерняя звезда ознаменовала приход праздника в честь святого Бернарда, один из послушников оповестил, что видел вдали легкий столб пыли, но сгущающаяся тьма не позволила приглядеться. Вскоре отзвучало повечерие и «Славься, Богородица», но в воротах никто так и не появился.

— Может быть, это был лишь их передовой отряд, — предположил Приор Галт.

— Но это могло быть и воображение брата стражника, — возразил Дом Пауло.

— Но если они стали лагерем милях в десяти или около того…

— Тогда мы увидели бы их костер с башни. Ночь сегодня ясная.

— И все же, господин наш, когда поднимется луна, мы могли послать туда всадника…

— О нет. Лучшая возможность быть пристреленным по ошибке. Если это в самом деле они, то всю дорогу они, скорее всего, держат пальцы на курках, особенно по ночам. Можем подождать до рассвета.

Было уже позднее утро, когда с восточной стороны появилась долгожданная группа всадников. Дом Пауло стоял на стене, щуря близорукие глаза и стараясь что-нибудь разглядеть на выжженной

равнине. Ветер относил пыль из-под лошадиных копыт к северу. Группа остановилась у стен, и прозвучал звук рога.

— Мне кажется, что их там человек двадцать или тридцать, — пожаловался аббат, протирая утомившиеся глаза. — Неужели их и в самом деле так много?

— Примерно так, — сказал Галт.

— Как мы их всех примем?

— Не думаю, что нам придется заботиться о тех, кто носит на плечах волчьи шкуры, милорд аббат, — твердо сказал молодой священник.

— Волчьи шкуры?

— О кочевниках, милорд.

— Все на стены! Закрыть ворота! Поднять щиты!

— Подождите, там не все кочевники, господин наш.

— А? — Дом Пауло снова повернулся, чтобы вглядеться в прибывших.

Приветственные звуки рога смолкли. Всадники махали руками, и группа разделилась. Большая часть галопом понеслась к востоку. Оставшиеся, посмотрев им вслед, рысью направились к аббатству.

— Их шесть или семь человек, и некоторые в

мундирах, — пробормотал аббат, когда всадники приблизились.

— Тон и его сопровождение, как я думаю.

— Но с кочевниками? Хорошо, что я не послал им навстречу всадника прошлой ночью. Что у них общего с кочевниками?

— Возможно, они были у них проводниками, — угрюмо сказал приор Галт.

— Так же как лев может возлежать рядом с ягненком!

Всадники подъехали к воротам. Дом Пауло почувствовал, что у него пересохло во рту.

— Что ж, идемте встречать их, отец, — вздохнул он.

К тому времени когда священники спустились со стен, всадники уже въехали во двор аббатства. Один из них отделился от всех прочих, подъехал поближе и, спешившись, вынул свои бумаги.

— Дом Пауло из Пеко, аббат?

Аббат склонил голову.

— Приветствую тебя. Добро пожаловать во имя святого Лейбовица, Тон Таддео. Добро пожаловать во имя его аббатства, во имя сорока поколений, которые ждали вашего прибытия. Будьте как дома. Мы — ваши слуги.

Слова эти шли из глубин сердца, где много лет

ждали этого момента. Услышав в ответ невнятное односложное бормотание. Дом Пауло медленно поднял глаза.

На мгновение их взгляды встретились, и теплота этой минуты мгновенно исчезла. Какие ледяные глаза — холодные и испытующие. Недоверчивые, голодные и гордые. Они изучали его, как смотрят на ветхую древность.

«Эта минута может перебросить мост над пропастью, отделяющей двенадцать столетий», — взмолился про себя Дом Пауло, страстно желая, чтобы через него последний погибший мученик-ученый мог бы подать руку грядущему дню. Пропасть в самом деле существовала, и аббат внезапно почувствовал, что он принадлежит не к этому столетию, а бредет по песчаным берегам Реки Времени в поисках того моста, которого не существует.

— Входите, — вежливо сказал он. — Брат Висклер позаботится о ваших лошадях.

Когда он, убедившись, что гости достойно приняты и размещены в своих помещениях, уединился в своем кабинете, улыбка на лице деревянного святого странно напоминала ему усмешку старого Бенджамина Элеазара, сказавшего: «У детей этого века есть своя логика».

Глава 18

— А теперь настало время Книги Иова, — сказал брат-чтец, всходя на аналой в трапезной.

И когда Сын Божий предстал перед Господом, Сатана тоже оказался обок его.

И Господь сказал ему: «Откуда явился ты, Сатана?».

И Сатана ответил ему, как встарь: «Я обошел вокруг земли, и всюду ступала нога моя».

И Господь сказал ему: «Убедился ты, что принц простой и благородный, слуга мой Имярек, ненавидит зло и преклоняется перед миром и благоденствием?».

И ответ Сатаны гласил: «Не тщетно ли Имярек боится Господа? Ибо ты не благословил его длань силой и не дал ему могущество средь прочих народов. Но шевельни лишь десницей своей, изыми у него то, чем он владеет, дай силу его врагам, и тогда ты увидишь, не будет ли он богохульствовать перед ликом твоим».

И Господь сказал Сатане: «Обозри вла-

дения его и уменьши их. И сам ты все увидишь».

И Сатана скрылся с глаз Господних и вернулся в мир.

И теперь принц Имярек не походил уж на святого Иова, ибо когда земли его стали сотрясаться от бед и тревог, и люди его стали терять свои богатства, когда он увидел, что враги его обретают могущество, впал он в великий страх и стала уменьшаться его вера в Бога, и стал он думать про себя: «Я должен уничтожить врагов моих, прежде чем они обрушатся на меня, а я даже не успею взять меч в руки…»

— Вот так оно и было в те дни, — сказал братчтец.

Ибо принцы земли нашей ожесточили сердца свои против закона Господа нашего, и гордости их не стало предела. И каждый из них наедине с собой думал, что лучше бы всем им погибнуть, чем подчиниться воле одного из принцев, который будет господствовать над ними. Ибо все они боролись за власть на земле, которая влекла их; обманом и предательством

восседали они на тронах своих, но перед угрозой войны они склонялись, трепеща, ибо Господь Бог наш сподобил мудрейших людей знанием того, как разрушить мир дотла, и вложил в руки их оружие архангела, которым был повержен Люцифер, и перед мощью его люди и принцы должны были бояться Бога, склоняясь перед его непостижимым величием. Но они не склонились перед ним.

И Сатана обратился к некоторым принцам, говоря им: «Не опасайся обнажить меч, ибо ученые люди лгут тебе, говоря, что мир будет тем самым разрушен дотла. Не бойся советов слабейших, ибо они трепещут перед тобой и служат врагам твоим, хватая тебя за руку, дабы ты не мог воздеть ее против врагов своих. Ударь первым — и ты будешь править всем и вся».

И принц сей последовал словам Сатаны, и собрал всех мудрецов своих владений и воззвал к ним, чтобы они дали ему совет, каким путем уничтожить ему всех врагов, чтобы не навлечь мор и глад на свое королевство. Но большинство мудрецов

сказали; «Господин наш, это невозможно, ибо враги ваши также имеют такой же меч, который мы вручили тебе, и ярость его — суть пламя ада, и стоит лишь дать ему волю, оно испепелит нас».

«Тогда вы должны дать мне другое оружие, которое будет в семь раз горячее пламени ада», — приказал им принц, чья гордость ныне возвысилась выше фараоновых столпов.

И многие из них сказали: «О нет, господин наш, не проси такого у нас, ибо даже дым этого пламени, если мы вручим его тебе, испепелит все сущее».

И принца разгневал этот их ответ, и он решил, что они предают его, и разослал он своих шпионов и соглядатаев среди них, дабы искушать их и подстрекать, после чего мудрецы стали чувствовать страх. Некоторые из них ныне изменили свои слова, дабы гнев владыки не коснулся бы их. Трижды он спрашивал их, и трижды они отвечали ему: «Нет, господин наш, даже твой собственный народ исчезнет, если ты сделаешь то, о чем взываешь к нам». Но один из магов предался образу

Иуды Искариота, и свидетельство его было лживо, и предал он своих братьев, солгал он людям и миру, дав им совет не бояться демона краха. И принц последовал за лживостью сего мудреца, чье имя было опаленный, и заставил шпионов своих обвинить многих магов перед ликом всего народа. И преисполнившись ужаса, наименее мудрейший среди магов дал принцу совет, которого тот алкал, сказав: «Оружие может быть пущено в ход, но только не переходи таких-то и таких-то границ, а то все будет уничтожено».

И невиданным пламенем принц стер города врагов своих с лица земли, и три дня и три ночи огромные его катапульты и железные птицы посылали гнев и ярость на врагов его. И над каждым городом вставало солнце, которое палило жарче, чем небесное светило, и города сразу же рассыпались и таяли как воск в пламени факела. И тем самым люди останавливались на улицах, и кожа их занималась дымом, и вспыхивали они, как вязанка хвороста, брошенная на пылающие угли. А когда палящая ярость

солнца стихала, города занимались пламенем, и великий гром шел с неба, после чего они рассыпались в прах. Ядовитый дым стлался над всей землей, и земля тлела и светилась по ночам, и проклятие тления этого вызывало язвы по всей коже, и волосы выпадали на теле, и кровь останавливалась в жилах.

И запах большого гниения на земле поднялся до небесного престола. И земля ныне была вся в руинах, как некогда Содом и Гоморра, и даже земля этого принца подверглась разрушению, ибо враги его не стали сдерживать свою жажду мести и наслали огонь на его города, отчего и те превратились в смрад и прах. И запах сей кровавой бойни поразил обоняние Господа. И обратился он к принцу Имярек, сказав ему: «Что за пожарище ты преподносишь мне? Что за запах, который поднимается от зрелища катастрофы. Преподносишь ли ты мне в жертву овец и козлищ или же тельца упитанного преподносишь ты Богу?».

Но принц не ответствовал ему, и Бог сказал: «Ты сына моего преподнес мне в

жертву».

И Господь уничтожил его вместе с опаленным, предателем, и мор пошел по земле, и безумие овладело человечеством, которое стало забивать камнями мудрецов совместно с правителями, которым удалось уцелеть.

Но в те времена был человек, именовавшийся Лейбовицем, который в юности своей, подобно святому Августину, возлюбил мудрость мира больше, чем мудрость Господа нашего. Но видя ныне, что великие знания, несмотря на всю благость их, не спасли мир, он принес покаяние свое Господу, плача и рыдая…

Тут аббат резко ударил по столу, и монах, который читал древний текст, немедленно замолчал.

— Это единственный имеющийся у вас вариант текста? — спросил Тон Таддео, натянуто улыбаясь аббату, который находился в другом конце кабинета.

— О, существует несколько его версий. Они отличаются лишь незначительными деталями. Никто доподлинно не знает, какая из наций первой напала, не говоря уж о том, что ныне это

и не важно. Текст, который брат-чтец прочитал нам сейчас, был написан через несколько десятилетий после смерти святого Лейбовица — и, возможно, один из первых вариантов — когда стало возможным и безопасным снова записать его. Автор его — молодой монах, который сам не жил во времена разрушения, он получил его из вторых рук от последователей святого Лейбовица, подлинных вспоминателей и собирателей книг, и ему пришлось прибегнуть к библейской мимикрии. Я сомневаюсь, существует ли где-либо хоть один полный и точный отчет о временах Огненного Потопа. С его началом отдельный человек был буквально не в состоянии охватить его целиком.

— В каких краях существовал принц, названный Имярек, и этот человек Опаленный?

Аббат Пауло покачал головой.

— Неизвестен даже автор данного списка. Мы собрали достаточно письменных свидетельств того времени, чтобы убедиться — в то время даже самые незначительные правители имели доступ к этому оружию до начала катастрофы. Ситуация, которую он описывает, существовала у многих народов. И имя этим Опаленным — легион.

— Конечно, и мне доводилось слышать подоб-

ные легенды. Было очевидно, что грядет нечто ужасное, — подтвердил Тон, а затем резко продолжил: — Когда я могу приступить к изучению… как вы это называете?

— Меморабилия.

— Вот именно, — он вздохнул и рассеянно улыбнулся изображению святого в углу. — Могу ли я начать завтра?

— Если вам угодно, то можно и сегодня, — сказал аббат. — Вы можете совершенно свободно приходить и уходить, когда вам вздумается.

Своды подвала были освещены дымным светом канделябров, и меж высоких стульев неслышно двигались лишь несколько монахов-ученых в черных рясах. Брат Амбрустер пристально вглядывался в свои записи, которые лежали в лужице света от свечи; он сидел в своей келье у подножия каменной лестницы, да еще одна лампа горела в алькове книг по Моральной Теологии, где согбенная фигура в рясе склонилась над древними манускриптами. Время было после заутрени, когда большинство обитателей аббатства были заняты делами по обители, в кухне, аудиториях, в саду, конюшне; библиотека была почти пуста до послеполуденного времени. Но в это утро здесь было сравнительно много народу.

В тени, скрывавшей новую машину, стояли три монаха. Спрятав руки в широких рукавах ряс, они смотрели на четвертого собрата, который стоял у подножия лестницы и, не отрываясь, смотрел на пятого монаха, взгромоздившегося на ступеньку, чтобы наблюдать за входом на лестничную площадку.

Брат Корнхоер хлопотал вокруг своей машины, как заботливый родитель над своим чадом, и когда он уже не мог больше найти провод, который необходимо было подкрутить, или какую-нибудь деталь, нуждавшуюся в его внимании, он удалялся в альков Натуральной Теологии читать и ждать. Можно было еще дать своей команде последние указания, но он решил соблюдать спокойствие, и если мысли о том, что наступает момент решительного испытания, и посещали его, то лицо монастырского изобретателя оставалось непроницаемым. Поскольку сам аббат предпочел не присутствовать при демонстрации машины, он не ждал ни от кого аплодисментов и сдерживал желание уловить во взгляде Дома Пауло одобрение своих замыслов.

Негромкий шорох с лестницы снова внес волнение в атмосферу подвального помещения, хотя раньше уже было несколько ложных тревог.

Никто не сообщал блистательному Тону, что выдающийся изобретатель ждет его визита в подвале. И в самом деле, знай он об этом, все величие этой минуты было бы испорчено. Да и Дом Пауло предупредил их, чтобы они особенно не высовывались. Так что они лишь обменивались безмолвно многозначительными взглядами, пока длилось ожидание.

Время это не прошло даром.

Четвертый монах, стоявший на верху лестницы, торжественно повернувшись, кивнул тому, кто ждал внизу, на площадке.

— In principio Deus[26], — мягко сказал он. Пятый монах повернулся и в свою очередь кивнул третьему у подножия лестницы.

— Caelam et terram creavit[27], — пробормотал он.

— Cum tenebris in superficie profundorum[28], — хором сказали все остальные.

---

[26] Примечания: 26
— Вначале Бог…

[27] Примечания: 27
— …сотворил небо и землю…

[28] Примечания: 28
— …с тьмою на поверхности глубин…

— Ortus est Dei Spiritus supra aquas[29], — отозвался брат Корнхоер. Он поставил книгу обратно на полку, и цепи, приковавшие ее, звякнули.

— Gratias Creatori Spiritui[30], — ответила его команда.

— Dixitque Deus FIAT LUX[31], — командным тоном приказал изобретатель.

Команда, стоявшая на лестнице, поспешила занять свои посты. Четверо монахов принялись раскручивать маховик. Пятый наклонился к динамо. Шестой влез на лестничку у книжных полок и занял место на верхней ступеньке, упираясь головой в свод арки. Чтобы защитить глаза, он натянул на лицо маску из закопченного пергамента, и пока брат Корнхоер, волнуясь, снизу наблюдал за ним, тот проверил конструкцию лампы и винт, которым сближаются угольные стержни.

— Et lux ergo facta est[32], — сказал он, убедив-

---

[29] Примечания: 29
— …Дух Божий носился над водами…

[30] Примечания: 30
— …Благодарение Духу Творцу…

[31] Примечания: 31
— …И сказал Бог: «ДА БУДЕТ СВЕТ»…

[32] Примечания: 32
— …И стал свет…

шись, что с винтом все в порядке.

— Lucem esse bonam Deus vidit[33], — обратился изобретатель к пятому монаху.

Пятый монах со свечой в руках склонился над шинами, чтобы бросить последний взгляд на щетки.

— Et secrevit lucem a tenebris[34], — наконец сказал он, продолжая изучение.

— Lucem appelavat diem, — хором отозвалась команда, вращавшая динамо, — et tenebris noctes[35], — и дружно ухватилась за рукоятки.

Машина дрогнула, скрипнула и застонала. Монахи, постанывая, все набирали и набирали темп, и маховик начал вращаться, низкое жужжание становилось все выше и выше, превращаясь почти в визг. Наблюдавший за работой динамо внимательно смотрел на вращение спин, которые постепенно слились в неразличимое целое.

— Vespere occaso[36], — начал было он, но при-

---

[33] Примечания: 33

— …И увидел Бог свет, что он хорош..

[34] Примечания: 34

— …И отделил свет от тьмы…

[35] Примечания: 35

— …И назвал свет днем… и тьму — ночью *(лат.).*

[36] Примечания: 36

— …И был вечер…

остановился и, облизав два пальца, коснулся ими контактов. Блеснула искра.

— Lucifer! — завопил он, отскакивая, и закончил уже спокойно, — ortuss es primo die[37].

— КОНТАКТ! — сказал брат Корнхоер, когда Дом Пауло, Тон Таддео и его помощник показались на лестнице.

Монах на лестнице одним движением сблизил стержни. Резкое пс-с-с! — и слепящий свет залил подвал сиянием, которого не доводилось видеть уже двенадцать столетий.

Вошедшие остановились на верхней ступеньке. Тон Таддео пробормотал проклятие на своем родном языке. Он сделал шаг назад. Аббат, который не присутствовал при испытаниях и не очень верил в успех этой авантюры, побледнел и прервался на полуслове. Помощник пришел в ужас и кинулся бежать с криком «Пожар!».

Аббат перекрестился.

— Я и не знал! — прошептал он.

Ученый, оправившись от первого шока, обвел взглядом подвал, обратив внимание на маховик, который старательно раскручивали монахи. Взгляд его скользнул вдоль намотанных проводов,

---

[37] Примечания: 37

— Люцифер… ты появился в первый день *(лат.).*

заметив монаха на лестнице, оценил и размер колеса динамо и застылость фигуры монаха, стоявшего около него, не отрывая глаз от машины.

— Невероятно, — выдохнул он.

Монах у подножия лестницы, узнав его, склонился в смиренном поклоне. От бело-голубого света в помещении лежали резкие тени, и пламя свечей почти совершенно померкло в потоках света.

— Сияние, как от тысячи свечей, — переведя дыхание, сказал ученый. — Так, должно быть, было у древних — но нет! Немыслимо!

Словно в трансе он стал спускаться по лестнице. Остановившись рядом с братом Корнхоером, он с любопытством присматривался к нему несколько секунд, а затем двинулся дальше. Ни к чему не притрагиваясь, ни о чем не спрашивая, он обошел машину, изучая и динамо, и провода, и саму лампу.

— Это кажется невозможным, но…

Аббат справился со своими эмоциями и тоже спустился вниз.

— Ты что, язык проглотил? — шепнул он брату Корнхоеру. — Поговори с ним. Я… я немного не в себе.

Монах оживился.

— Вам нравится это, милорд аббат?

— Ужасно, — простонал Дом Пауло.

Оживление изобретателя увяло.

— Так потрясти гостя! Его помощник перепугался настолько, что едва не свихнулся. Я чуть не скончался!

— Но зато так светло.

— Провалиться бы тебе! Иди поговори с ним, пока я подумаю, как мне извиняться.

Но ученый уже сам пришел к определенному выводу, поскольку неторопливо подошел к ним. На лице его было напряженное выражение, а движения отличались скованностью.

— Электрическая лампа, — сказал он. — Как вам удалось хранить ее столько столетий! И после этих лет, когда пытались создать теорию… — он слегка хмыкнул, и было видно, что он пытается держать себя в руках, как человек, который стал жертвой потрясающего розыгрыша. — Почему вы все это скрывали? Неужели интересы религии… И что… — полная невозможность выдавить из себя слова заставила его остановиться. Он покачал головой и оглянулся в поисках возможности бегства.

— Вы ошибаетесь, — слабым голосом сказал аббат, хватаясь за руку брата Корнхоера. — Ради

любви к Господу, брат, объясните!

Но ни сейчас, ни в любое иное время такой бальзам на раны не мог утешить уязвленную профессиональную гордость.

Глава 19

После инцидента в подвале аббат пользовался каждой возможностью, чтобы загладить свою вину за эту неприятную историю. Тон Таддео не проявлял никаких видимых признаков неприязни и даже принес извинения за свою несдержанность во время инцидента, тем более что потом изобретатель дал ученому подробные объяснения относительно своего замысла и его воплощения. Но извинения эти лишь убедили аббата, что им была допущена грубая ошибка. Заключалась она в том, что Тон оказался в положении горовосходителя, который, вскарабкавшись на «непокоренную» вершину, находит там под камнем записку своего предшественника, о котором ему никто не сообщил. «Должно быть, он испытал сильное потрясение», — думал Дом Пауло, вспоминая, как все происходило.

Если бы Тон не настаивал (с твердостью, которая была рождена, возможно, смущением и замешательством), что свет просто прекрасен и достаточно ярок, чтобы внимательно изучать ветхие от старости документы, которые иначе при свечах невозможно было разобрать, Дом

Пауло немедленно бы убрал лампу из подвала. Но Тон Таддео настаивал, что она ему нравится, — только выяснив, что постоянно требуются три послушника, чтобы неустанно крутить динамо, и один, чтобы следить за угольками, он стал настаивать, чтобы лампу убрали, но теперь уж настал черед Дома Пауло убеждать его оставить лампу на прежнем месте.

Вот таким образом ученый начал свои исследования в аббатстве, постоянно беспокоясь о самочувствии трех послушников, которые не разгибали спин от рукоятки динамо, и четвертого, который сидел на верхней ступеньке лестницы, следя за постоянной яркостью источника света — ситуация эта дала Поэту возможность сочинить ехидные вирши о демоне смущения, нарушившем покой аббатства, и только его смирение и покаяние спасло Поэта от гнева аббата.

В течение нескольких дней, пока Тон и его помощник изучали содержание библиотеки как таковой, досье и списки, хранящиеся в монастыре, не углубляясь непосредственно в Меморабилию, пошучивая, что они занимаются пока только створками устрицы, они нашли подлинное жемчужное зерно. Брат Корнхоер обнаружил помощника Тона, стоявшего на коленях

у входа в трапезную, и на мгновение ему показалось, что помощник склонился перед образом Девы Марии, висящим у входа в помещение, но звук инструментов, которыми работал помощник, положил конец этой иллюзии. Помощник, вооружившись плотничьим уровнем, измерял впадину в пороге, вытертую за столетия монастырскими сандалиями.

— Мы пытаемся найти способ определения возраста, — ответил он брату Корнхоеру, когда тот задал вопрос. — Похоже, что тут самое подходящее место для отсчета, потому что легко подсчитать, сколько лет служил этот порог. С тех пор как тут лег этот камень, люди переступали через него трижды в день.

Корнхоер не мог не поразиться такой проницательности, их деятельность вызвала у него интерес.

— Архитектурные чертежи аббатства в полном порядке, — сказал он. — По ним совершенно точно можно определить, когда было возведено то или иное здание или пристройка. Почему бы вам не поберечь свое время?

Человек взглянул на него невинными глазами.

— Мой хозяин говорит: «Найол всегда молчит и поэтому никогда не врет».

— Найол?

— Одно из божеств Природы, которому поклоняются люди Ред-Ривер. Конечно, он выражается образно. Неоспоримым авторитетом обладают только объективные свидетельства. Сообщения могут врать, но Природа на это не способна, — увидев выражение лица монаха, он торопливо добавил: — Я не имею в виду, что кто-то сознательно обманывает. Просто таким образом Тон выражает свое убеждение, что все должно быть проверено и перепроверено, чтобы добиться объективности.

— Удивительная история, — пробормотал Корнхоер и склонился, присматриваясь к наброскам на вогнутости пола. — Их размеры отвечают тому, что брат Мажек называет нормальным углом отклонения. Как странно.

— Ничего странного. Возможность того, что шаги будут отклоняться от центральной линии, укладывается в пределы нормальных ошибок.

Корнхоер был захвачен.

— Я позову брата Мажека, — сказал он.

Реакция аббата на то, что гости изучают его помещения, носила куда менее сдержанный характер.

— Что? — рявкнул он на Галта. — Они собира-

ются снимать чертежи наших укреплений?

Приор не мог скрыть удивления.

— Я не слышал об этом. Вы имеете в виду, что Тон Таддео…

— Нет. Те офицеры, что прибыли с ним. Они шаг за шагом все обходят и осматривают.

— Как вы это выяснили?

— Мне сказал Поэт.

— Поэт? Ха!

— К сожалению, на этот раз он сказал правду. Он стащил один из их набросков.

— И он у вас?

— Нет, я был вынужден вернуть его. Но он мне не понравился. Он очень сомнителен.

— Я предполагаю, что Поэт попросил награду за это сообщение?

— Как ни странно, нет. Он сразу же почувствовал неприязнь к Тону. С тех пор как они тут очутились, он ходит кругами и что-то бормочет про себя.

— Поэт всегда бормочет.

— Но не с таким серьезным видом.

— Почему вы решили, что они снимают чертежи?

Пауло мрачно поджал губы.

— Пока мы не убедились в обратном, мы долж-

ны исходить из того, что этот интерес носит профессиональный характер. Как цитадель, окруженную стенами, аббатство одолеть невозможно. Ее не взять ни осадой, ни нападением, и поэтому, возможно, она вызывает у них профессиональное восхищение.

Отец Галт внимательно присмотрелся к пустынным пространствам, простирающимся к востоку от монастыря.

— Думая об этом, я прикидываю, что если какая-нибудь армия решит двинуться на запад через Долины, им скорее всего придется где-нибудь здесь оставить гарнизон, прежде чем идти на Денвер, — задумавшись на несколько минут, он встревожился. — А здесь у них готовая крепость!

— Боюсь, что это пришло в голову и им.

— Вы думаете, что они прислали шпионов?

— Нет, нет! Сомневаюсь, что Ханнеган вообще слышал о нас. Но они здесь, и среди них есть офицеры, и так или иначе они ходят, прикидывают, и у них зреют идеи. И теперь уж вполне возможно, что Ханнегану придется услышать о нас.

— Что вы собираетесь делать?

— Еще не знаю.

— Почему бы не поговорить с Тоном Таддео на эту тему?

— Офицеры не входят в число его слуг. Они прибыли сюда как эскорт для его защиты. Что он может сделать?

— Он родственник Ханнегана и пользуется влиянием.

Аббат кивнул.

— Я обдумаю, как поговорить с ним. Первым делом мы понаблюдаем, как будут развиваться события.

На следующий день Тон Таддео продолжал изучение скорлупы устрицы, и с удовлетворением убедившись, что она не принадлежит к числу съедобных, сосредоточил все внимание на жемчужине. Добраться до нее было непросто.

Количество факсимильных копий было тщательно подсчитано. Звенели и побрякивали цепи, говоря о том, что из шкафов изымаются все более и более драгоценные книги. Из опасений, что оригиналы могут быть повреждены или испорчены, было сочтено нецелесообразным предоставлять их на обозрение. Подлинные рукописи, датированные временами Лейбовица, которые были спрятаны в хранилищах без доступа воздуха и хранились под замком в специальных помещениях подвала, где им предстояло находиться вечно, были тем не менее извлечены наружу.

Помощник Тона сделал несколько фунтов заметок. На пятый день движения Тона Таддео стали более быстрыми, а его поведение стало напоминать азарт, с которым голодная охотничья собака берет след дичи.

— Потрясающе! — он колебался между полным восхищением и насмешливым недоверием. — Фрагменты работ физиков двенадцатого столетия! Почти полные уравнения.

Корнхоер выглянул у него из-за плеча.

— Я их видел, — затаив дыхание, сказал он. — Но никак не мог уловить тут ни начал, ни концов. Это что-то важное?

— Я еще не уверен. Математические расчеты великолепны, просто великолепны! Вот посмотри сюда — вот на это выражение — оно просто практически завершено. Эта штука под знаком радикала — она выглядит как производное от двух функций, но на самом деле она представляет собой целый разряд функций.

— Каким образом?

— Если поменять местами индексы, она приобретает расширительный характер, в противном случае оно не может представлять линейный интеграл, как утверждает автор. Просто прекрасно. И посмотри сюда — вот на это простенькое выра-

жение. Но простота его обманчива. Совершенно очевидно, что оно представляет собой не одно, а целую систему уравнений в предельно сжатой форме. Мне потребуется пара дней, чтобы понять, как автор представлял себе их взаимоотношения — не только одна величина по отношению к другой величине, а целой системы по отношению к другой системе. Я еще не знаю, какие сюда включены физические величины, но изысканность математических выражений просто… просто превосходна! И если даже это обман, то он вдохновенен! И если работа эта аутентична, нам неслыханно повезло. Во всяком случае, она имеет огромное значение. Я должен посмотреть — возможно, имеется более ранняя копия ее.

Брат библиотекарь только простонал, когда из недр подвала был извлечен еще один запечатанный сундук, и с него были сорваны печати. Брата Амбрустера отнюдь не потрясло то, что светский ученый всего лишь за пару дней разрешил кучу загадок, которые продолжали оставаться тайнами в течение двенадцати столетий. Для хранителя Меморабилии каждое снятие печатей означало опасение за содержимое своих сундуков, и он не скрывал своего неодобрения к тому, что происходило вокруг. Брат библиотекарь,

цель жизни которого состояла в сбережении и сохранении книг, смысл существования видел в том, что книги должны находиться на вечном хранении. Использование их было делом вторичным, и его надо было избегать, поскольку оно угрожало их вечному существованию.

Энтузиазм поисков Тона Таддео рос и ширился с каждым днем, и аббату становилось легче дышать, когда он видел, как таял прежний скептицизм Тона с каждым новым знакомством с фрагментами научных текстов, датировавшихся временами до Потопа. На первых порах Тон не мог четко сформулировать цель своих настойчивых поисков, и направление их смутно представлялось ему самому, но теперь он принимался за работу с непреклонной настойчивостью человека, который следует определенному плану.

— Община очень интересуется вашими работами, — сказал аббат ученому. — Мы бы хотели послушать о них, если вы не против. Конечно, все мы слышали о ваших работах на факультете, но они носят столь специальный характер, что большинству из нас будет трудно разобраться в них. Не будете ли вы столь любезны рассказать нам о них что-нибудь?.. О, лишь в общих чертах, так, чтобы они были понятны и неспециалисту.

Обитель уж ворчит на меня за то, что я все не соберусь пригласить вас на беседу, но мне казалось, что вы предпочитаете сначала освоиться. Конечно, если вас это не устраивает…

Ученый уставился на аббата так, словно мерил его череп циркулем по всем шести параметрам. Улыбка его была полна сомнений.

— Вы хотите, чтобы я объяснил суть нашей работы максимально простым языком?

— Что-то вроде этого, если возможно.

— Так оно и бывает, — Тон Таддео рассмеялся. — Неподготовленный человек читает тексты, относящиеся к натуральным наукам, и думает: «Ну почему он не может объяснить все простым языком?». Он не может понять, что материал, который он старается усвоить, и так уж написан максимально упрощенным языком — для этой темы. В сущности, большая часть натурфилософии — просто процесс лингвистического упрощения, попытка изобрести язык, при помощи которого можно было бы передать смысл половины страницы уравнений — для их изложения на «простом» языке потребовалось бы не менее тысячи листов. Я ясно выражаюсь?

— Думаю, что да. Поскольку это так ясно для вас, может быть, вы сможете изложить и нам эти

аспекты. Может быть, мое предложение и преждевременно, поскольку вы еще не завершили работы в Меморабилии?

— О нет. Теперь у нас совершенно четкое представление, куда мы идем, и чем мы должны заниматься. Конечно, завершение работ еще потребует определенного времени. Разрозненные куски надо сложить воедино, да еще убедиться, что они из одной и той же головоломки. Мы еще не знаем точно, что у нас получится, но мы совершенно точно знаем, что у нас не получится. Я счастлив, что у нас есть определенные надежды на успех. Я не имею ничего против, чтобы объяснить в общих чертах, но… — он снова повторил свой жест сомнения.

— Что вас смущает?

Тон был слегка растерян.

— Я не совсем представляю себе аудиторию. Я не хотел бы оскорбить ничьих религиозных чувств.

— Но разве это может случиться? Разве предмет нашего разговора — не натуральная философия? Или физические науки?

— Конечно. Но у многих людей представления о мире окрашены религиозными воззрениями… ну, то есть я имею в виду, что…

— Но если тема вашего рассказа — физический мир, как можете вы кого-то оскорбить? Особенно в этой обители. Мы долгое время ждали, когда мир начнет проявлять интерес к самому себе. И, даже боясь показаться излишне хвастливым, я бы сказал, что у нас есть несколько достаточно толковых знатоков — конечно, любителей — в натуральных науках, здесь, у нас, в монастыре. Например, брат Мажек, брат Корнхоер…

— Корнхоер! — Тон прищурился на дуговую лампу и отвернулся, мигая. — Не могу понять!

— Лампу? Но ведь именно вы…

— Нет, нет, не лампу. Она достаточно проста. Просто испытываешь шок, когда впервые видишь ее в деле. Она должна работать. На бумаге, даже учитывая все сложности и неопределенности, все выходило отлично. Но совершить этот непостижимый прыжок от смутных гипотез к работающей модели… — Тон нервно откашлялся. — Я не могу понять самого Корнхоера. Это устройство… — он устремил указательный палец на динамо, — перебросило мостик от двадцати лет предварительных экспериментов, сразу начав с усвоения основных принципов. Корнхоер сразу, без подготовки приступил к делу. Вы верите в чудесные озарения? Я — нет, но тут мы

имеем дело именно с таким явлением. Колеса от вагонетки! — он засмеялся. — Что бы он соорудил, будь у него механическая мастерская! Понять не могу, что такому человеку делать в монастыре.

— Может быть, брат Корнхоер сам объяснит вам это, — стараясь сдерживаться, сказал Дом Пауло.

— Да, но… — циркуль взгляда Тона Таддео снова стал ощупывать череп старого священника. — Если вы уверены, что в самом деле никого не оскорбят наши нетрадиционные взгляды, я был бы рад рассказать о нашей работе. Но некоторые мои воззрения могут войти в конфликт с устоявшимися предрас… принятыми мнениями.

— Отлично! Это будет восхитительно.

Договорившись о времени, Дом Пауло почувствовал облегчение. «Непостижимая пропасть между христианским монахом и светским ученым, исследователем Природы, может сузиться после свободного обмена идеями и взглядами», — подумал он. Корнхоер уже несколько сблизил ее берега, разве не так? Побольше контактов, их увеличение, а не уменьшение, скорее всего, станут лучшим средством для смягчения любого напряжения. И постепенно станут рассеиваться густые облака сомнений и недоверия, не так ли? Как только Тон увидит, что его хозяин не такой уж уз-

колобый интеллектуальный реакционер, каким, ему кажется, видит его ученый. Пауло устыдился своих ранних подозрений. «Господи, — взмолился он, — дай мне терпение, вразуми меня».

— Но вы не имеете права забывать об офицерах и об их набросках, — напомнил ему Галт.

Глава 20

С кафедры в трапезной чтец пробубнил оповещение. Отблески свечей колыхались на лицах множества людей в рясах, которые, застыв, стояли у столов, ожидая начала вечерней трапезы. Голос чтеца эхом отдавался под высокими сводами обеденного помещения, потолок которого был скрыт сплетением колышущихся теней, что падали от пламени свечей, расставленных на деревянных столах.

— Досточтимый отец аббат повелел мне сообщить, — взывал чтец, — что правило умеренности на сегодняшний вечер отменяется. У нас, как вы слышали, будут гости. Все верующие могут принять участие в банкете в честь Тона Таддео и его спутников, там будут подавать мясо. Во время трапезы будут разрешены разговоры, если они будут вестись тихо и достойно.

По рядам послушников пробежал сдавленный шепот, в котором чувствовались нотки оживления. Столы были готовы. Пища еще не была подана, но места обычных мисок заняли большие подносы, разжигая аппетит ожиданием праздничества. Привычные молочные кружки стояли в

буфете, а их место было отдано бокалам для вина. Вдоль столов были разбросаны розы.

Аббат остановился в коридоре, дожидаясь, когда смолкнет голос чтеца. Он взглянул на стол, подготовленный для него, отца Галта, почетного гостя и его сопровождения. «На кухне опять просчитались», — подумал он. На столе стояло восемь приборов. Трое офицеров, Тон, его помощник и два священника составляли в сумме семь человек — хотя на всякий случай отец Галт предупредил брата Корнхоера, что ему, возможно, придется сидеть с ними. Чтец закончил оповещение, и Дом Пауло вошел в зал.

— Flectamus genua[38], — услышал он с кафедры.

Аббат благословил свою паству, и сборище людей в рясах перекрестилось с военным единообразием.

— Levate[39].

Заняв свое место во главе стола, Дом Пауло перевел взгляд на вход в зал. Галт должен был сопровождать всех остальных. Для них предварительно накрыли стол в комнате для гостей, чтобы

---

[38] Примечания: 38
Преклоним колени *(лат.)*.

[39] Примечания: 39
Поднимайтесь *(лат.)*.

им не так бросалась в глаза скудость монашеской трапезы.

Когда гости появились, он оглянулся в поисках брата Корнхоера, но монаха с ними не было.

— Для кого восьмое место? — шепотом спросил он у отца Галта, когда все расселись.

Галт непонимающе взглянул на него и пожал плечами.

Ученый занял место по правую руку от аббата, а остальные расселись у торца стола, оставив кресло слева от него пустым. Он еще раз вернулся, чтобы пригласить Корнхоера присоединиться к ним, но чтец снова поднял голос, прежде чем аббат успел встретиться с монахом глазами.

— Oremus[40], — ответил аббат, и множество людей дружно склонило головы.

Пока шло благословение пищи, кто-то неслышно скользнул к месту слева от аббата. Тот нахмурился, но не отвел глаз во время молитвы, чтобы опознать нарушителя.

— …и Святого Духа. Аминь.

— Садитесь, — сказал чтец, сам опускаясь с кафедры.

Аббат сразу же посмотрел на фигуру, выросшую

---

[40] Примечания: 40
Будем молиться *(лат.)*.

у него с левой стороны.

— Поэт!

Поэт изящно склонил свою украшенную синяками физиономию и улыбнулся.

— Добрый вечер. Сэры, высокоученый Тон, досточтимые гости, — начал разливаться он. — Что нам предложат на ужин? Неужто жареную рыбу и медовые соты в честь столь памятного посещения? Или вы, милорд аббат, наконец зажарили того гуся, что принадлежал старосте деревни?

— Я бы с большим удовольствием зажарил…

— Ха! — ответствовал Поэт и дружелюбно повернулся к ученому. — Сие кулинарное великолепие всегда доставляет нам радость в этой обители, Тон Таддео! Вы должны чаще посещать нас. Я предполагаю, что в гостевой они кормили вас не иначе, чем жареными фазанами и неописуемой говядиной. О позор! Но кому-то везет. Ах… — Поэт потер руки и плотоядно прищурился. — Может быть, и нам удастся вкусить что-нибудь из шедевров отца шеф-повара, а?

— Интересно, — сказал ученый, — что именно?

— Жирненького броненосца с кашей, сваренного в молоке кобылицы. Как правило, его подают по воскресеньям.

— Поэт! — рявкнул аббат, затем он повернулся

к Тону. — Прошу прощения за его присутствие. Он явился без приглашения.

Ученый с нескрываемым удовольствием смотрел на Поэта.

— У милорда Ханнегана при дворе тоже есть несколько шутов, — сказал он Пауло. — Я знаком с их остротами. У вас нет необходимости извиняться.

Поэт высвободился из-за стула и склонился перед Тоном в низком поклоне.

— Разрешите мне вместо этого извиниться за аббата. Сир! — с чувством взвыл он.

На мгновение он застыл в поклоне. Все присутствующие ждали, когда он кончит дурачиться. Вместо этого он внезапно пожал плечами, сел и подтащил к себе копченую курицу с тарелки, поставленной перед ним послушником. Оторвав ножку, он с аппетитом вгрызся в нее. Остальные с удивлением наблюдали за ним.

— Думаю, вы правы, не приняв мое извинение за него, — наконец сказал он Тону.

Ученый слегка покраснел.

— Прежде чем я вышвырну тебя вон, червь презренный, — сказал Галт, — я бы хотел, чтобы ты понял всю низость своего поступка.

Поэт покачал головой, продолжая задумчиво

жевать.

— Это верно, низость моя неизмерима, — признал он.

«Когда-нибудь Галт придушит его», — подумал Дом Пауло.

Но хотя молодой священник и был заметно раздосадован, он постарался свести весь инцидент ad absurdum[41], чтобы представить вторую сторону идиотом.

— Оставьте его, отче, оставьте его, — торопливо сказал Пауло.

Поэт любезно улыбнулся аббату.

— Все в порядке, милорд, — сказал он. — Больше я не собираюсь извиняться перед вами. Вы принесли мне свои извинения, я вам — свои, и разве это не лучший повод для провозглашения милосердия и торжества доброй воли? Никто не должен извиняться за самого себя — это так унижает. Используя мою систему, каждый получит прощение, и никому не придется извиняться самолично.

Это замечание показалось забавным только офицерам. Обычно лишь ожидания юмора достаточно, чтобы вызвать его иллюзию, и комик

---

[41] Примечания: 41
к нелепости *(лат.).*

может вызвать взрыв хохота лишь жестами и выражением лица, независимо от того, что он говорит. Тон Таддео выдавил из себя сухую усмешку, которая появляется на лице у человека, когда он видит плохое представление с дрессированным животным.

— И посему, — продолжил Поэт, — если вы позволите, чтобы ваш смиренный слуга служил вам, то выступая, например, в качестве вашего адвоката, я мог бы преподнести от вашего имени нижайшие извинения почтеннейшим гостям за наличие у них в постелях клопов. А также клопам за то, что их вынужденно постигла такая судьба.

Побагровев, аббат с трудом подавил желание надавить подошвой сандалии на голую ногу Поэта. Он лишь ткнул его лодыжку, но дурак все не умолкал.

— Я мог бы принимать на свою голову все проклятия в ваш адрес, — сказал тот, поспешно глотая белое мясо. — Система прекрасна еще и тем, что она дает возможность представительствовать и от вашего имени, о высокоученейший ум! Я уверен, что она вас полностью удовлетворит. Я вынужден напомнить вам, что логика и методология должны предшествовать научным знаниям и даже первенствовать над ними. А моя

система извинений, которую можно обсуждать и которую можно передавать друг другу, должна иметь для вас особую ценность, Тон Таддео.

— Должна?

— Да. Но какая жалость! Кто-то украл моего синеголового козлика.

— Синеголового козлика?

— Голова у него была лысая, как у Ханнегана, ваша светлость, и синяя, как кончик носа у брата Амбрустера. Я предполагал представить вам это животное, но какой-то негодяй украл его у меня как раз к вашему появлению.

Аббат стиснул зубы и надавил пяткой на пальцы Поэта. Тон Таддео слегка нахмурился, но все же решил разобраться в запутанной паутине намеков Поэта.

— Нам нужен синеголовый козел? — спросил он у своего спутника.

— Настоятельной необходимости в нем я не вижу, сир, — отозвался тот.

— Но он воистину необходим! — воззвал Поэт. — Они говорят, что вы пишете уравнения, которые в один прекрасный день изменят мир. Они говорят, что восходит новый свет. И если будет так светло, то ведь нужно кого-то проклинать за ту тьму, что недавно царствовала здесь.

— Сиречь козла, — Тон Таддео посмотрел на аббата. — Тошнотворная идея. А что он еще умеет делать хорошего?

— Вы сами убедитесь, что он просто болтается без дела. Но давайте поговорим о чем-то более сущест…

— Нет, нет, нет, нет! — возразил Поэт. — Вы неправильно поняли смысл моих слов, ваше сиятельство. Данный козел должен быть возведен в ранг благословенного и получить все причитающиеся ему почести, а не проклятия! Увенчайте его короной, доставшейся от святого Лейбовица, и возблагодарите за воссиявший свет. Затем проклинайте Лейбовица и гоните его в пустыню. Таким образом, вторая корона вам не понадобится. Хватит и той, которой вы уже увенчаны. И которая зовется ответственность.

Враждебность Поэта теперь проявилась совершенно открыто, и он не считал более необходимым скрывать ее под маской шутовства. Тон не спускал с него ледяного взгляда. Пятка аббата опять уперлась в пальцы Поэта, и опять он безжалостно надавил на них.

— И когда армия вашего патрона, — сказал Поэт, — подойдет с осадой к стенам аббатства, козла надо будет вывести во двор и научить его

блеять: «Здесь нет никого, никого, кроме меня, и пусть чужеземцы убедятся в этом».

Один из офицеров с гневным возгласом вскочил со стула, и его рука невольно схватилась за эфес сабли. Он потянул ее из ножен, и шесть дюймов стали блеснули грозным предупреждением для Поэта. Тон поднял руку, давая понять, что саблю необходимо опустить обратно в ножны, но с таким же успехом он мог стараться опустить руку каменной статуи.

— Ага! Воины тут не хуже, чем чертежники! — издевательски сказал Поэт, явно давая понять, что смерти он не боится. — Ваши наброски оборонительной системы аббатства выполнены столь художественно…

Офицер пробормотал проклятие, и сабля вылетела из ножен. Но сосед удержал его, прежде чем тот успел сделать выпад. Потрясенные монахи повскакивали со своих мест, и по конгрегации прошел ропот изумления. Поэт откровенно ухмыльнулся.

— …столь художественно, — продолжил он. — Предвижу, что в свое время ваш рисунок подземного туннеля, который ведет за стены, найдет себе место в музее изящных…

Из-под стола раздался глухой звук. Поэт оста-

новился на полуслове, выпустил изо рта косточку, которую он обгладывал и медленно стал бледнеть. Прожевав, он сглотнул и продолжал бледнеть. Рассеянным взглядом он уставился в пространство.

— Раздавишь, — сказал он уголком рта.

— Ты что-то сказал? — спросил аббат, не ослабляя давления.

— Кажется, мне попала косточка в горло, — признался Поэт.

— Ты желаешь выйти?

— Боюсь, что мне придется это сделать.

— Жаль. Увы, мы расстаемся с тобой, — Пауло еще раз как следует придавил его ногу. — Теперь ты можешь идти.

Поэт с шумом перевел дыхание, вытер рот и встал. Осушив свой кубок с вином, он поставил его в центр подноса. Что-то в его движениях заставляло всех присутствующих не отрывать от него глаз. Пальцем он опустил ресницы, склонил голову на сложенную ковшиком ладонь и нажал на глазницу. Глазное яблоко упало ему в ладонь, вызвав у тексарканцев звук удивления, ибо они не подозревали об искусственном глазе у Поэта.

— Внимательно наблюдай за ними, — сказал Поэт своему стеклянному глазу, водружая его на

донышко бокала, стоящего как раз напротив Тона Таддео. — Спокойного вам вечера, милорды! — весело попрощался он со всеми и удалился.

Разгневанный офицер еще пробормотал проклятие и сделал попытку вырваться из удерживающих его рук товарищей.

— Отведите его в келью и посидите с ним, пока он не остынет, — сказал им Тон. — И получше смотрите, чтобы он, как лунатик, не стал бродить ночью.

— Я испытал подлинное унижение и оскорбление, — сказал он, когда охранника с мертвенно-бледным лицом увели из-за стола. — Они не являются моими слугами, и я не могу отдавать им приказов. Но я обещаю вам, что он сполна заплатит за все. И если он откажется принести свои извинения и немедленно покинуть обитель не позже, чем завтра к полудню, ему придется обнажить свой меч против меня.

— Только без кровопролития! — взмолился аббат. — Ничего не случилось. Давайте все забудем, — руки у него дрожали, а лицо посерело.

— Он должен будет извиниться и уехать, — настаивал Тон Таддео, — или я прикажу убить его. Не беспокойтесь, он не осмелится выйти против меня, ибо, если он победит, Ханнеган публично

посадит его на кол, пока его жену будут насиловать — но не обращайте на это внимания. Он будет ползать перед вами на коленях, а затем исчезнет. Но в любом случае мне очень стыдно, что такая история вообще могла иметь место.

— Я должен был выгнать Поэта сразу же, как он только появился. Он вызвал всю эту сумятицу, и я не мог остановить его. Это была явная провокация.

— Провокация? Это легкомысленное вранье бродячего шута? Хотя Жосард повел себя так, словно обвинение Поэта было правдой.

— Тогда вы в самом деле не знаете, что они готовят сообщение о ценности нашего аббатства как крепости?

Челюсть у ученого отвисла. Не веря своим ушам, он переводил глаза с одного священника на другого.

— Может ли это быть правдой? — наконец спросил он после долгого молчания.

Аббат кивнул.

— И вы разрешили нам остаться.

— У нас нет тайн. Ваши спутники могли изучать тут все, что им заблагорассудится, было бы у них на то желание. Я предпочитаю не спрашивать, зачем им нужна эта информация. Предполо-

жения Поэта, разумеется, являются его чистой фантазией.

— Конечно, — еле слышно сказал Тон, не глядя на хозяина.

— И конечно же, у вашего принца нет агрессивных намерений по отношению к этим местам, как намекал Поэт.

— Конечно, нет.

— И если даже они у него есть, я уверен, что у него хватит ума понять — или по крайней мере, умных советников, которые укажут ему, что наше аббатство имеет куда большую ценность как хранилище древней мудрости, а не как крепость.

Тон уловил в голосе священника нотку мольбы, просьбу о милости и сочувствии и, задумавшись над этим, в полном молчании поднялся на ноги.

— Прежде чем я двинусь в обратный путь в коллегиум, мы еще поговорим на эту тему, — тихо пообещал он.

Покров неудачи, опустившийся было на банкет, стал приподниматься, и когда во дворе стали раздаваться песни, исчез окончательно. Настало время для большой лекции ученого, объявленной в Большом Зале. Недоразумению пришел конец, и гостей встретили с неподдельной сердечностью.

Дом Пауло провел Тона к кафедре, за ними

следовали Галт и помощник Тона, которые тоже поднялись на возвышение. Вслед за представлением аббата раздались аплодисменты, а последовавшая тишина напомнила внимание, с которым в зале суда выслушивается приговор. Оратором Тон был не очень одаренным, но его суждения вполне устроили монахов.

— Я восхищен тем, что мы нашли здесь, — сказал он им. — Несколько недель тому назад я не верил, просто не мог поверить, что работы, подобные тем, что хранятся в вашей Меморабилии, смогли пережить гибель последней могучей цивилизации. В это по-прежнему трудно поверить, но документы заставили нас убедиться, что все рукописи полностью аутентичны. То, что они сохранились, уже достаточно невероятно, но еще более фантастичным мне лично кажется тот факт, что даже в этом столетии вплоть до сегодняшнего дня они оставались незамеченными. И лишь затем появились люди, способные оценить кроющиеся здесь потенциальные сокровища — и не только я. Это же мог сделать при жизни и Тон Кашлер — даже семьдесят лет назад.

Лица монахов озарились улыбками, когда они услышали столь высокую оценку Меморабилии из уст такого знаменитого ученого, как Тон Тад-

део. Пауло удивлялся, почему они не слышат легкую нотку возмущения — или ему это только кажется — в речи оратора.

— Знай я о существовании этих работ десять лет назад, — продолжил он, — во многих моих работах по оптике не было бы необходимости.

«Ага, — подумал аббат, — вот оно. Или, по крайней мере, часть его. Он открыл, что некоторые его открытия всего лишь повторение уже найденного, что и вызвало у него горечь. Он, конечно же, должен знать, что ныне удается только снова открывать давно забытые открытия, как бы ни был он одарен, он обречен лишь повторять то, что делали задолго до него другие. И это неизбежно будет повторяться снова и снова, пока мир не достигнет столь же высокого уровня развития, которым он обладал до Огненного Потопа».

Тем не менее не подлежало сомнению, что Тон Таддео был полон и искреннего изумления.

— Мое время пребывания у вас ограничено, — продолжал он. — Лишь из того, что мне довелось увидеть, я пришел к выводу, что двадцать специалистов должны работать у вас несколько десятилетий, чтобы превратить сокровища Меморабилии в понятную всем информацию. Физика, как правило, развивалась путем обду-

мывания результатов экспериментов, но здесь придется действовать дедуктивными методами. По нескольким кусочкам и обломкам нам приходится догадываться о целом. Порой это кажется невозможным. Например… — он замолчал, раскрыв стопку записей, и быстро пробежал пальцем по одной из них. — Вот цитата, которую я нашел глубоко похороненной. Она представляет собой часть четырехстраничного текста из книги, которая была учебником современной физики и говорит об относительности понятия времени, в зависимости от координат отсчета. Кое-кто из вас мог его видеть…

Насмешливо усмехнувшись, он посмотрел на собравшихся.

— Встречал ли кто-либо ссылки на этот текст?

Море лиц внизу хранило молчание.

— Помнит ли кто-либо этот текст?

Корнхоер и еще двое опасливо подняли руки.

— И известно ли вам, что он значит?

Руки быстро опустились.

Тон хмыкнул.

— Далее следует полторы страницы математических расчетов, которые я не в состоянии понять. Они касаются фундаментальных, если не основополагающих концепций… Они кончаются

словом «и тем не менее», но конец страницы исчез в пламени, а вместе с ним и выводы. И все же система доказательств безупречна, а математические формулы даже изящны, так что определенные выводы я могу сделать и сам. Это будут выводы сумасшедшего человека. Они должны начинаться с предположения, которое может прийти в голову только сумасшедшему. Обман? Заблуждение? Если нет, то какое место они должны занимать в общей картине науки древних времен? Какие предпосылки предшествовали их появлению? Что последовало затем и как это можно проверить? Вопросы, на которые я не могу дать ответа. Это всего лишь один пример из множества загадок, которые хранят те бумаги, что вы столь долго храните. То, что касается экспериментов с несуществующей реальностью, — дело ангелологов и теологов, а не физических наук. И все же эти бумаги описывают системы, которые касаются нашего опыта общения с той реальностью. Древние пришли к этим выводам без экспериментальной проверки. Некоторые намеки позволяют так утверждать. Некоторые тексты относятся к элементарному превращению вещества, что, как мы недавно установили, теоретически невозможно, и все же

мы видели слова «экспериментально доказано». Но как?

— Возможно, потребуется несколько поколений, чтобы оценить и понять смысл этих сокровищ. К сожалению, они продолжают оставаться здесь, в этом труднодоступном месте, и потребуются немалые усилия ученых, чтобы добраться до них. Я уверен, что вы понимаете: тот уровень, который вы сегодня можете обеспечить в работе с текстами, явно неадекватен, если не сказать недостаточен, с точки зрения остального мира.

Дом Пауло сидел на возвышении за говорившим и, ожидая самого худшего, начал багроветь. Никаких предложений Тон Таддео вроде делать не собирается. Но его замечания не оставляют сомнений насчет того, что, по его мнению, такие реликвии должны находиться в гораздо более компетентных руках, чем монахи ордена святого Лейбовица, и что царящая здесь обстановка представляет собой абсурд. Возможно, чувствуя, что в помещении стало расти напряжение, он перешел к рассказу о своих непосредственных исследованиях, которые включали в себя гораздо более тщательное изучение природы света, чем раньше. Некоторые из сокровищ аббатства оказали ему большую помощь, и скоро он на-

деется приступить к экспериментам, которые должны подтвердить его теории. После краткой дискуссии о природе рефракции, он сделал паузу и извиняющимся тоном сказал:

— Я надеюсь, что не оскорбил ничьих религиозных чувств, — и вопросительно огляделся. Видя, что обращенные к нему лица полны любопытства, он предложил собранию задавать ему вопросы.

— Я удивляюсь, каким образом вопросы, связанные с преломлением света, могут оскорбить чье-то религиозное чувство, как вы предполагаете?

— Ну… — Тон замялся. — Монсиньор Аполло, которого вы знаете, горячо придерживается этой точки зрения. Он говорит, например, что до Потопа не было никакого преломления света и радуга появилась лишь…

Комната взорвалась от хохота, в котором потонуло окончание реплики. И пока аббат махал на всех руками, призывая к молчанию, Тон Таддео стоял красный как свекла, да и Дом Пауло не без трудности вернул себе прежнее торжественное выражение лица.

— Монсиньор Аполло хороший человек, хороший священнослужитель, но каждый человек

порой ставит себя в глупое положение, особенно если начинает заниматься не своими делами. Прошу прощения за свой вопрос.

— Ответ помог мне доказать, — сказал ученый, — что я отнюдь не ищу ссоры.

Больше вопросов не последовало, и Тон перешел к следующей теме: развитие и сегодняшнее положение его коллегиума. Картина, нарисованная им, была воодушевляющей. Коллегия была заполнена абитуриентами, которые мечтали учиться. Коллегия давала образование в той же мере, в какой занималась исследованиями. Среди грамотных мирян явно рос интерес к натурфилософии и науке. Учебное заведение было освобождено от налогов. Явный симптом Возрождения и Ренессанса.

— Я хотел бы упомянуть всего лишь о некоторых исследованиях и поисках, связанных с нашей Коллегией, — продолжал Тон. — Достаточно сказать о трудах Берка по поведению газов. Тон Више Мортуан исследует возможность производства искусственного льда. Тон Фридер Халб изучает практическую возможность передачи посланий по проводам в виде электрических импульсов… — список был длинен, и он произвел на монахов впечатление. Работа шла во

многих областях: медицина, астрономия, геология, математика, механика. Некоторые казались схоластическими и оторванными от жизни, но большинство обещало богатый урожай и для науки, и для практики. Но даже исследования Джидени, опирающиеся на бесчисленные попытки Бодака прорваться в глубины ортодоксальной геометрии, вызвали у Коллегии ощущение, что они добираются до сокровенных тайн природы, скрытых от глаз с тех пор, когда человечество тысячу лет назад отказалось от наследственной памяти и обрекло себя на культурную амнезию.

— В добавление хочу сказать, что Тон Махо Мах возглавляет проект, который даст нам дальнейшую информацию о роде человеческом. Так как он основывается главным образом на археологических раскопках, он попросил меня посмотреть, не найдется ли в ваших архивах что-то интересное, после того как я закончу свои собственные изыскания. Все же я не рискнул пускаться в подобные розыски, ибо они влекут за собой опасность вступить в спор с теологами. Но если есть какие-нибудь вопросы…

Молодой монах, который готовился к рукоположению в священники, встал и представился Тону.

— Сир, я хотел бы поинтересоваться, знакомы ли вы с воззрениями святого Августина на данный предмет?

— Я не знаком.

— Епископ и философ четвертого столетия. Он предполагал, что в начале начал Господь создал все сущее в зачаточном состоянии, включая и физиологию человека, а затем, после того как он оплодотворил эту бесформенную материю, она постепенно стала развиваться во все более сложные формы, включая человека. Можете ли вы принять эту гипотезу?

Улыбка Тона была полна снисходительности, хотя он не осмелился открыто назвать эту точку зрения детской.

— Боюсь, что нет, но я должен углубиться в нее, — сказал он тоном, ясно показывающим, что делать этого он не будет.

— Благодарю вас, — сказал монах и неслышно сел обратно.

— Возможно, самые смелые исследования из всех, — продолжалось повествование, — связаны с именем моего друга Тона Эссера Шона. Он пытается синтезировать живую материю. Тон Эссер надеется создать живую протоплазму, используя только шесть основных компонентов. Работа эта

может привести… да? У вас есть вопрос?

Монах в третьем ряду, поднявшись, поклонился оратору. Аббат наклонился вперед, чтобы узнать его, и с ужасом увидел, что это брат Амбрустер, библиотекарь.

— Если вы будете настолько любезны по отношению к старому человеку, — прокаркал монах, выстраивая слова в монотонный ряд. — Ваше упоминание об этом Тоне Эссере Шоне… который ограничил себя лишь шестью основными компонентами… очень интересно. Любопытствую… разрешалось ли ему использовать обе руки?

— Я не совсем по… — Тон остановился и нахмурился.

— И могу ли я также поинтересоваться, — продолжал скрипеть сухой голос Амбрустера, — занимался ли он этими выдающимися изысканиями в сидячей, стоячей или задней позиции? Или, может быть, верхом на лошади?

Послушники, не скрываясь, захихикали. Аббат стремительно вскочил на ноги.

— Брат Амбрустер, я вынужден предупредить вас. Вы изгоняетесь из-за общего стола, пока не получите прощения. Можете подождать в часовне Девы.

Библиотекарь снова поклонился и выбрался

из-за стола: движения его были смиренными, но глаза сияли торжеством. Аббат смущенным шепотом стал извиняться перед ученым, но встретил на удивление холодный взгляд Тона.

— В заключение, — сказал он, — как я считаю, миру только предстоит увидеть то, что может дать интеллектуальная революция, и о чем я вам кратко рассказал, — горящими глазами он обвел слушателей, и его голос обрел яростный ритм. — Невежество всегда владело нами, было нашим правителем. Со времен падения империи оно недвижимо сидело на троне, правя человечеством. Династия его имеет корни в глубине веков. Его права на царствование не подвергались сомнению, считаясь законными. И сказания прошлых времен подтверждали это. Ничто не могло сместить его с насиженного места.

Но завтра придут к власти новые владыки, новые принцы. Люди, одаренные пониманием, люди науки займут места вокруг тронов, и вселенная откроет перед ними свое могущество. Имя ей будет Истина. Ее империя будет включать в себя всю Землю. Возобновится царство Человека над Землей. Пройдут столетия, и человек поднимется в воздух на металлических птицах. Металлические экипажи помчатся по дорогам из

камня, созданным руками человека. Ввысь поднимутся строения в тридцать этажей, появятся суда, которые будут плавать под поверхностью моря, и машины, которые будут вершить все работы.

— Каким образом все это придет? — помолчав, он понизил голос. — Боюсь, что тем же путем, как приходят все изменения. Простите меня, но так оно и будет. Новый мир придет с насилием и бунтами, в огне и крови, ибо ни одно изменение не приходит в мир спокойно.

Тихий шепот прошел над обителью, и он оглядел ее.

— Так будет. И мы не хотим, чтобы так было.

— Но почему?

— Ибо невежество правит миром. И если оно будет низвергнуто с трона, многие претерпят лишения. Многие обогатили себя, поклоняясь этому темному царству. Они составляют его свиту, и во имя его обманывают, и правят, и обогащают себя, умножая его могущество. Они боятся даже грамотности, потому что написанным словом их враги могут найти друг друга и объединиться. Оружие их отточено и готово, и пускают они его в ход с большим мастерством. Когда их интересы подвергнутся опасности, они обрушат на мир

угрозу всеобщей бойни, и насилие будет длиться, пока общество, которое ныне существует, не обратится в прах и щебень, и не возникнет новое общество. Я виноват перед вами. Но так я это вижу.

Слова эти снова вызвали смятение собрания. Надежды Дома Пауло рухнули, ибо взгляды ученого обрели форму пророчества. Тон Таддео знал военные амбиции своего монарха. У него был выбор: оправдать их, опровергнуть или же отнестись к ним с вполне понятным сожалением, как к безличному феномену, над которым он не властен, подобному потопу, пожару или урагану.

Не подлежало сомнению, что он принимал их как неизбежность — но стараясь не давать им моральной оценки, да будут кровь, железо и стенания…

Но как такой человек может не думать об этом и избегать ответственности — да с такой легкостью! — взъярился про себя аббат.

И слова сами пришли к нему. ИБО В ДНИ ЭТИ ГОСПОДЬ БОГ НАШ ОБЛЕК СТРАДАНИЕМ МУДРЫХ — ЗНАТЬ, ЧТО МИР НАШ ИДЕТ К РАЗРУШЕНИЮ СВОЕМУ…

Страдания эти усугублялись тем, что они не могли избавиться от размышлений, как спасти

мир и какой выбор нужно сделать. И, возможно, наиболее убедительной станет точка зрения Тона Таддео. Умыть руки перед толпой. Вот вам — смотрите. И можете приносить себя в жертву.

Им так и так придется взойти на Голгофу. Принести себя в жертву. И о достоинстве своем думать не придется. Всегда где-то кого-то прибивают гвоздями к кресту и возносят его над толпой, и когда вы опускаете глаза, взвиваются плети…

Наступило внезапное молчание. Ученый кончил говорить.

Прищурившись, аббат обвел глазами зал. Половина присутствующих уже не отрываясь смотрела на входные двери. Поначалу он ничего не смог разглядеть.

— Что там? — шепнул он Галту.

— Старик с бородой… — прошептал Галт. — Он выглядит, как… Нет, этого не может быть…

Поднявшись, Дом Пауло подошел к краю возвышения, откуда ему смутно стали видны очертания фигуры в тени. Он тихо и мягко обратился к ней:

— Бенджамин?

Фигура пошевелилась. Человек плотнее обтянул шарф вокруг худых сгорбленных плеч и, прихрамывая, вышел на свет. Здесь он снова остановился, что-то пробормотал про себя, озира-

ясь, наконец его глаза остановились на ученом, по-прежнему стоящем на кафедре.

Опираясь на кривой посох, древнее привидение прохромало к кафедре. Сначала Тон Таддео не без юмора смотрел на его приближение, но поскольку ни один из присутствующих не шелохнулся и не издал ни звука, он постепенно стал бледнеть, когда сие странное видение приблизилось к нему. Лицо древнего бородатого старца горело пламенем сдержанной страсти, которая была куда сильнее остатка жизненных сил, что давно уже должны были покинуть его бренное тело.

Подойдя ближе к кафедре, он остановился и осмотрел с ног до головы изумленного лектора. Рот его искривился. Он улыбнулся. И протянул ученому дрожащую руку. Тон отступил назад с возгласом отвращения.

Отшельник проявил неожиданное проворство. Стремительно поднявшись на возвышение, он подошел к кафедре и схватил руку ученого.

— Что за сумасшествие…

Растирая руку, Бенджамин с безнадежной печалью посмотрел в глаза ученому.

Лицо его затуманилось. Возбуждение, владевшее им, потухло. Он опустил его руку. Долгий печальный вздох вырвался из его дряхлых легких,

по мере того как умирала надежда. И неизменная всепонимающая усмешка старого еврея с горы вернулась на его лицо. Повернувшись к общине, он распростер руки и красноречиво пожал плечами.

— Нет, это по-прежнему не Он, — печально сказал отшельник и захромал прочь.

Остались для завершения вечера лишь небольшие формальности.

Глава 21

Шла десятая неделя пребывания Тона Таддео, когда посланец принес черные известия. Глава правящей династии Ларедо потребовал, чтобы войска Тексарканы были немедленно выведены из его королевства. Той же ночью он был отравлен и скончался, и между Ларедо и Тексарканой было объявлено состояние войны. Она должна была быть короткой. С уверенностью можно было предположить, что кончилась она в тот же день, не успев начаться, и что ныне Ханнеган взял под свой контроль все земли и все население между Ред-Ривер и Рио-Гранде.

На этом новости не кончались.

Ханнеган II, Правитель Божьей Милостью, Вице-король Тексарканы, Защитник Веры и Верховный Всадник Долин, сочтя, что вина монсиньора Маркуса Аполло в предательстве и шпионаже доказана, приказал повесить папского нунция, а затем, не давая ему скончаться, четвертовать и содрать с него кожу, как пример каждому, кто посмеет посягать на могущество государства Высокого Правителя. И тело священника, разорванное на куски, должно быть

брошено собакам.

Посланцу вряд ли надо было добавлять, что по папскому повелению, в котором были слабые, но явные намеки на буллу шестнадцатого столетия, призывавшую к свержению таких нечестивых монархов, вся Тексаркана была полностью отлучена от церкви. Впрочем, сообщений о контрмерах, принятых Ханнеганом, пока не было.

В Долинах ларедонские войска с боями пробивали себе путь домой через армады кочевников, ложась костьми на границах их племен, ибо повсеместно встречали вражду родов и кланов.

— Какая трагедия! — сказал Тон Таддео, горестно вскидывая руки. — Я предпочел бы немедленно отправиться в путь.

— Зачем? — спросил Дом Пауло. — Ведь вы же оправдываете действия Ханнегана, не так ли?

Ученый помедлил, а затем отрицательно покачал головой. Оглянувшись, он убедился, что никто не подслушивает их.

— Я лично осуждаю их. Но на людях… — он пожал плечами. — Есть Коллегия, чтобы выносить решение, думать об этом. И если бы речь шла только о моей собственной шее, ну что ж…

— Я понимаю.

— Могу ли я конфиденциально поговорить с

вами?

— Конечно.

— Кто-то должен предупредить Новый Рим, что он должен всерьез воспринять угрозу. Ханнеган отнюдь не против того, чтобы распять еще несколько дюжин Маркусов Аполло.

— Тогда несколько новых мучеников вознесутся на Небеса, Новый Рим увидит всю серьезность угроз.

Тон вздохнул.

— Я бы хотел, чтобы вы и дальше продолжали так считать, но я должен повторить свое предложение об отъезде.

— Глупости. Какое бы ни было у вас подданство, ваша гуманность и человечность делают вас желанным гостем.

Но между ними возникла трещина. Ученый держался теперь только в обществе своих соплеменников, редко перекидываясь словами с монахами. Его отношения с братом Корнхоером носили подчеркнуто формальный характер, хотя изобретатель каждый день проводил час-два, ремонтируя и осматривая динамо и лампу и был в курсе работы Тона, которая ныне вершилась с заметной торопливостью. Офицеры редко выходили из домика для гостей.

В окружающей местности чувствовалось, что грядет исход. По Долинам разносились тревожные слухи. В соседней деревушке жители ее вдруг засобирались или в благочестивые путешествия или отбывали в дальние страны. Даже бродяги и нищие исчезли с глаз. Как обычно, торговцы и ремесленники оказались перед неприятным выбором — то ли оставить свое имущество на поток и разграбление, то ли, оставшись, наблюдать, как оно становится добычей грабителей.

Комитет граждан, возглавлявшийся мэром деревушки, посетил аббатство, чтобы узнать, не получат ли они здесь убежище на случай грядущего вторжения.

— Мое последнее решение, — после многочасовой беседы сказал аббат, — таково: мы возьмем всех женщин, детей, инвалидов и стариков — без всяких вопросов. Что же касается мужчин, способных носить оружие, будем решать отдельно в каждом индивидуальном случае и, возможно, от некоторых мы откажемся.

— Почему? — спросил мэр.

— Даже для вас это должно быть очевидно! — резко сказал Дом Пауло. — Мы можем подвергнуться прямому нападению, но пока этого не произошло, у нас есть шанс остаться в стороне. И

я не могу позволить, чтобы наша обитель использовалась кем-либо как гарнизон, силами которого может быть произведено контрнападение, если атакована будет только ваша деревня. Так что относительно мужчин, способных носить оружие, мы вынуждены настаивать на обещании — они будут защищать аббатство, подчиняясь только нашим приказам. И в каждом отдельном случае мы будем судить, можно ли верить этому обещанию или нет.

— Это неблагородно, — закричали члены комитета. — Вы подвергаете дискриминации…

— Только тех, к кому мы не испытываем доверия. В чем, собственно, дело? Вы надеетесь скрыть здесь резервные силы? Этого я не разрешу. Вы не имеете права размещать здесь какую-то часть своих сил. Это все.

В таких обстоятельствах комитет не мог отказаться от предложенной помощи. Больше аргументов у них не было. Дом Пауло сказал, что, когда придет время, он выслушает их, ну а сейчас он ясно дал понять, что будет противиться всяким планам деревни, по которым аббатство может быть вовлечено в военные действия. Позже к нему обратились три офицера из Денвера с простой просьбой: своей жизнью они дорожили куда

меньше, чем стремлением сохранить верность режиму. Они потребовали от аббата простого ответа. Аббатство было возведено как крепость веры и знаний, и они дали понять, что хотели бы видеть его и в дальнейшем именно таким.

Пустыня стала наполняться путниками, идущими с востока. Торговцы, охотники и пастухи, двигаясь на запад, приносили новости с Долин. Коровья чума полыхала среди стад кочевников, болезнь была неизлечимой. В войсках Ларедо произошел мятеж и раскол после падения правящей династии. Часть из них вернулась на родину, повинуясь приказу, другие же принесли страшную клятву, что они идут маршем на Тексаркану и не остановятся, пока не увидят отрубленную голову Ханнегана или же не погибнут на пути к своей цели. Ослабленные расколом, ларедонские войска постепенно таяли под наскоками воинов Бешеного Медведя, которые жаждали отомстить тем, кто принес им чуму. Ходили слухи, что Ханнеган благородно предложил людям Бешеного Медведя пойти под свою высокую руку, если они дадут клятву вассальной верности его цивилизованным законам, введут его офицеров в свои военные советы и примут христианскую веру. «Подчинись или голодай» — таков был выбор,

который Ханнеган предложил кочевникам. Многие предпочли испытать голод, прежде чем дали согласие войти в это купеческое и земледельческое государство. Хонган Ос открыто бросил вызов Югу, Востоку, и обратил его в сторону неба, пообещав, что будет сжигать по одному шаману в день, чтобы наказать племенных богов за то, что они предали его. Он пообещал, что обратится в христианство, если христианские боги помогут ему уничтожить врагов.

Поэт исчез из аббатства как раз в те дни, когда сюда пришла небольшая группа пастухов. Тон Таддео первым заметил отсутствие Поэта в домике для гостей и осведомился о причине отсутствия странствующего виршеплета.

Морщинистое лицо Дома Пауло застыло в удивлении.

— Вы уверены, что его нет? — спросил он. — Он часто проводит несколько дней в деревне или отправляется на гору поспорить с Бенджамином.

— Все его вещи исчезли, — сказал Тон. — Комната его пуста.

Аббат мрачно пожевал губами.

— Если Поэт исчез — это плохая примета. Кстати, если он в самом деле исчез, я попросил бы вас сразу же осмотреть все свои вещи.

Тон задумчиво посмотрел на него.

— Ах вот, значит, где мои сапоги…

— Без сомнения.

— Я выставил их наружу, чтобы их почистили. И они исчезли. В тот самый день, когда он дубасил в мою дверь.

— Дубасил… кто? Поэт?

Тон Таддео хмыкнул.

— Боюсь, я обошелся с ним не совсем вежливо. У меня был его стеклянный глаз. Помните, как вечером он оставил его на столе в трапезной?

— Да.

— И я взял его.

Тон открыл свой кошель, порылся в нем и положил на стол перед аббатом стеклянный глаз Поэта.

— Он знал, что глаз у меня, но я отрицал. Он постоянно спорил со мной по этому поводу, даже стал распускать слухи, что это давно потерянный глаз Байрингского идола и что его необходимо вернуть в музей. Со временем он стал буквально сходить с ума. Конечно, я дал ему понять, что до нашего отъезда он его получит обратно. Как вы думаете — он появится до этого дня?

— Сомневаюсь, — сказал аббат, слегка передернувшись при взгляде на глазное яблоко. — Но

если хотите, я поберегу его. Хотя, вполне возможно, что в его поисках он может добраться и до Тексарканы. Он клянется, что этот глаз — его талисман.

— Каким образом?

Дом Пауло улыбнулся.

— Он говорит, что когда использует его, то видит куда лучше.

— Что за чушь! — Тон помолчал, но подумал, что при всей дикости этого утверждения, в нем есть какая-то логика. — Хотя в этом что-то есть. Заставляя работать мышцы орбиты одного глаза, второй глаз тоже начинает лучше видеть. Так он считает?

— Просто он убежден, что без второго глаза он не видит так хорошо. Он клянется, что он ему нужен, чтобы видеть «суть вещей» — хотя в то же время мучается от страшных головных болей. Но никто не знает, когда Поэт говорит правду, выдумывает или занимается аллегориями. И хотя фантазии у него очень неглупы, я сомневаюсь, что он отчетливо видит разницу между действительностью и фантазией.

Тон лукаво улыбнулся.

— На другой день он орал за моими дверями, что эта штука мне нужна больше, чем ему. Это

говорит о том, что он считает свой глаз потенциальным фетишем, который может принести пользу любому, кто им владеет.

— Он говорил, что вы нуждаетесь в нем? Ого!

— Вас это смешит?

— Простите. Скорее всего он хотел вас оскорбить. Я предпочитаю не вдаваться в суть его оскорблений, чтобы не иметь к ним никакого отношения.

— О, ерунда. Я заинтересован.

Аббат бросил взгляд на изображение святого Лейбовица в углу кельи.

— Поэт постоянно таким образом использует глазное яблоко, — объяснил он. — Когда ему надо принимать какое-то решение, что-то обдумать или обсудить какую-то точку зрения, он вставляет его в глазницу. И вынимает его, когда сталкивается с тем, что ему не нравится, или же когда ему надо сыграть роль дурачка. Когда искусственный глаз у него на месте, держится он совершенно поиному. Братья привыкли называть его «совесть Поэта», и он принял эту шутку. Время от времени он пускается в рассуждения, демонстрируя нам, как это удобно — иметь подобную совесть, которую можно перемещать с места на место. Он считает, что им владеют некоторые губительные

страсти — хотя они достаточно обыденны, вроде тяги к бутылке вина.

Но, вставляя искусственный глаз, он впадает в раскаяние. Он отбрасывает вино, кусает губы, стонет и плачет, воздевает руки. Но, наконец, искушение снова овладевает им. Схватив бутылку, он наливает себе полную чашку и выпивает ее одним глотком. Совесть снова начинает грызть его, и он пускает чашку через всю комнату. Через небольшое время бутылка вина опять начинает привлекать его плотоядные взоры, он начинает стонать и плакать, борясь с искушением, — аббат хмыкнул, — и зрелище это просто страшно. Наконец, когда силы его на исходе, он вынимает стеклянный глаз. И сразу же расслабляется. Страсти больше не искушают его. Спокойный и надменный, он берет бутылку и со смехом смотрит на окружающих. — Теперь я это сделаю, — говорит он. И когда остальные ждут, что он сейчас выпьет ее, он с дьявольской усмешкой выливает бутылку себе на голову. Видите, насколько удобна ему портативная совесть.

— Поэтому он и считает, что она мне необходима больше, чем ему.

Дом Пауло пожал плечами.

— Он всего лишь взбалмошный Поэт!

Ученый засмеялся и щелчком пустил отполированный сфероид волчком крутиться на поверхности стола. Внезапно он расхохотался.

— Мне это нравится. Думаю, что мне известно, кому это нужно больше, чем Поэту, — накрыв рукой глазное яблоко, он вопросительно взглянул на аббата.

Тот просто пожал плечами.

Тон Таддео опустил стеклянный глаз себе в карман.

— Если он придет и попросит, он его получит. Кстати, должен вам сказать, что моя работа здесь подходит к концу. Через несколько дней мы покинем вас.

— А вас не беспокоит, что в Долинах идут бои?

Глядя в стенку, Тон Таддео нахмурился.

— Мы предполагаем разбить лагерь на отдельном холме примерно в неделе ходу от вас к востоку. И отряд… то есть там нас встретит эскорт.

— Надеюсь, что так оно и будет, — сказал аббат, скрывая за улыбкой толику раздражения, — что ваш эскорт не изменил свою приверженность с той поры, как вы с ним расстались. В наши дни отличить врагов от друзей становится все труднее.

Тон покраснел.

— Особенно, если они являются из Тексарканы, хотели вы сказать?

— Я этого не говорил.

— Давайте будем откровенны друг с другом, отец. Я не могу выступать против принца, который дал мне возможность заниматься моей работой — независимо от того, что я думаю о его политике и о его союзниках. Я должен поддерживать его или, по крайней мере, не мешать ему — ради блага коллегиума. Если его владения расширятся, это может пойти на пользу коллегиуму. И если собрание ученых получит преимущества, ими может воспользоваться все человечество.

— То есть те, кто выживут.

— Это верно… но правда никогда не бывает совершешю полной.

— Нет, нет… двенадцать столетий назад не повезло даже выжившим. Неужели мы снова должны вступить на этот путь?

Тон Таддео пожал плечами.

— Что я могу с этим сделать? — задал он встречный вопрос. — Правит Ханнеган, а не я.

— Но вы обещали, что человек будет владеть природой. Кто будет контролировать использование сил природы? Кому они пойдут на пользу?

Чем это кончится? Как вы сможете держать их в узде? Снова могут быть приняты гибельные решения. И если этого не сделаете вы и ваша группа, скоро это сделают другие за вас. Человечество выиграет, говорите вы. За счет чьих страданий? Принца, который едва умеет писать букву своего имени? Или вы в самом деле думаете, что ваш коллегиум сможет остаться в стороне, не удовлетворяя его притязаний, когда он начнет понимать, что вы представляете ценность для него?

Дом Пауло не предполагал, что ему удастся убедить собеседника. Но у него стало тяжело на сердце, когда он увидел, с каким терпеливым равнодушием Тон слушает его: это было стоическое терпение человека, слушающего доводы, которые он уже давно для себя опровергнул.

— На самом деле вы предполагаете, — сказал ученый, — что нам надо еще подождать. Что мы должны разогнать коллегиум или загнать его куда-то в пустыню, каким-то образом — не имея ни золота, ни серебра — выжить, и неким странным образом восстановить экспериментальную и теоретическую науку, никому не говоря о наших деяниях. Ибо мы должны готовить ее для того дня, когда человек в самом деле станет хорошим,

чистым, святым и мудрым.

— Я не это имел в виду…

— Да, этого вы не говорили, но это звучало в ваших словах. Замкнуться в кругу науки, отказаться от желания открыть ее миру, не пытаться ничего предпринимать, пока люди в самом деле не станут святыми. Должен сказать, что такой подход не сработает. Вы же поколение за поколением занимались этим в аббатстве.

— Мы никому не отказывали.

— Да, вы никому не отказывали, но, сидя на своих сокровищах, вы вели себя столь незаметным образом, что никто не подозревал об их существовании, и они пребывали у вас втуне.

Глаза старого священника блеснули мгновенной вспышкой гнева.

— Время познакомить вас с нашим основателем, — проворчал он, указывая на деревянную скульптуру в углу кельи. — До того как мир сошел с ума и ему пришлось скрываться в убежище, он был ученым, как и вы. Он основал этот орден для сохранения тех останков, которые еще могли быть спасены из обломков последней цивилизации. Спасены — для чего и для кого? Посмотрите на него, где он стоит — видите его мягкость? Его книги? И миру и сейчас и столетия спустя нужно

будет очень мало от вашей науки. Он умер ради нас. Когда они облили его горючим, легенда повествует, что он попросил у мучителей чашку этой жидкости. Они решили, что он ошибся и просит воды, поэтому они, расхохотавшись, дали ему чашу. Он благословил ее — и каким-то образом содержимое чаши после его благословения превратилось в вино — а затем: «Hie est enim callix Sanguinis Mei»[42], и он выпил ее, прежде чем они повесили его и бросили в пламя. Должен ли я зачитывать вам список наших мучеников? Должен ли я перечислять все битвы, которые пришлось нам выдержать, чтобы спасти наши сокровища? Перечислить всех монахов, ослепших в скриптории? И вы говорите, что мы ничего не делали, затаившись в молчании.

— Я не это имел в виду, — сказал ученый, — но в сущности так оно и было. Многие из ваших мотивов близки мне. Но если вы считаете, что вы должны копить мудрость, дожидаясь, пока мир поумнеет, мир никогда не увидит ее.

— Я вижу, что мы не можем преодолеть барьер взаимного непонимания, — мрачно сказал аббат. — Первым делом служить Богу или же

---

[42] Примечания: 42
«Ибо это чаша крови Моей» *(лат.)*.

первым делом служить Ханнегану — вот перед каким выбором вы стоите.

— Выбора у меня практически нет, — ответил Тон. — Вы хотели бы, чтобы я работал ради Церкви? — и в голосе его ясно чувствовалась нотка горечи.

Глава 22

Была среда, наступившая после Дня Всех Святых. Готовясь к отъезду, в подвале аббатства Тон и его спутники разбирали свои записи и заметки. В их обществе было несколько монахов, и по мере того как приближалось время расставания, все отчетливее чувствовалась окружавшая их атмосфера дружелюбия. Над головами по-прежнему, потрескивая, сияла дуговая лампа, заливая подвал бело-голубым сиянием, которое обеспечивала команда послушников, неустанно трудившихся, вращая динамо. Неопытность новичка, впервые занявшего место на верхней ступеньке лестницы, заставляла лампу время от времени мигать: он заменил своего предшественника, который ныне лежал в лазарете с мокрой тряпкой на глазах.

Тон Таддео отвечал на вопросы о своей работе охотнее, чем раньше, и было видно, что его больше не беспокоят противоречивые точки зрения на вопросы преломления света или претензии Тона Эссера Шона.

— Пока гипотеза кажется бессмысленной, — говорил он, — нужно искать ее подтверждения путем наблюдения тем или иным образом. Я

создал некоторые гипотезы с помощью новых — или вернее очень старых — математических изысканий, которые мне удалось обнаружить в вашей Меморабилии. Они, по-моему, предлагают достаточно простое объяснение некоторым оптическим феноменам, но, откровенно говоря, я не думаю, что мне удастся сразу же проверить их. И тут мне может оказать помощь ваш брат Корнхоер, — с улыбкой он кивнул в сторону изобретателя и показал набросок предполагавшегося устройства.

— Что это? — спросил кто-то после паузы краткого удивления.

— Ну… это стопка стеклянных пластин. Солнечный луч, который под определенным углом падает на нее, частично отражается, а частью поглощается. Отраженная часть света будет поляризована. Затем мы ставим эти пластинки таким образом — это идея брата Корнхоера, — который позволяет лучу света падать на вторую пачку пластинок. Она установлена под точно рассчитанным углом так, что отражает почти весь поляризованный свет и почти ничего не поглощает из него. Но если моя гипотеза справедлива, то, включив напряжение в катушке брата Корнхоера, мы должны увидеть внезапную

вспышку поглощенной части спектра. И если этого не произойдет, — он пожал плечами, — значит, гипотезу придется отбросить.

— Вместо этого вы можете выбросить катушку, — вежливо предложил брат Корнхоер. — Я не уверен, что она дает достаточно сильное поле.

— А я уверен. У вас есть инстинктивное ощущение конструкции. Мне куда легче создать любую абстрактную теорию, чем придумать, как практически проверить ее. Но у вас есть редкий дар сразу же увидеть воплощение идеи в проводах, линзах, винтах, пока мне остается лишь придумывать абстрактные символы.

— Но я никогда не могу придумать ни одной абстракции, Тон Таддео.

— Мы могли бы составить неплохую команду, брат. Я надеюсь увидеть вас в нашем обществе в коллегиуме, хоть на краткое время. Как вы думаете, аббат разрешит вам отлучку?

— Я не мог даже предположить такую возможность, — пробормотал изобретатель, смутившись.

Тон Таддео повернулся к остальным.

— Я слышал упоминание о «братьях в отпуске». Правда, что некоторые члены вашей общины могут временно быть заняты в каком-то другом

месте?

— Только очень немногие, Тон Таддео, — сказал молодой священник. — В прежние времена орден поставлял клерков, писцов и секретарей светским властям, а также к королевскому и церковному Двору. Но это было в те времена, когда в аббатстве царил тяжкий труд и голод. Братья, работавшие на стороне, спасали нас от голода. Но сейчас в этом нет необходимости, и такой практики почти не существует. Конечно, у нас есть несколько братьев, которые учатся сейчас в Новом Риме, но…

— Все-таки! — с внезапным энтузиазмом воскликнул Тон Таддео. — Вы можете обучаться в коллегиуме, брат. Я поговорю с нашим аббатом и…

— Да? — спросил молодой священник.

— Хотя мы с ним кое в чем расходимся, я могу понять его образ мышления. Я думаю, что обмен для взаимной учебы может укрепить наши отношения. Будут и стипендии, и я не сомневаюсь, что ваш аббат найдет им достойное применение.

Брат Корнхоер опустил голову, но ничего не сказал.

— Ну же! — ученый рассмеялся. — Ты, кажется, не очень обрадован приглашением, брат!

— Конечно, оно мне льстит. Но решать это не мне.

— Да, конечно, я понимаю. Но если эта идея тебе не нравится, я не собираюсь говорить о ней с вашим аббатом.

Брат Корнхоер помедлил.

— Я обратился к религии, — наконец сказал он, — чтобы… м-м-м… провести жизнь в молитве. Мы воспринимаем нашу работу тоже как своеобразную молитву. А это, — он показал на динамо, — для меня что-то вроде игры. Хотя, если Дом Пауло решит послать меня…

— Ты поедешь, лишь повинуясь ему, — мрачно сказал ученый. — Я уверен, что мне удастся убедить коллегиум высылать вашему аббатству до ста золотых ханнеганов в год, пока ты будешь с нами. Я… — замолчав, он вгляделся в лица слушателей. — Простите, но неужели я сказал что-то не то?

Ступив на верхние ступеньки лестницы, аббат остановился, увидев группу в подвале. Несколько бледных лиц повернулось в его сторону. Наконец через несколько секунд Тон Таддео тоже заметил его присутствие и вежливо поклонился.

— Мы только что говорили о вас, отец, — сказал он. — И если вы слышали, возможно, я должен

объяснить…

Дом Пауло покачал головой.

— В этом нет необходимости.

— Но я хотел бы обсудить…

— Может ли это подождать? Я очень спешу.

— Конечно, — сказал ученый.

— Я сейчас вернусь, — аббат снова поднялся по ступенькам. Во дворе его ждал отец Галт.

— Они уже слышали об этом, господин мой? — мрачно осведомился приор.

— Я не спрашивал, но уверен, что нет, — ответил Дом Пауло. — Они всего лишь ведут разные глупые разговоры там внизу. Что-то о том, чтобы взять с собой в Тексаркану брата Корнхоера.

— Значит, они ничего не слышали. Это точно.

— Да. Где он сейчас?

— В домике для гостей. С ним врач. Он совершенно пьян.

— Многие ли из братьев знают, что он здесь?

— Примерно четверо. Мы приступили к «Аллилуйе», когда он вошел в ворота.

— Скажи этим четверым, чтобы они никому о нем не упоминали. Затем присоединись к нашим гостям в подвале. Мило поболтай с ними — лишь бы они ничего не узнали.

— Но не надо ли нам рассказать им до отъезда,

господин мой?

— Конечно. Но пусть они сначала соберутся. Ты знаешь, что это их не остановит от возвращения. Значит, чтобы свести к минимуму сложности, давай обождем до последней минуты. Есть это у тебя с собой?

— Нет, я оставил вместе с бумагами в гостевой.

— Пойду посмотрю. Теперь предупреди братьев и иди к гостям.

— Да, господин мой.

Аббат направился к домику для гостей. Когда он вошел, брат-медик как раз покинул комнату беглеца.

— Он выживет, брат?

— Не могу утверждать, господин мой. Побои, голод, истощение, лихорадка… так что, если Бог даст, — он пожал плечами.

— Могу ли я поговорить с ним?

— Я уверен, что это не имеет смысла. Он ничего не понимает.

Аббат вошел в комнату и мягко прикрыл за собой дверь.

— Брат Кларе?

— Только не надо опять, — выдохнул человек на кровати. — Во имя любви к Господу, только не надо опять… я уже рассказал вам все, что знаю. Я

предал его. А теперь дайте мне…

Дом Пауло с жалостью посмотрел на секретаря покойного Маркуса Аполло и опустил глаза на его руки. На месте ногтей писца были гниющие язвы.

Аббат передернулся и подошел к маленькому столику рядом с кроватью: среди небольшого количества разбросанных бумаг и личных вещей он быстро обнаружил коряво написанный документ, который беглец принес с собой с востока.

> «ХАННЕГАН ВЕЛИКИЙ, Милостью Божьей Суверен Тексарканы, Император Ларедо, Защитник Веры, Охранитель Законов, Вождь Кочевых Племен и Верховный Всадник Долин — ко ВСЕМ ЕПИСКОПАМ, СВЯЩЕННИКАМ И ПРЕЛАТАМ Церкви нашего наследственного королевства шлет Привет и ОБРАЩАЕТ ИХ ВНИМАНИЕ, ибо таков ЗАКОН:
>
> 1. Поскольку некий иностранный принц, он же Бенедикт XXII, епископ Нового Рима, возжелал распространить свою власть, которая не принадлежит ему по праву, над духовенством нашей нации и осмелился, во-первых, подверг-

нуть Тексаркапскую церковь богоотлучению, а затем отказался отменить свое богопротивное решение, вызвав тем самым духовное смятение и смущение среди всех верующих. Мы, единственный законный правитель Церкви в данном королевстве, действуя в согласии с советом епископов и духовенства, тем самым объявляем Нашему преданному народу, что вышеупомянутый правитель и епископ Бенедикт XXII — суть еретик, симонист, убийца, кровосмеситель и атеист, отлученный от Святой Церкви в Нашем королевстве, империи или протекторатах. Кто служит ему, служит не Нам.

2. Тем самым оповещается, что декрет об отлучении ОТМЕНЯЕТСЯ, АННУЛИРУЕТСЯ И ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НЕ ИМЕЮЩИМ ПОСЛЕДСТВИЙ…»

На остальную часть текста Дом Пауло бросил лишь беглый взгляд. Читать дальше не имело смысла. Бросающиеся в глаза слова ОБРАЩАЕТ ИХ ВНИМАНИЕ говорили о том, что все рукоположенное духовенство Тексарканы должно будет признать над собой высшую власть лица, не ру-

коположенного к священнодействию, что являло собой преступление против правил и законов, а также принести ему клятву верности, если они хотели и дальше служить Церкви. И воззвание то было подписано не только Верховным Правителем, но и также несколькими епископами, имена которых были незнакомы аббату.

Он бросил документ обратно на стол и снова сел на кровать. Глаза беглеца были открыты, но он всего лишь слепо смотрел в потолок и тяжко дышал.

— Брат Кларе? — мягко обратился он к нему. — Брат…

Тем временем в подвале Тон с горящими глазами сражался с немалым количеством специалистов, которые, пытаясь добиться ясности в запутанном вопросе, посмели вторгнуться в область знаний другого специалиста.

— В сущности да! — ответил он на вопрос послушника. — Мне удалось обнаружить здесь один источник, который, как я думаю, будет представлять интерес для Тона Махо. Конечно, я не историк, но…

— Тон Махо? Не тот ли это, кто попытался исправить Книгу Бытия? — мрачно спросил отец Галт.

— Да, это… — ученый замолчал, столкнувшись с удивленным взглядом Галта.

— Очень хорошо, — хмыкнув, сказал священник. — Многие из нас понимают, что Книга Бытия носит в той или иной мере аллегорический характер. И что же обнаружили?

— Мы нашли один отрывок, относящийся к временам до Потопа, который, по моему мнению, предлагает одну весьма революционную теорию. Если я правильно понял этот отрывок, человек не был создан задолго до конца последней цивилизации.

— Что-о-о? Тогда откуда же взялась цивилизация?

— Только не от человечества. Начало ей положила предшествующая раса, которая была уничтожена Древним Огнем.

— Но Святое Писание описывает тысячелетия, предшествовавшие Древнему Огню!

Тон Таддео многозначительно промолчал.

— Вы утверждаете, — с внезапной ноткой разочарования сказал Галт, — что мы не являемся потомками Адама? И что мы не принадлежим к исторически сложившемуся человечеству?

— Подождите! Я только высказываю предположение, что раса, существовавшая до Потопа,

которая называла себя Человечеством, смогла создать жизнь. Незадолго до падения их цивилизации им удалось успешно создать прародителей человечества — «по своему образу и подобию».

— Но если вы полностью отрицаете Апокалипсис, то совершенно незачем вносить такие осложнения, — пожаловался Галт.

Аббат неслышно опустился по ступенькам. Приостановившись на последней, он недоверчиво прислушался.

— Так может показаться, — выдвинул аргументы Тон Таддео, — если вы не примете во внимание, с каким количеством факторов приходится считаться. Вы знаете легенды об Очищении. И мне кажется, что все они обретают смысл, если рассматривать Очищение как бунт созданных слуг против своих создателей, как и предполагает отрывок. Это так же объясняет, почему сегодняшнее человечество стоит настолько ниже своих древних предшественников, почему наши прародители погрузились в варварство, когда их хозяева были уничтожены, почему…

— Боже, смилуйся над сей обителью, — вскричал Дом Пауло, выходя из тени алькова. — Помилуй нас, Господи, ибо не ведаем мы, что творим…

— Предполагаю, что мне это известно, — про-

бормотал ученый, услышав эти слова.

Старый священник обрушился на гостя, как богиня мщения.

— Значит, мы всего лишь создания тех, кто в свою очередь был создан, не так ли, сир философ? И созданы мы куда более мелкими богами, чем Господь наш, и куда более тупыми, хотя наших прегрешений в сем нет, конечно.

— Это всего лишь предположение, но оно многое объясняет, — упрямо сказал Тон, не желая сдаваться.

— И многое прощает, не так ли? Восстание Человека против своих создателей было, без сомнения, всего лишь оправданным уничтожением тирании, направленным против премудрых сынов Адама.

— Я не говорил…

— Покажите мне, сир философ, столь потрясающее сочинение!

Тон Таддео торопливо уткнулся в свои записки. Свет то и дело мигал и мерк, потому что послушники у динамо непрестанно пытались прислушиваться. Небольшая аудитория была в состоянии ужаса, пока громовое вторжение аббата не нарушило их оцепенелого молчания. Монахи стали шептаться между собой, а кто-то

даже осмелился хихикнуть.

— Вот, — сказал Тон Таддео, протягивая Дому Пауло несколько листов заметок.

Аббат бегло просмотрел их и стал читать. Молчание начало становиться томительным.

— Я уверен, что вы разыскали это в отделе, где лежит все то, что сочтено «Не подлежащим классификации», не так ли? — спросил он через несколько секунд.

— Да, но…

Аббат продолжал читать.

— Я, наверно, должен кончать укладываться, — пробормотал ученый, продолжая разбирать бумаги. Монахи нерешительно мялись на месте, и было видно, что им хочется улизнуть отсюда. Корнхоер бродил поодаль.

Удовлетворившись несколькими минутами чтения, аббат резко повернулся и протянул записи своему приору.

— Читай! — хрипло скомандовал он.

— Но что?..

— Обрывок то ли пьесы, то ли диалога, как мне кажется, я уже видел его раньше. Что-то о людях, которые делали искусственных существ, что служили у них рабами. И рабы восстали против своих хозяев. Если бы Тон Таддео читал

преосвященного Боэдуллуса «De Inanibus»[43], он бы обнаружил, что тот определял данные тексты, как «возможные сказки или аллегории». Но, скорее всего, Тон меньше всего думал о знакомстве с оценками и мнениями преосвященного Боэдуллуса, поскольку у него есть свои.

— Но что за…

— Читай!

Галт отошел в сторону, держа в руках записки. Пауло снова повернулся к ученому и вежливо, доверительно и темпераментно обратился к нему: «И создал Он их по образу Бога: мужчин и женщин сотворил Он им».

— Мое замечание — всего лишь предположение, — сказал Тон Таддео. — Свобода обсуждений — это необходимая часть…

— «И Господь Бог наш создал Человека и поместил его в рай, полный удовольствий, где и одевал его и кормил его. И…»

— …для развития науки. И если вы будете связывать нас по рукам и ногам слепой ортодоксальностью, нерассуждающими догмами, тогда вам придется…

— «И Бог простер руку свою над ним, сказав:

---

[43] Примечания: 43
«О тщете» *(лат.)*.

«С каждого дерева в раю пищу свою добывать будешь, но лишь не с древа познания добра и зла…»

— …и в дальнейшем видеть мир в том же темном невежестве и предрассудках, каким он был, когда ваш орден…

— «…не имеешь ты права срывать плодов. Ибо в тот день, когда ты вкусишь плодов его, то познаешь, что такое смерть».

— …начал борьбу против них. И тогда нам не удастся одолеть ни болезни, ни страдания, ни рождения уродов, нам не удастся сделать мир хоть чуточку лучше, чем он был в течение…

— «И змей сказал женщине: Господь знает, что в тот день, когда ты вкусишь плодов с древа познания добра и зла, глаза твои широко откроются, и ты станешь равной Богам, познавшим суть добра и зла».

— …двенадцати столетий, если нам не удастся развивать каждое новое направление исследований и если каждая новая мысль будет объявляться…

— Никогда не было лучше, и никогда не будет лучше. Он будет лишь богаче или беднее, печальнее, но не умнее — и так будет до самого последнего дня его существования.

Ученый беспомощно пожал плечами.

— Вы так думаете? Я понимаю, что вы оскорблены, но вы говорили мне, что… хотя, какой в том смысл? У вас свой собственный взгляд на вещи.

— «Взгляд на вещи», который я вам цитировал, сир философ, — это не взгляд на процесс создания человечества, а взгляд на те искушения, которые ведут к катастрофе. Сумеете ли вы избежать ее? «И змей сказал женщине…»

— Да, да, но свобода дискуссий столь существенна…

— Никто не пытается вас ее лишить. И никто тут не обижен. Но попытка вводить в заблуждение интеллект из-за гордости, тщеславия или из желания скрыться от ответственности — плоды того же самого дерева.

— Вы оспариваете благородство моих мотивов? — темнея, спросил Тон.

— Временами я оспариваю самого себя. Я ни в чем вас не обвиняю, но спросите себя вот о чем: почему вы испытываете удовольствие, выдвигая столь дикие предположения перед столь неподготовленной и робкой аудиторией? Почему вы хотите обязательно унизить прошлое, даже отказывая в гуманности прошлой цивилизации? И говоря, что у вас нет необходимости учиться на

их ошибках? Или, возможно, вы так поступаете потому, что вам нетерпима роль вновь открывающего уже известное, а вы хотите чувствовать себя полноправным создателем?

Сквозь стиснутые зубы Тон прошипел проклятие.

— Эти записи должны находиться в руках компетентных людей, — гневно сказал он. — При чем тут ирония?

Свет ярко вспыхнул и погас. Причиной тому была не поломка. Послушники, вращавшие рукоятки, прекратили работать.

— Принесите свечи, — приказал аббат.

Свечи были тут же доставлены.

— Спускайся, — сказал аббат послушнику, сидевшему на лестнице. — И захвати ее с собой. Брат Корнхоер? Брат Корн…

— Он только что ушел в хранилище, господин мой.

— Так позовите его. — Дом Пауло снова повернулся к ученому, протягивая ему документ, который был найден среди вещей брата Кларе. — Прочтите это, если вам хватит света свечей, сир философ!

— Верховный эдикт?

— Прочтите и можете возрадоваться своей воз-

любленной свободе.

Брат Корнхоер скользнул в помещение. Он тащил тяжелое распятие, которое убрали из проема арки, чтобы водрузить там лампу. Он протянул крест Дому Пауло.

— Откуда ты узнал, что оно мне нужно?

— Со временем я это понял, господин мой, — он пожал плечами.

Старик поднялся по лестничке и водрузил крест на прежнее место. В пламени свечей тело распятого отливало золотом. Повернувшись, аббат позвал монахов.

— Тот, кто читал в этом алькове, пусть прочтет «К телу Христову».

Когда он спустился с лестницы, Тон Таддео торопливо собирал остатки бумаг, решив подробнее разобраться в них попозже. Он встревоженно посмотрел на священника, но ничего не сказал.

— Прочитали эдикт?

Ученый кивнул.

— Если вам почему-то не повезет и вам придется стать политическим беженцем, то здесь…

Ученый покачал головой.

— Тогда не могу ли я попросить прояснить вашу точку зрения относительно того, что наши собрания должны находиться в компетентных руках?

Тон Таддео опустил глаза.

— Это было сказано сгоряча, отец. Я беру свои слова назад.

— Но вы все равно так думаете. Все время.

Тон не стал отрицать эти слова.

— Я чувствую, что тщетно просить вашего вмешательства в вопрос о нашем существовании — тем более что ваши офицеры доложат вашему кузену, что тут может быть размещен внушительный гарнизон. Но для его же собственного блага скажите ему, что когда алтарь нашей Меморабилии подвергался угрозам, наши предшественники, не медля, обнажали меч в ее защиту, — он помолчал. — Вы уезжаете сегодня или завтра?

— Мне кажется, что лучше сегодня, — тихо сказал Тон Таддео.

— Я прикажу подготовить вам припасы в дорогу, — аббат повернулся уходить, но остановился и мягко добавил: — Когда вы вернетесь, передайте послание вашим коллегам.

— Конечно. Вы напишете его?

— Нет. Просто скажите, что любой, кто захочет заниматься здесь, будет гостеприимно принят, несмотря на наше плохое освещение. Особенно Тон Махо. Или Тон Эссер Шон с его шестью

ингредиентами. Люди должны избавляться от заблуждений в поисках путей к правде, я думаю — в конце концов они должны перестать столь жадно лелеять свои заблуждения, хотя они приятны на вкус. И скажи им, сын мой, что когда придет время — а оно всегда приходит, — когда не только священникам, но и философам придется искать убежище, — скажи им, что стены наши по-прежнему толсты.

Он кивнул, отпуская послушников, а затем медленно поднялся в свой кабинет, где остался в одиночестве. Ибо боль уже начинала снова его терзать изнутри, и он знал, что его ждут новые пытки.

«Может быть, со временем хоть немного отпустит», — безнадежно подумал он. Надо было бы встретиться с отцом Галтом и выслушать его исповедь, но он решил, что лучше дождаться, когда уедут гости. Он снова взглянул на эдикт.

Стук в дверь прервал его страдания.

— Придите попозже.

— Боюсь, что позже меня здесь уже не будет, — раздался приглушенный голос из коридора.

— О, Тон Таддео — входите же. — Дом Пауло выпрямился, боль жестоко терзала его, не отпуская ни на минуту, только порой чуть притихая, слов-

но желая убедиться, подчинила ли она его себе.

Войдя, ученый положил пачку бумаг на стол аббата.

— Я думаю, что надежнее всего было бы оставить это здесь, — сказал он.

— Что это такое?

— Наброски ваших укреплений. Те, что делали офицеры. Думаю, что вам лучше всего их немедленно сжечь.

— Почему вы это сделали? — выдохнул Дом Пауло. — После того, что вы говорили внизу…

— Я хочу, чтобы вы меня поняли, — сказал Тон Таддео. — Я вернул бы их в любом случае — для меня это было делом чести, а не только возмещением вашего гостеприимства… впрочем, неважно. Если бы я вернул их вам раньше, офицеры успели бы восстановить их.

Аббат медленно поднялся из-за стола и протянул ученому руку.

Тон Таддео помедлил.

— Я не обещаю, что смогу сказать о вас…

— Я знаю.

— …ибо я думаю, что ваши собрания должны быть открыты миру.

— Так было, так есть и так всегда будет.

Они сердечно пожали руки друг другу, но аббат

знал — это не столько заключение мира, сколько символ взаимного уважения между врагами. Может, большего и желать было нельзя.

Но почему все должно было свершаться снова и снова?

Ответ был почти ясен, и уже змеями ползли глухие слухи: поскольку Богу известно, в какой день вкусишь ты плоды сии, следовательно, глаза твои будут открыты, и ты станешь равным Богам. Старый прародитель лжи был умен, говоря лишь половину правды: как ты можешь «знать», что такое зло и что такое добро, пока сам не вкусишь плодов их? Вкуси — и будешь как Бог. Но ни бесконечное могущество, ни бесконечная мудрость не могли даровать благо человеку. Ибо для этого была необходима бесконечная любовь.

Дом Пауло пригласил молодого священника. Ибо подходило время прощания. И скоро должен был прийти новый год.

То был год неслыханного изобилия дождей, отчего семена, долго тосковавшие по влаге, пошли в бурный рост и цветение.

То был год, когда цивилизация коснулась и кочевников с Долин, и даже люди в Ларедо стали шептаться, что, возможно, все делается к лучшему. Рим не был согласен с этим.

То был год, когда было подписано, а затем нарушено временное соглашение между государствами Денвер и Тексарканой. Это был год, когда старый еврей вернулся к своему призванию целителя и странника, год, когда монахи альбертианского ордена святого Лейбовица похоронили старого аббата и избрали нового. То было время светлых надежд на завтрашний день.

То был год, когда король отправился в поход на восток, дабы покорить эти земли и владеть ими.

Глава 23

Лучи солнца палили землю, падая на склон холма, и жара вызывала у Поэта страшную жажду. Наконец он тяжело оторвал от земли голову и попытался осмотреться. Резня кончилась, все вокруг лежали в полном безмолвии, если не считать кавалерийского офицера. Стервятники уже парили в воздухе, готовясь приземлиться.

Вокруг лежали несколько мертвых беженцев, убитая лошадь и умирающий офицер-кавалерист, придавленный телом лошади. Время от времени кавалерист приходил в себя и начинал стонать. Теперь он взывал к матери, а потом начинал стонать, требуя священника. Порой он оплакивал свою лошадь. Его стоны вспугивали стервятников и сердили Поэта, который находился в брезгливом настроении. Одухотворенность была ему чужда. Он никогда не ожидал от мира, что тот будет поступать по отношению к нему с изысканной вежливостью или хотя бы с пониманием, и мир в самом деле редко разочаровывал его, но порой Поэт принимал слишком близко к сердцу его глупость и жестокость. Но никогда еще раньше мир не стрелял Поэту в живот из

мушкета. Этого уже он вынести не мог.

Хуже всего, что сейчас ему приходилось проклинать не столько глупость мира, сколько свою собственную. Поэт сам грубо ошибся. Он занимался своими собственными делами и никому не мешал, когда заметил группу беглецов, бежавшую к холму, и почти настигший их отряд всадников. Чтобы избежать неприятностей и не лезть в драку, он спрятался в заросли кустарников, которые росли на краю дороги, оборудовав себе наблюдательный пункт, откуда он мог видеть все, не будучи замеченным. Это была не его драка. Его не интересовали ни политические, ни религиозные взгляды ни беглецов, ни кавалеристов. Если уж бойне суждено свершиться, судьба не могла подобрать более равнодушного ее свидетеля, чем Поэт. Зачем он поддался этому слепому порыву?

Импульс заставил его выскочить из укрытия и схватить офицера, сидевшего в седле, которому он нанес три удара ножом, обычно висевшим у него на поясе, после чего оба они покатились по земле. Он и сам не мог понять, почему он это сделал. Ему ничего не угрожало. Люди этого офицера выстрелили в него прежде, чем он успел встать на ноги. Резня беглецов продолжалась.

Оставшихся в живых увели с собой, а мертвые остались лежать, где застигла их судьба.

Он слышал, как бурчит у него в животе. Увы, тщетно — до мушкетной пули ему не добраться. Он совершил эту бесполезную глупость, наконец решил он, потому что увидел, как этот идиот офицер орудовал своей идиотской саблей. Если бы он просто рубанул женщину, сидя в седле, и поскакал дальше, Поэт не обратил бы внимания на его поступок. Но он продолжал рубить ее и резать, и…

Он запретил себе думать об этом. Он думал только о воде.

— О, Господи… о, Господи… — продолжал стонать офицер.

— К следующему разу подточи свою саблю, — проскрипел Поэт.

Но следующего раза не будет больше.

Поэт не мог припомнить, боялся ли он когда-нибудь смерти, но часто подозревал Провидение, что оно подстроит ему грязную каверзу в миг смерти, когда придет его черед умирать. Пришла и ему пора подыхать. Медленно и не очень возвышенно. Порой поэтическое озарение подсказывало ему, что, скорее всего, он должен умереть, разъедаемый вспухшими чумными

язвами, трусливо моля о покаянии и прощении, но не получивший его. Ничего не могло быть противнее, чем вот так случайно получить пулю в живот и умирать в полном одиночестве, без свидетелей, которые могли бы слышать его полные сарказма реплики перед смертью. Последнее, что услышали те, кто стрелял в него, был звук «Уф-ф-ф!» — его завещание вечности.

«Уф-ф-ф! — на память тебе, Владыка Небесный».

— Отче? Отче? — стонал офицер.

Через какое-то время Поэт опять собрался с силами и поднял голову от земли. Проморгавшись от грязи в глазах, он посмотрел на офицера. Он был уверен, что офицер тот самый, в которого он вцепился, хотя сейчас лицо его покрывала мертвенная бледность, отливавшая зеленью. Его блеющие стоны, когда он требовал священника, начинали раздражать Поэта. По меньшей мере трое церковников лежали мертвыми среди беглецов, и теперь офицеру уже неважно, к какому они принадлежали вероисповеданию. «Может, и я ему сгожусь», — подумал Поэт.

Он начал медленно подтягивать свое тело по направлению к умирающему кавалеристу. Офицер увидел его приближение и схватился за

пистолет. Поэт остановился, он не ждал, что его узнают. Он уже приготовился искать укрытие. Пистолет был направлен в его сторону. Несколько секунд он наблюдал, как тот прыгает в руке офицера, и решил продолжать свое движение. Офицер нажал курок. Пуля врылась в землю в нескольких ярдах от него — повезло.

Когда офицер попытался перезарядить оружие, Поэт вырвал у него пистолет. Казалось, тот был пьян и хотел перекреститься.

— Давай, давай, — сказал Поэт, найдя свой нож.

— Благослови меня, отче, ибо я грешен…

— Ныне те отпущаеши, сын мой, — сказал Поэт и воткнул нож офицеру в горло.

Затем он нашел офицерскую фляжку и немного отпил. Вода согрелась на солнце, но была восхитительна. Он лежал, положив голову на труп лошади, и смотрел, как тень от холма ползла к дороге. Иисусе, как болит! Последнюю историю, что случилась со мной, объяснить не так легко, тем более что у меня нет с собой искусственного глаза. Если тут вообще есть, что объяснять. Он посмотрел на мертвого кавалериста.

— Жарко, как в аду, не так ли? — прошептал он.

Толку от кавалериста было не добиться. Поэт еще раз отпил из фляжки, а потом еще раз. Внезапно кишки его пронзила сильная боль, и несколько секунд он прямо корчился от боли.

Стервятники прохаживались с важным видом, чистили перья и дрались из-за остатков трапезы: они еще не насытились. Несколько дней они ждали из-за волков. Но здесь хватило добра всем. Наконец они принялись за Поэта.

Как обычно, черные стервятники неба, когда пришло время, отложили яйца и принялись любовно выкармливать свою поросль. Они парили высоко над прериями, горами и долинами, выслеживая свою долю от жизни, что было частью существования природы. Их философы неопровержимо свидетельствовали, что Высший Дух Святой создал мир специально для них, стервятников. Они уже много столетий владели им, и аппетит у них был отменный.

И наконец после поколений тьмы пришли поколения света. И назвали они год сей годом от рождения Господа нашего 3781-м — годом его мира и благоволения, как они молили.

FIAT VOLUNTAS TUA!
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ!

Глава 24

И снова поднялись к небу блестящие колонны космических кораблей, чем было ознаменовано это столетие, и созданы они были какими-то странными существами, которые ходили на двух ногах и отращивали пучки волос на самых разных участках своего анатомического строения. Они были болтливы, они принадлежали к расе, которая была способна восхищаться своими изобретениями в зеркале и в то же время вполне могла перерезать себе горло перед алтарем племенного бога, такого, например, как божество Ежедневного Бритья. То были существа, которые часто говорили о себе, что их мастерство носит, в сущности, следы божественного вдохновения, но любое интеллигентное существо с Арктура, без сомнения, воспринимало бы их лишь как вдохновенных сочинителей послеобеденных спичей.

И неизбежно последовало, что они декларировали (как не в первый раз), что целью и смыслом их существования является завоевание звезд. И если потребуется, они будут завоевывать их раз за разом и, конечно, по поводу каждого завоевания они будут произносить речи. Но столь

же неизбежно явствовало, что раса эта опять падет жертвой старых хворей нового мира, как уже бывало на Земле — под звуки литаний в честь жизни и специальных литургий во имя Человека.

Мы — суть столетий.

Мы — скуловороты, и клич наш победен,

и скоро мы скажем, что головы с плеч ваших снесем.

Скоро мы с песнями в мусор вас уберем, сэр и мадам, а за спинами вашими гимны наши слышны и ритм шагов, что кажется вам странным и страшным.

Левой!

Левой!

Жена-у-него-хороша-но сам-он…

Левой!

Левой!

Левой!

Левой!

Правой!

Левой!

Wir, — как говорилось в старые времена, — marschieren weiter wenn alles in Scherben fallt[44].

---

[44] Примечания: 44

Мы маршируем дальше, когда все рассыпается на части *(нем.).*

Имели мы ваши эолиты и ваши неолиты. Имели мы ваши вавилоны и ваши помпеи, ваших цезарей и все ваши хромированные штучки, которые и не пахнут настоящей жизнью.

Имели мы ваши кровопускания и ваши Хиросимы.

Плевать нам на ад, плевать нам на

Атрофию, Энтропию и

Нам по вкусу похабные шутки о дешевой девчонке по имени Ева и о бродячем торговце, что звался Люцифером.

Мы погребли и ваших мертвых и память о них.

Мы погребем и вас. Ибо мы — суть столетий.

Родившись, вдохни воздуха в грудь, заори под шлепком акушера — и вступай в борьбу с человечеством, ибо в тебе есть часть божества; чувствуй боль, рождай себе подобных, борись и умирай.

(Мертвые, будьте любезны собраться у запасного выхода.)

Рождение и возрождение, снова и снова, это ритуал, кровавые рубища и пронзенные гвоздями руки, дети Мерлина, озаренные слабым светом. И дети Евы, что вечно строят Эдем — и столь же вечно яростно разбрасывают его на куски, потому что что-то не получается — (АХР-Р-Р! АХР-Р-Р! — в бессмысленном гневе рычит идиот

среди развалин и щебня. Но, чу! Пусть его крики утонут в звуках хора, орущего «Аллилуйю» на все девяносто децибел).

А теперь послушайте последний гимн Братства святого Лейбовица, как его пели в то столетие, которое поглотило его наименование:

ЛЮЦИФЕР ПОВЕРЖЕН
Кирие элейсон
ЛЮЦИФЕР ПОВЕРЖЕН
Христос элейсон
ЛЮЦИФЕР ПОВЕРЖЕН
Кирие элейсон, элейсон имас![45]

ЛЮЦИФЕР ПОВЕРЖЕН, кодовые слова, которые электрическими вспышками обежали все континенты, которые шептали в залах для заседаний, которые циркулировали в виде кратких меморандумов, на которых стояли слова «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» и которые тщательно оберегали от прессы. Но слова эти вздымались угрожающей волной цунами над плотиной официальной секретности. В плотине было несколько целей,

---

[45] Примечания: 45

Господи, помилуй…
Христос, помилуй…
Господи, помилуй, помилуй нас! (греч.).

которые бесстрашно заткнул преданный бюрократическому распорядку голландский мальчик, но пальчик его посинел и распух, пока он увертывался от зарядов, которые непрестанно летели в него со страниц прессы.

ПЕРВЫЙ РЕПОРТЕР: Как ваша светлость прокомментирует сообщение сэра Рише Тона Беркера, что уровень радиации на северо-западном берегу в десять раз превышает нормальный уровень?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Я не читал такого заявления.

ПЕРВЫЙ РЕПОРТЕР: Но если принять его за правду, кто должен отвечать за такой всплеск радиации?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Ваш вопрос построен на предположении. Может быть, сэру Рише довелось открыть большие залежи урановых руд. Нет, вычеркните это. У меня нет комментариев.

ВТОРОЙ РЕПОРТЕР: Считает ли ваша светлость сэра Рише компетентным и знающим ученым?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Он никогда не работал под моим началом.

ВТОРОЙ РЕПОРТЕР: Ответ нас не удовлетворяет.

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Ответ вполне удовлетворительный. Так как он никогда не работал в моем

департаменте, я лишен возможности оценивать его компетентность и чувство ответственности. Я не ученый.

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Правда ли, что недавно где-то в Тихом океане произошел ядерный взрыв?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Как мадам должно быть хорошо известно, проведение любых атомных испытаний является тяжелым преступлением и актом войны, как гласят существующие международные законы. Мы войну не объявляли. Ответил ли я на ваш вопрос?

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Нет, ваша светлость, не ответили. Я спрашивала не о проведении испытаний. Я спросила, был ли взрыв?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Мы отказались от таких взрывов. Если они провели нечто подобное, не предполагает ли мадам, что правительство должно быть проинформировано с их стороны?

(Вежливый смешок).

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: И все же это не ответ на мой…

ПЕРВЫЙ РЕПОРТЕР: Ваша светлость, делегат Джерулиан обвинил Азиатскую Коалицию, что они вывели в дальний космос запасы водородного оружия, и он утверждает, что наш

Исполнительный Совет знает об этом, но ничего не предпринимает. Правда ли это?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Правда, что «Трибуна Оппозиции» в самом деле выдвинула такое смехотворное обвинение, это да.

ПЕРВЫЙ РЕПОРТЕР: Почему вы считаете обвинение смехотворным? Потому что они еще не вывели в космос ракеты «космос — земля?» Или потому что мы как-то реагируем на ситуацию?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Так или иначе оно смехотворно. Я хотел бы тем не менее напомнить, что производство ядерного оружия, с тех пор как оно было снова открыто, запрещено соответствующим договором. И запрещено повсеместно — и в космосе, и на Земле.

ВТОРОЙ РЕПОРТЕР: Но договор не запрещает выведение на орбиту расщепляющихся материалов, не так ли?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Конечно, нет. Космические средства передвижения все используют ядерную энергию и должны снабжаться ею.

ВТОРОЙ РЕПОРТЕР: И не существует договора, запрещающего выводить на орбиту и другие материалы, из которых может быть создано ядерное оружие?

МИНИСТР ОБОРОНЫ (раздраженно): Наскольк-

ко мне известно, положение дел за пределами нашей атмосферы не определяется никакими договорами или парламентскими актами. И я вижу, что космос забит такими предметами, как луна и астероиды, которые сделаны отнюдь не из зеленого сыра.

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Считает ли ваша светлость, что ядерное оружие может быть создано и без доставки исходных материалов с Земли?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Я так не считаю, о нет. Конечно, теоретически это возможно. Я сказал, что ни один из договоров или законов не ограничивает доставку на орбиту сырья — они имеют отношение только к ядерному оружию.

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Как вы могли бы оценить недавний взрыв на Востоке: было ли то подземное испытание, вырвавшееся на поверхность, или ракета «космос — земля» с дефектной боеголовкой?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Мадам, ваш вопрос столь неопределенен, что вы вынуждаете меня ответить: «Без комментариев».

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Я всего лишь повторяю сэра Рише и делегата Джерулиана.

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Они вольны пускаться в любые самые дикие рассуждения. У меня такой

свободы нет.

ВТОРОЙ РЕПОРТЕР: Рискуя показаться неправильно понятым, хотел бы поинтересоваться мнением вашей светлости относительно погоды.

МИНИСТР ОБОРОНЫ: В Тексаркане довольно тепло, не так ли? Я понимаю, что надвигающиеся пыльные бури с юго-запада доставляют определенное беспокойство. Но некоторые из них мы успеем перехватить.

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Одобряете ли вы деятельность Материнства, лорд Рагелл?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Я резко выступаю против него, мадам. Оно оказывает зловредное влияние на молодежь, особенно на новобранцев. Военное ведомство имело бы прекрасных солдат, если бы наши бойцы не подвергались разлагающему влиянию Материнства.

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Можем ли мы вас процитировать, вашу точку зрения?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Конечно, мадам, но только в моем некрологе — не раньше.

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Благодарю вас. Я заблаговременно подготовлю его.

Как и его предшественники, аббат Дом Джетрах Зерчи по натуре не отличался особой созерцательностью, хотя как духовный владыка общины,

он должен был способствовать развитию определенных аспектов созерцательного отношения к бытию в пределах его общины и как монах культивировать это качество и в себе. Но Дом Зерчи не преуспевал ни в том ни в другом. Его натура побуждала к действиям даже в мыслях, ум его решительно отказывался занимать позицию созерцательности. Его неутомимость и выдвинула его в лидеры общины, чье право на руководство ею не подвергалось сомнению, и его даже можно было считать более удачливым правителем, нежели его предшественники, хотя его неутомимость легко могла стать обременительной или даже пойти во зло.

Самого Зерчи большую часть времени совершенно не беспокоила собственная суетливость, с которой он хватался за любое дело или вступал в бой с неистребимыми драконами зла. Но сейчас он был серьезно встревожен. И для этого были серьезные основания. Дракон почти одолел святого Георгия.

Драконом этим был Ужасный Самописец, и его ужасающие размеры, проистекающие из достижений электроники, уже заполнили несколько кубических пустот в стене и чуть ли не треть томов, лежащих на столе аббата. Как обычно, новое

изобретение работало из рук вон плохо. Слова писались не с заглавной, а со строчной буквы, коверкался их смысл, в пунктуации царил хаос. Только что электрические внутренности исказили титулование суверенного владыки аббатства, который, вызвав ремонтника и тщетно прождав его три дня, с отвращением решил сам взяться за правку текста и получил на руки типичное произведение:

«иСпытание, испЫтание, испытаНие! Испытание испытаНИЕ? проКлятИе! поЧЕму эти суМАсшедшие букВы БУдут Ли они слУШаться? вРемя для ВСех муДрЫх ВспоминаТелей пуСть У них БОлиТ голова от СоБиРателей КНИг. ПРовались ты. МоЖЕТ попроБОваТь поЛАТыни? ЧТО происхоДИт С этОй ПрокляТОЙ штуКой».

Зерчи присел на пол в окружении разбросанного бумажного хлама; он сидел, пытаясь унять дрожь руки, потому что получил удар током, когда пытался сам разобраться во внутренностях и кишках этого мерзкого Самописца. Подрагивающие мускулы напомнили ему, как дергается мышца лягушки под воздействием гальванического тока. Хотя он четко помнил указание, что, прежде чем лезть в машину, ее надо отключить, но не предполагал, что враг рода человеческого,

выдумавший эту штуку, будет с такой силой бить током тех, на кого выпало несчастье ею пользоваться. Когда он в поисках обрыва оголял и соединял провода, его стукнуло высоким напряжением из конденсатора, который имел наглость разрядиться через посредство досточтимого отца аббата, и досточтимый аббат, отлетев, сильно ушиб себе локоть о станину. Но Зерчи не имел представления, стал ли он жертвой законов природы конденсаторов или же хитро встроенной ловушки для потребителей. Во всяком случае, его сбило с ног. На полу он очутился не по своей воле. Его уверенность в своем умении разбираться во внутренностях устройства для перевода со многих языков базировалась на том, что однажды он с гордостью извлек из хранилища информации дохлую мышь, устранив загадочную склонность машины к повторению слогов (слослоговгов). В тот раз, обнаружив дохлую мышь и выяснив, что она кое-где перегрызла провода, аббат решил, что Небо благословило его даром исцеления электронных машин. Но выяснилось, что это далеко не так.

— Брат Патрик! — обратился он к приемной и тяжело поднялся на ноги.

— Эй, брат Пат! — снова крикнул он.

Наконец дверь открылась, и секретарь осторожно всунул голову, с опаской глядя на открытые панели стенных шкафов, за которыми виднелась потрясающая путаница проводов; он обвел взглядом замусоренный пол, потом опасливо взглянул на выражение лица своего духовного владыки.

— Снова вызвать ремонтную службу, отец аббат?

— Какой в том смысл? — буркнул Зерчи. — Ты уже вызывал их три раза. И они три раза обещали прибыть. Мы ждали три дня. Мне нужен стенографист. И сейчас же! Желательно христианин. Эта штука, — он раздраженно ткнул рукой по направлению к Омерзительному Самописцу, — проклятый неверный или даже хуже того. От него надо избавиться. Я хочу, чтобы его тут не было.

— АПЛАКА?

— Именно АПЛАКА. Продайте его атеистам. Нет, с нашей стороны это неблагородно. Отдайте мусорщикам. С меня хватит. И зачем только, во имя Небес, аббат Бумус — да почиет его душа в мире — купил эту идиотскую штуку?

— Видите ли, господин мой, они говорили, что вашему предшественнику очень нравились разные штучки и он считал, что очень удобно сразу же писать письма на том языке, которым ты не

владеешь.

— Неужто? Ты имеешь в виду, что так должно быть. Это изобретение… послушай, брат, они утверждают, что оно думает. Я сразу же в это не поверил. Мыслит, имеет какие-то принципы, имеет душу. Могут ли детали «думающей машины» — созданной человеком — обладать разумной душой? Ба! С первого же взгляда ясно, что так думать могут только язычники. Но знаешь, что я тебе скажу?

— Отец мой?

— Она не может проявлять такое дьявольское упрямство без преднамеренности! Она должна думать! Она знает, что такое добро и зло, говорю я тебе, и она явно имеет склонность к последнему. И перестань хихикать, слышишь! Тут не до смеха! Такой точки зрения придерживаются не только язычники. Что за душа у нее? Как у растения? У животного? А если у нее разумная душа человека, ангелы нам уже не нужны. Но с чего мы взяли, что этот список уже полон? Растительная, животная, разумная — и что еще? Что там еще, именно там? Вот она, эта штука. И она сшибает с ног. Вытащить ее отсюда… но сначала я хочу дать радиограмму в Рим.

— Взять ли блокнот для записей, досточтимый

отче?

— Ты говоришь на западно-аппалачском?

— Нет.

— И я тоже, а кардинал Хоффштратт не понимает юго-западный.

— Тогда почему бы не по-латыни?

— На какой латыни? На вульгарной или современной? Я не доверяю даже своему англо-латинскому, и в таком случае он-то уж точно в нем не разберется, — он нахмурился, глядя на тушу электронного стенографиста.

Брат Патрик нахмурился вместе с ним и, подойдя поближе, стал всматриваться в путаницу сверхминиатюрных компонентов конструкции.

— Мышей больше нет, — заверил его аббат.

— А что значит эта маленькая кнопка?

— Не трогай! — завопил аббат Зерчи, увидев, что его секретарь с любопытством протянул руку к одному из дюжины тумблеров на панели. Контрольное управление скрывалось в небольшой аккуратной коробке, крышку которой аббат снял, несмотря на грозное предупреждение: «ТОЛЬКО В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ».

— Ты не притрагивался к ней? — спросил он, направляясь к Патрику.

— Я вроде бы пошевелил ее немного, но, кажет-

ся, она вернулась на свое место.

Зерчи показал ему предупреждение на крышке коробки.

— Ох, — сказал Пат; и они посмотрели друг на друга.

— Она же имеет отношение главным образом к пунктуации, не так ли, досточтимый отец?

— И к ней, и к заглавным буквам, и к некоторым неприличным выражениям.

Полные почтительного молчания, они воззрились на все штучки, дрючки и закорючки.

— Слышал ли ты о преподобном Френсисе из Юты? — наконец спросил его аббат.

— Этого имени я не припомню, господин мой. А в чем дело?

— Просто я надеюсь, что сейчас он молится за нас, хотя не уверен, что он был канонизирован. Слушай, давай-ка немного повернем эту-как-ее.

— Брат Иешуа вроде был каким-то инженером. Я забыл, где именно. Но он был в космосе. Они должны немного разбираться в компьютерах.

— Я уже вызывал его. Он боится притрагиваться. Может, надо вот здесь…

Патрик скользнул в сторону.

— Если вы извините меня, милорд, я…

Зерчи взглянул на своего перепуганного сек-

ретаря.

— О, вы, маловерные! — сказал он, не обращая внимания на еще одно указание: «ТОЛЬКО В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ».

— Мне показалось, что кто-то пришел.

— И прежде чем трижды пропоет петух… кстати, ты же трогал эту первую кнопку, не так ли?

Патрик замялся.

— Но крышка была снята, и я…

— Иди, презренный. Прочь, прочь, прежде чем я не решил, что тут твоя вина.

Снова оставшись один, Зерчи поставил вылетающий предохранитель, сел за свой стол и, пробормотав краткую молитву святому Лейбовицу (который в это столетие обрел куда более широкую популярность, как покровитель и святой электриков, чем когда-то в роли основателя Альбертианского ордена святого Лейбовица), щелкнул тумблером. Раздались шипящие и булькающие звуки, но ничего не произошло. Он слышал только легкое пощелкивание реле и гудение микродвигателей, набиравших скорость. Он засопел. Озоном и не пахло. Наконец он открыл глаза. Даже индикаторы на контрольной панели его письменного стола горели как обычно. Вот уж действительно, «ВСКРЫВАТЬ ТОЛЬКО

В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ»!

Несколько успокоившись, он нажал клавишу «РАДИОГРАММЫ», повернул селектор на «ЗАПИСЬ С ГОЛОСА», перевел переводчика на «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ-АППАЛАЧСКИЙ», поставил ручку записи в положение «ГОТОВО», пододвинул к себе микрофон и начал диктовать:

«Срочно! Его Высокодосточтимому Преосвященству, сиру Эрику, кардиналу Хоффштратту, Апостолическому Местоблюстителю, Священнослужителю Внеземных Территорий, главе Святой Конгрегации Пропаганды, Ватикан, Новый Рим…

Ваше Досточтимое Преосвященство! Учитывая напряжение, растущее в мире за последнее время, опасения нового международного кризиса, а также сообщения о тайной гонке ядерных вооружений, мы сочли бы большой честью, если бы Ваше Преосвященство сочло возможным дать совет о нынешнем статусе известных планов, поскольку повсюду царит состояние неопределенности. Я хотел бы напомнить о словах в булле папы Селестина Восьмого, да будет благословенна его память, данной по поводу Празднования Святой Девы в год от рождения Господа нашего 2735 и начинающейся со слов… — он сделал паузу, чтобы найти бумагу на своем столе, — «Ab

hac planeta novitatis aliquos filios Ecclesiae usque ad planetas solum alienorum iam abisse et numquam redituros esse intelligimus…»[46] Напомню также документ от 3749 года «Quo peregrinatur grex, pastor secum»[47], разрешающий продажу острова и… некоторых средств передвижения. Затем обращусь к «Casus belli nunc remoto»[48] покойного папы Павла от 3756 года и к корреспонденции между Святым Отцом и моим предшественником, которая завершилась указанием в наш адрес приостановить работу над планом «Quo peregrinatur» до той поры, пока Ваше Преосвященство не даст нам указаний относительно его судьбы. Мы продолжаем пребывать в постоянной готовности к продолжению работы над планом «Quo peregrinatur», и, если с вашей стороны будет выражено желание довести его до конца, нам потребуется примерно шесть недель…».

Пока аббат диктовал, этот Отвратительный Самописец всего лишь фиксировал его голос и

---

[46] Примечания: 46

«Мы знаем, что от этой новой планеты какие-то сыны Церкви уже удалились к планетам чужим и никогда не вернутся…» *(лат.).*

[47] Примечания: 47

«Где блуждает стадо, пастух с собой» *(лат.).*

[48] Примечания: 48

«Ныне устранив повод к войне» *(лат.).*

переводил звучащие слова в фонемы, закодированные на ленте. Закончив диктовать, аббат переключился на «АНАЛИЗ» и нажал на кнопку с надписью «ВЫДАЧА ТЕКСТА». Мигнувшая лампочка просигнализировала о готовности. И машина приступила к работе.

Тем временем Зерчи изучал лежащие перед ним документы.

Прозвучал звонок. Лампа, сигнализировавшая о готовности, мигнула и погасла. Наступило молчание. Бегло бросив встревоженный взгляд на крышку с надписью «ВСКРЫВАТЬ ТОЛЬКО И ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ», аббат закрыл глаза и нажал кнопку с надписью «ТЕКСТ».

Чат-чат-чат-пип-пип… поп-так-поп, — затарахтела автоматическая пишущая машинка, выдавая, как он надеялся, текст радиограммы. Он с надеждой прислушался к стуку клавиш. Четкий ритм их показался ему достаточно убедительным. Он попытался уловить в нем звуки аппалачского диалекта и, послушав некоторое время, пришел к выводу, что тут в самом деле слышен ритм аппалачского языка. Он открыл глаза. Робот-стенографист, примостившийся в другом конце комнаты, был неустанно занят работой. Выйдя из-за стола, он подошел посмотреть, что

у него получается. С предельной тщательностью Омерзительный Самописец писал аппалачский вариант его текста:

СРОЧНО — РАДИОГРАММА

Кому: Его Высокодосточтимому Преосвященству, сиру Эрику, кардиналу Хоффштратту, Апостолическому Местоблюстителю, священнослужителю Внеземных Территорий, Ватикан, Новый Рим.

От кого: Дост. Аббат Джетрах Зерчи. Аббатство Святого Лейбовица. Санли Боуиттс, Западн. Территория.

Тема: Об известном плане

Ваше Досточтимое Преосвященство! Учитывая напряжение, растущее в мире за последнее время, опасения нового международного кризиса, а также сообщения о тайной гонке ядерных вооружений, мы сочли бы большой честью…

— Эй, брат Пат!

Он с отвращением выключил машину. О, святой Лейбовиц! Неужели наши труды были ради этого? Он не считал, что эта штука была значительно лучше тщательно очиненного гусиного

пера и пузырька чернил.

— Эй, Пат!

Немедленного ответа из приемной не последовало, но через несколько секунд монах с рыжей бородой приоткрыл дверь и, взглянув на развороченный кабинет, покрытый бумагами пол и выражение лица аббата, имел наглость улыбнуться.

— В чем дело, магистер меус? Неужели вам не нравится наша современная техника?

— Откровенно говоря, ни в коем случае! — рявкнул Зерчи. — Эй, Пат!

— Он вышел, милорд.

— Брат Иешуа, не можете ли вы привести в порядок эту штуку? Но как следует.

— Как следует? Нет, не могу.

— Я должен послать радиограмму.

— Плохи дела, отец аббат. Ничего не получится. Они только что изъяли у нас несколько блоков и заперли радиорубку.

— Они?

— Внутренняя служба защиты зоны. Всем частным передатчикам запрещено выходить в эфир.

Зерчи добрался до своего кресла и свалился в него.

— Значит, объявлена тревога. В чем дело?

Иешуа пожал плечами.

— Ходят слухи об ультиматуме. Это все, что я знаю, если не считать данных на счетчике радиации.

— Все растет?

— Все растет.

— Позвони в Спокейн.

К полудню поднялась буря. Ветры бушевали над плоской верхушкой горы и маленьким городком Санли Боуиттс, путали посевы на осушенных полях, засыпая их песчаными наносами. Порывы ветра со стоном и воем били в каменные стены старинного аббатства, в стеклянно-алюминиевые корпуса современной пристройки к нему. Красный овал солнца был затянут грязной пеленой пыли, и пыльные смерчи крутились на гладкой поверхности шестирядного шоссе, отделявшего аббатство от его современной пристройки.

На обочине боковой дороги, которая одним концом примыкала к монастырю и, вливаясь в шоссе, вела от монастыря в город, закутавшись в лохмотья и прислушиваясь к вою ветра, стоял старый бродяга. С южной стороны ветер донес грохот взлетевших ракет. Ракета-перехватчик «земля — космос» была запущена на круговую орбиту со стартовой площадки, расположенной

далеко от здешней пустыни. Опершись на посох, старик посмотрел на тускло-красный диск солнца и пробормотал, обращаясь то ли к себе, то ли к солнцу: «Аминь, аминь…»

Во дворе хижины, стоящей неподалеку от дороги, в зарослях сорняков играла группа детей, находящихся под присмотром молчаливой, но всевидящей сгорбленной черной старухи, которая, сидя на крыльце, курила трубку, набитую сухими листьями, время от времени успокаивая то одного, то другого не в меру расшалившегося питомца.

Один из детей заметил старого бродягу, стоящего на краю дороги, и тут же заорал:

— Гляди-ка, гляди-ка! Это старый Лазарь! Тетка говорит, что это тот самый старый Лазарь, что присутствовал при воскрешении Христа! Гляди! Лазарь! Лазарь!

Ребята повисли на покосившейся изгороди. Бродяга мрачно посмотрел на них и пошел вдаль по дороге. К ногам его упал камень.

— Эй, Лазарь…

— Тетка говорит, что когда воскрес Господь Бог, он стоял над ним. Гляди-ка на него! Эй! Все еще ждешь воскрешения господнего? Тетка говорила…

Еще один камень полетел вслед старику, но тот не обернулся. Старуха сонно кивнула головой. Дети вернулись к своим играм. Песчаная буря набирала силу.

Стоя на крыше здания аббатства из стекла и алюминия, расположившегося поодаль от автострады и древнего здания аббатства, монах брал пробы воздуха. С этой целью он использовал всасывающий насос, который втягивал в себя пыльный воздух, и при помощи воздушного компрессора отправлял его этажом ниже. Молодым монаха назвать было уже нельзя, но и к середине своего жизненного пути он еще не подошел. Его короткая рыжая борода встопорщилась, как наэлектризованная, и в ней торчали обрывки паутины и щепки, которые нес с собой ветер; время от времени он раздраженно отряхивал ее, а когда ему пришлось приникнуть к раструбу насоса, он яростно выругался, а потом сокрушенно перекрестился.

Мотор компрессора, кашлянув, смолк. Монах отключил насос, отсоединил его шланг и потащил агрегат к лифту, который спустил его вниз. В кабине лифта по углам лежали полосы пыли.

В лаборатории на верхнем этаже он глянул на контрольную панель компрессора, которая

сигнализировала, что все в порядке, закрыл двери, скинул рясу, отряхнул от пыли и, повесив ее на колышек, склонился над всасывающим насосом. Постояв над ним, он направился в небольшую душевую, разместившуюся в дальнем конце лаборатории-мастерской, и на полную мощность включил холодную воду. Подставив под нее голову, он промыл от пыли волосы и бороду. Бодрящий холод освежил его. Отфыркиваясь и отряхиваясь, он бросил взгляд на двери. Возможность появления посетителей была минимальной. Он сбросил с себя все, влез в ванну и испустил вздох облегчения.

Внезапно дверь распахнулась. С подносом, на котором стояла только что распакованная новая лабораторная посуда, вошла сестра Элен. Растерявшись, монах в ванне вскочил на ноги.

— Брат Иешуа! — взвизгнула монашенка. Полдюжины мензурок со звоном полетели на пол.

Монах с шумом плюхнулся обратно в воду, залив полкомнаты. Причитая и вскрикивая, сестра Элен торопливо поставила поднос на верстак и вылетела из помещения. Иешуа выскочил из ванны и, не утруждая себя ни вытиранием, ни вниманием к белью, накинул рясу на голое тело. Когда он подошел к дверям, сестры Элен уже не

было в коридоре и, скорее всего, вообще в здании, поскольку она поспешила в женскую обитель, расположенную на краю лужайки. Успокоившись, монах торопливо приступил к работе.

Опустошив содержимое контейнера всасывающего насоса, он высыпал его содержимое в колбу. Надвинув на голову наушники, он направился к лабораторному столу, где поместил колбу с пылью на определенном расстоянии от счетчика радиации, а потом посмотрел на часы и застыл в ожидании.

Счетчик был встроен в компрессор. Он нажал кнопку с надписью «ПОВТОР». Цифры на десятичной шкале скользнули с нуля, и отсчет начался снова. Через минуту он остановил отсчет и записал результат на тыльной стороне ладони. То был почти чистый воздух, отфильтрованный и сжатый, но в нем был какой-то привкус.

К полудню от покинул лабораторию, заперев ее. Спустившись в кабинет этажом ниже, он нанес данные на график, висящий на стене, с изумлением посмотрел, как круто идет вверх кривая и, сев за стол, включил видеофон. Номер он набрал на ощупь потому, что не мог оторваться от лицезрения красноречивой схемы на стене. Зажужжал зуммер, и на осветившемся экране он увидел пу-

стой стул у письменного стола. Через несколько секунд человек уставился в зрачок экрана.

— Аббат Зерчи у аппарата, — пробурчал аббат. — А, брат Иешуа. Я уже собирался звонить вам. Вы уже принимали ванну?

— Да, милорд аббат.

— Наконец вы обрели способность краснеть!

— Обрел.

— Ладно, все равно на экране ничего не видно. Слушайте. На той стороне шоссе, как раз напротив наших ворот, появилась надпись. Вы, конечно, заметили ее? Она гласит: «Опасайтесь Женщины предупреждают Входить запрещается…» и так далее. Вы заметили ее?

— Конечно, милорд.

— Можете ли вы побожиться, что с этой точки зрения надпись не имеет к вам отношения?

— Конечно.

— Позор вам, если вы сомневаетесь в скромности сестер. Не удивлюсь, если узнаю, что вы уже готовите ванну для купания младенцев.

— Кто вам это сказал, милорд? Я только что закончил…

— Да? Ладно, не обращайте внимания. Почему вы вызвали меня?

— Вы хотели, чтобы я позвонил в Спокейн.

— Ах, да. Вы звонили?

— Да, — монах скусил кусочек сухой кожи со своих потрескавшихся от ветра губ и смущенно замолчал. Наступила неловкая пауза. — Я говорил с отцом Леоне. Они это тоже заметили.

— Растущую радиацию?

— Это еще не все, — он снова помолчал. Ему не хотелось продолжать. После того как факт становился известен, он получал право на самостоятельное существование.

— Ну?

— Это связано с сейсмической активностью, что отмечалось несколько дней назад. Информацию принесли верховые ветра, идущие с того направления. Все данные свидетельствуют: на небольшой высоте произошло выпадение радиоактивных осадков после мегатонного взрыва.

— Ох! — Зерчи захлебнулся на вдохе и прикрыл глаза ладонью. — Luciferum ruisse mihi dicis?[49]

— Да, господин мой. Я боюсь, что это было оружие.

— А может, авария на производстве?

— Нет.

Но если это начало войны, нам надо знать.

---

[49] Примечания: 49
Ты говоришь, Люцифер обрушился на меня? *(лат.).*

Запрещенные испытания? Нет, вряд ли. В таком случае, они могли бы провести их на другой стороне Луны или, еще лучше, на Марсе, где бы никто их не вычислил.

Иешуа кивнул.

— Значит, что же это могло быть? — продолжил аббат. — Демонстрация? Угроза? Предупредительный выстрел в спину?

— Обо всем этом я и подумал.

— Таким образом, ясно, почему была объявлена тревога. И все же в новостях нет ничего, кроме слухов и отказов как-то прокомментировать происходящее. И мертвое молчание из Азии.

— Но взрыв должен быть замечен с какого-нибудь наблюдательного спутника. Если только — я не хочу допускать такой возможности, но все же — если только кто-то не нашел способ запускать ракету «космос — земля», которая остается незамеченной со спутника, пока не попадает в цель.

— Это возможно?

— Ходили такие разговоры, отец аббат.

— Правительство знает. Правительство должно знать. Кто-то из них знает. И все же мы ничего не слышали. Мы надежно защищены от атмосферы истерии. Так они выражаются? Маньяки!

Мир уже пятьдесят лет постоянно находится в состоянии кризиса. Пятьдесят? Что я говорю! Состояние кризиса стало для него неизменным, но последние полстолетия оно уже невыносимо. Но почему, ради любви к Господу нашему? В чем фундаментальная, основная причина постоянного раздражения, в чем суть этого напряжения? В политической философии? В экономике? В росте народонаселения? В разнице культур и верований? Спроси десять экспертов и получишь десять разных ответов. И вот снова появляется Люцифер. Неужели род человеческий поражен неизлечимым безумием, брат? И если мы уже рождаемся сумасшедшими, как можем мы надеяться на милость Неба? Спасаться одной лишь нашей верой? Но нет ли других, столь же… Прости мне, Господь, я не это имел в виду. Слушай, Иешуа…

— Милорд?

— Закрывай свою лавочку и сразу же возвращайся сюда… Эта радиограмма — я должен послать в город брата Пата, чтобы он отправил ее, воспользовавшись регулярной связью. Я хочу, чтобы ты был поблизости, когда придет ответ. Ты знаешь, о чем в нем должна идти речь?

Брат Иешуа покачал головой.

— «Quo peregrinatur grex».

Лицо монаха стала заливать мертвенная бледность.

— Он вступает в действие, господин мой?

— Просто я пытаюсь получить представление, как сегодня обстоят с ним дела. Никому не обмолвись ни словом. Конечно, ты будешь в курсе. Когда справишься с делами, зайди ко мне.

— Конечно.

— Во имя Отца и Сына…

— И Святого Духа.

Экран померк. В комнате было тепло, но Иешуа поежился. Он посмотрел в окно, за которым стоял густой сумрак непрекращающейся песчаной бури. Ее завеса заволакивала все пространство, и он ничего не видел дальше шоссе, по которому слабыми расплывающимися пятнами двигались фары проезжающих колонн грузовиков. Через несколько минут ему показалось, что кто-то стоит у ворот, перекрывающих подъездную дорогу. И хотя фигуру непрестанно освещали фары проезжающих машин, она вырисовывалась лишь смутным силуэтом. Иешуа снова передернулся от зябкого озноба.

Невозможно было ошибиться, приняв этот силуэт за кого-то иного. Это была миссис Грейлс. Никого другого нельзя было бы узнать в условиях

такой видимости, но очертания ее сгорбленного и перекошенного левого плеча и характерное движение, с которым она склоняла голову вправо, позволяли безошибочно узнать старую мэм Грейлс. Монах задернул занавес и включил свет. Он не чувствовал отвращения к уродству старой женщины, мир давно уже стал терпим к генетическим несчастьям и проказам генов. У него самого на левой руке был еле заметный шрам, который остался в детстве после ампутации шестого пальца. Но в настоящий момент ему хотелось забыть ту чудовищную память Огненного Потопа, а миссис Грейлс являлась одной из несомненных его наследниц.

Он прикоснулся к глобусу, стоявшему на письменном столе. На вращающейся поверхности перед ним проплыли Тихий океан и Восточная Азия. Где? В каком месте? Он еще раз крутанул глобус, подгоняя его вращение снова и снова, пока мир не предстал перед ним пестрым сплетением континентов и океанов. Делайте ваши ставки, сэры и мадам — но куда? Он резко остановил глобус движением большого пальца. На кон выпала Индия. Возьмите ваш выигрыш, мадам. Гадание было глупым. Он снова раскрутил глобус с такой силой, что задребезжала ось, и

«сутки» стали сменять друг друга в мгновение ока. «Обратно, — внезапно подумал он. — Так, чтобы солнце и звездное небо вставали на западе и меркли на востоке. Повернуть время вспять? И где-то обладатель моего имени, мой тезка, говорит: “Остановись, Солнце над Габаоном и ты, Луна, над долиной…” — дешевое утешение, годное лишь в такое время». Он продолжал вращать глобус в другую сторону, словно надеясь этим умилостивить неумолимого Хроноса повернуть бег времени в другую сторону. Треть миллиона оборотов отсчитает достаточное количество дней до начала Огненного Потопа. Еще лучше поставить мотор и вращать до начала Человечества. Он снова остановил глобус движением руки: гадание в самом деле было глупым и диким.

Посидев в кабинете, он побрел «домой», который находился по другую сторону шоссе, в сводчатых залах древнего строения аббатства, в чьих стенах по-прежнему были камни, оставшиеся от праха восемнадцать столетий назад, когда погибла цивилизация. Когда он пересекал дорогу, ему казалось, что он переходит из одной эры в другую. Здесь, в окружении алюминия и стекла, он был инженером, хозяином мастерской и лаборатории, в чьи обязанности входило наблюдать и

изучать, ища ответа на вопрос Как, а не Почему. На этой стороне дороги присутствие Люцифера определилось только холодными математическими подсчетами данных, поступающих из счетчика радиации, внезапными вздрагиваниями пера сейсмографа. Но в старом аббатстве он терял свой облик инженера, под его сводами он становился монахом Христовым, собирателем книг и запоминателем в обители святого Лейбовица. Здесь мог звучать только один вопрос:

«Почему, Господи, почему?» Но вопрос уже был задан, и аббат сказал ему: «Приди ко мне».

Иешуа потуже затянул рясу, готовясь исполнить указание своего владыки. Чтобы избежать встречи с миссис Грейлс, он пошел по пешеходной тропке, было не время для любезных разговоров с этим двухголовым существом женского рода.

Глава 25

Плотина секретности дала течь. Несколько неустрашимых голландских мальчиков были отброшены мощной волной прибоя, которая перекинула их из Тексарканы в их поместья, где они могли говорить все что угодно. Остальные остались на своих постах и мужественно старались затыкать все новые и новые щели. Но по мере того, как ветер приносил выпадающие в осадок известные изотопы, на всех углах стали слышны слова, которые вырвались в заголовки газет о ПОВЕРЖЕННОМ ЛЮЦИФЕРЕ.

Министр обороны, блистая аккуратно пригнанным мундиром, продуманным макияжем для телевидения, не обращая внимания на мятежные выкрики, опять предстал перед журналистской братией, и на этот раз его пресс-конференция транслировалась на всю Христианскую Коалицию.

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Ваша светлость хранит полное спокойствие черед лицом определенных фактов. Недавно имели место два нарушения международных законов, оба можно квалифици-

ровать как акт объявления войны. Неужели это совершенно не беспокоит министра обороны?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Мадам, как вам отлично известно, у нас нет Министерства войны, у нас существует Министерство обороны. И насколько мне известно, произошло только одно нарушение международных законов. Не познакомите ли меня с другим?

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: С каким вы НЕ знакомы — с аварией на Иту-Ван или с предупредительным запуском в дальнюю южную часть Тихого океана?

МИНИСТР ОБОРОНЫ (внезапно посерьезнев): Конечно, мадам не хотела внести смятение в наше собрание, но ваш вопрос заставляет едва не проникнуться доверием к совершенно фальшивым обвинениям, исходящим из Азии, гласящим, что так называемое бедствие на Иту-Ван было результатом испытания нашего оружия, а не их!

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Если это так, я приглашаю вас посадить меня в тюрьму. Основой для вопроса послужил отчет нейтралистов Ближнего Востока. Они считают, что бедствие на Иту-Ван стало результатом испытания оружия азиатского региона, которое проводилось под землей, но вырвалось наружу. В том же отчете утверждает-

ся, что испытания на Иту-Ван были замечены с нашего спутника и что немедленно последовала реакция в виде предупредительного запуска ракеты «космос — земля» к юго-востоку от Новой Зеландии. Но поскольку сейчас вы уже признаете сам факт, ответьте, было ли бедствие на Иту-Ван результатом испытания нашего оружия?

МИНИСТР ОБОРОНЫ (с подчеркнутым терпением): Я знаю, насколько журналисты стремятся к объективности. Но предположить, что правительство Его Величества могло добровольно нарушить…

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Его Величество — одиннадцатилетний мальчик, и говорить, что существует его правительство — не только архаичная, но и неблагородная, точнее, дешевая попытка полностью снять с себя ответственность…

ВЕДУЩИЙ: Мадам! Прошу вас, умерьте тон ваше!..

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Внимание, внимание! Если вы, мадам, продолжаете выдвигать столь же фантастическое обвинение, я полностью отрицаю его. Так называемая катастрофа на Иту-Ван — результат испытаний не нашего оружия. К тому же я утверждаю, что мне неизвестно о каких-либо еще недавних ядерных испытаниях.

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Благодарю вас.

ВЕДУЩИЙ: Я вижу, что издатель «Тексаркан-ского Звездного Света» что-то хочет сказать.

ИЗДАТЕЛЬ: Спасибо. Я хотел бы спросить: ваша светлость, так что же в самом деле случилось на Иту-Ван?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: В этом районе у нас нет государственных интересов, у нас нет там наблюдателей после того, как во время последнего мирового кризиса были прерваны дипломатические отношения. Так что я могу полагаться только на косвенные доказательства и на довольно сомнительный отчет нейтралистов.

ИЗДАТЕЛЬ: Это понятно.

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Ну что ж, очень хорошо — в таком случае я считаю, что произошел мощный подземный ядерный взрыв, который вышел из-под контроля. Не подлежит сомнению, что проводились какие-то испытания. Было ли это оружие или, как утверждают «нейтралы» некоторых окраинных стран Азии, попытка отвести подземную реку — в любом случае ясно, что это было незаконно, и прилегающие страны готовы обратиться с протестом в Мировой Совет.

ИЗДАТЕЛЬ: Существует ли какая-то опасность войны?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Я ее не вижу. Но как вы знаете, у нас есть определенные подразделения в наших вооруженных силах, которые мы предоставим в распоряжение Мирового Совета, чтобы обеспечить выполнение его решений. Но я не хочу предрешать решение Совета.

ПЕРВЫЙ РЕПОРТЕР: Но Азиатская Коалиция угрожает немедленной всеобщей забастовкой, протестуя против наших установок в космосе, если Совет не примет решения против нас. А что, если Совет будет медлить с решением?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Мы не получали никаких ультиматумов. Основная угроза, насколько я понимаю, исходит из растущего внутреннего потребления стран Азии, и они хотят отвлечь внимание от своей ошибки на Иту-Ван.

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Верите ли вы сегодня в движение Материнства, лорд Рагелл?

МИНИСТР ОБОРОНЫ: Я надеюсь, что Материнство верит в меня не больше, чем я верю в него.

ЖЕНЩИНА-РЕПОРТЕР: Я уверена, что вы вполне этого заслуживаете.

Пресс-конференцию, транслировавшуюся спутником, висящим в двадцати двух тысячах миль над поверхностью Земли, смотрело большинство Западного полушария, миллионы людей сидели,

приникнув к мерцающим экранам, и наверно, единственный из этих миллионов аббат Зерчи выключил телевизор.

В ожидании Иешуа, стараясь ни о чем не думать, он мерил шагами свой кабинет. Но «не думать» оказалось невозможно.

Послушайте, неужели мы настолько беспомощны? Неужели мы обречены повторять то же самое снова, снова и снова? Неужели нам не остается ничего другого, как только играть роль птицы Феникса, бесконечно встающей из пепла? Ассирия, Вавилон, Египет, Греция, Карфаген, Рим, Империя Карла Великого, Османская империя. Сравнять с землей и посыпать солью. Испания, Франция, Британия, Америка — всех их столетия покрыли пылью забвения. И снова, и снова, и снова.

НЕУЖЕЛИ МЫ ОБРЕЧЕНЫ, ГОСПОДИ, КАЧАТЬСЯ ВМЕСТЕ С МАЯТНИКОМ НАШИХ ВЗБЕСИВШИХСЯ ЧАСОВ, БЕССИЛЬНЫЕ ОСТАНОВИТЬ ЕГО РАЗМАХ?

«И сегодня совершенно ясно, что каждый шаг все ближе подталкивает нас к бездне забвения», — подумал он.

Ощущение отчаяния сразу же исчезло, когда брат Пат принес ему вторую телеграмму. Раскрыв ее, аббат беглым взглядом уловил содержание и хмыкнул.

— Брат Иешуа уже здесь?

— Ждет снаружи, досточтимый отец.

— Пришли его.

— А теперь, брат, — сказал аббат, когда вошел Иешуа, — закрой двери и включи глушитель. И теперь прочти.

Иешуа посмотрел на первую телеграмму.

— Ответ из Нового Рима?

— Пришел утром. Но сначала включи глушитель. Нам надо кое-что обсудить.

Иешуа плотно прикрыл двери и повернул тумблер на стене. Встроенный динамик, пискнув, запротестовал. Когда треск в нем замолк, акустика комнаты приобрела другое качество.

Дом Зерчи движением руки показал ему на стул, и брат Иешуа молча перечел первую телеграмму.

— ...вы не должны предпринимать никаких действий в связи с планом «Quo peregrinatur grex», — вслух прочел он.

— Можешь орать во все горло, — сказал аббат, показывая на глушитель. — Что скажешь?

— То, что прочел. Значит, план отменяется?

— Не радуйся. Эта телеграмма пришла утром. А вот эта — к полудню, — аббат протянул ему второе послание.

«ПРЕДЫДУЩЕЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ЭТОГО ЖЕ ЧИСЛА ОТМЕНЯЕТСЯ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ СВЯТОГО ОТЦА ПЛАН НЕМЕДЛЕННО ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРШЕНА ЗА ТРИ ДНЯ. ДО ОТБЫТИЯ ДОЖДИТЕСЬ ТЕЛЕГРАФНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. СООБЩИТЕ О ВСЕХ ВАКАНСИЯХ. ОБЕСПЕЧЬТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА. ЭРИК, КАРДИНАЛ ХОФФШТРАТТ, АПОСТ. ВИКАР. ВНЕЗЕМН. ТЕРРИТ…»

Монах побледнел. Положив бланки телеграмм на стол, он откинулся на спинку стула, плотно сжав губы.

— Ты знаешь, что представляет собой план «Quo peregrinatur».

— Я знаю, что он существует, но без подробностей.

— Он родился в виде замысла послать несколько священников в группу колоний на Альфе Центавре. Но ничего не получилось, потому что требовалось епископское благословение для рукоположения священников, и с каждым новым поколением колонистов туда надо было слать новых священников, и так далее и так далее. Вопрос утонул в рассуждениях, будут ли вообще колонии продолжать свое существование, и если

да, то смогут ли они обеспечивать себя сами, не прибегая за помощью к Земле и к апостольскому благословению. Ты представляешь, что это значило?

— Посылку как минимум трех епископов, насколько я понимаю.

— Да, и все это выглядело довольно глупо. Колонисты представляли собой небольшую группу. Но во время последнего всемирного кризиса «Quo peregrinatur» стал спасительным планом, который должен был обеспечить существование Церкви на колонизованных планетах, если Землю постигнет ужасная судьба. Мы обзавелись кораблем.

— Межзвездным кораблем?

— Именно так. И у нас есть экипаж, способный управлять им.

— Где?

— Здесь.

— Здесь, в аббатстве? Но кто… — Иешуа остановился. Лицо его посерьезнело. — Но, господин мой, мой опыт в космосе ограничивался только орбитальными полетами, я не был в межзвездных рейсах! До смерти Ненси, когда я пошел к цистерниан…

— Все это мне известно. У нас есть и другие

братья с опытом межзвездных полетов. Ты их знаешь. Ты даже слышал шуточки, сколько бывших космолетчиков нашли себе приют в ордене. Конечно, это не случайно! И ты помнишь, как во времена послушничества тебя расспрашивали о твоем космическом опыте?

Иешуа кивнул.

— Ты должен помнить, как тебе задавали вопросы относительно твоего желания снова вернуться в космос, если орден попросит тебя.

— Да.

— Значит, ты не очень удивишься, если тебе придется принять участие в плане «Quo peregrinatur», когда до него дойдет дело.

— Боюсь… боюсь, что именно так, милорд.

— Боишься?

— Точнее, сомневаюсь. Немного и боюсь, потому что я всегда надеялся провести остаток своих дней в ордене.

— Как священнослужитель?

— Ну… этого я еще не решил.

— «Quo peregrinatur» не освобождает тебя от обетов и не предполагает твоего отлучения от ордена.

— Орден тоже снимется с места?

Зерчи улыбнулся.

— И Меморабилия вместе с ним.

— Все ее собрание и… Ах, вы имеете в виду микрофильмы. И куда?

— В колонию на Центавре.

— И как долго нам придется быть в отсутствии?

— Если ты отправишься в путь, ты уже никогда не вернешься обратно.

Монах с трудом перевел дыхание, не спуская невидящего взгляда со второй телеграммы. Он растерянно почесал бороду.

— У меня к тебе есть три вопроса, — сказал аббат. — Не торопись отвечать сразу же, но думай над ними, и думай серьезно. Первый: хочешь ли ты улететь? Второй: есть ли у тебя призвание взять на себя обет священнослужителя? Третий: согласен ли ты возглавить группу? Я не имею в виду «согласен, потому что повинуюсь», я говорю об энтузиазме, о желании ступить на этот путь. Иди и думай. У тебя есть три дня… но, может быть, и меньше.

Изменения, которые пришли с течением времени, почти не коснулись древнего монастыря. Чтобы спасти старые здания от нетерпеливого вторжения архитектурных изысков, новые строения были возведены за пределами его стен, и

даже по другую сторону трассы — пусть даже за счет определенных неудобств. Старая трапезная пришла в негодность, потому что над ней непоправимо прохудилась крыша, и теперь, чтобы попасть в новую трапезную, приходилось пересекать дорогу. Неудобство это в какой-то мере скрашивалось виадуком, проложенным под путевым полотном, который позволял пастве беспрепятственно добираться до трапезной.

Трассе этой, которую недавно расширили, было несколько сот лет, и она представляла собой ту самую дорогу, по которой шествовали орды язычников, толпы пилигримов, крестьян, повозки с мулами, кочевники, дикие наездники с Востока, артиллерия, танки, десятитонные грузовики. Поток их то разбухал, то усыхал в зависимости от времени года и окружающих условий. В свое время, давным-давно тут было проложено шесть полос и отдельная полоса для движения автоматического транспорта. Но со временем движение его прекратилось, покрытие растрескалось, и после случайных дождей сквозь трещины пробивалась трава. Бетон покрывался пылью и песком пустыни. Обитатели песчаных пространств выламывали куски бетона для строительства своих жилищ и возведения баррикад. Пустынная до-

рога пересекала дикие заброшенные местности. Но сейчас здесь снова было шесть полос и полоса для робото-транспорта, как и раньше.

— Судя по освещению, движение оживленное, — сказал аббат, когда они вышли из ворот старого здания. — Давай перебежим. Во время пыльной бури в этом туннеле можно задохнуться. Или ты не успеешь увильнуть от автобуса?

— Двинулись, — согласился брат Иешуа.

Длинные многочленные грузовики, слабо светя фарами, которые не столько освещали дорогу, сколько предупреждали о приближении машин, неуклонно и безостановочно летели мимо них, ревя турбинами и посвистывая шинами. Дисковые антенны прощупывали дорогу впереди, а магнитные щупы не позволяли отклоняться от стальных полос, проложенных по обочинам дороги, которые гнали грузовики по розовой, отсвечивающей от пролитого масла, бетонной дороге. Частицы жизни, несущиеся по экономическим артериям человечества, огромные стальные бегемоты, летящие мимо двух монахов, перебегавших от полосы к полосе. Попасть под колеса одного их этих чудовищ означало, что по тебе промчатся грузовик за грузовиком, пока жертва не превратится в некоторое плоское по-

добие человеческого тела, впечатанного в бетон, пока машина очистки не обнаружит его и не остановится, чтобы промыть проезжую часть. Чувствительный механизм автопилотов, ведущих машины, был запрограммирован на встречу с металлом, а не на человеческую плоть и кровь.

— Это было ошибкой, — сказал Иешуа, когда они достигли островка безопасности посреди дороги и остановились отдышаться. — Смотрите, кто тут стоит.

Аббат вгляделся и хлопнул себя по лбу.

— Миссис Грейлс! Начисто вылетело из головы: в этот вечер она должна была забрести ко мне. Она продавала помидоры в трапезной у сестер, а потом должна была зайти ко мне.

— К вам? Она была тут и прошлой и позапрошлой ночью. Что ей от вас надо?

— О, ничего особенного. После того как она выторгует у сестер свою цену, она приходит ко мне и возвращает дополнительный доход в виде пожертвования для бедных. Это наш маленький ритуал. То есть не совсем ритуал. Ты сам увидишь.

— Мы должны возвращаться?

— Чепуха. Она сейчас нас увидит. Двинулись.

И они снова нырнули в поток машин.

Двухголовая женщина и ее шестиногая собака, которая охраняла пустую корзинку из-под овощей, ждали у ворот нового строения; женщина нежно ласкала пса. Четыре его лапы были вполне нормальными, а две остальные торчали жалкими отростками по бокам. Одна из голов женщины была столь же бесполезной, как эти лапы у собаки. Она была невелика по размерам, с лицом херувима, но с вечно закрытыми глазами. Совершенно не чувствовалось, что эта голова дышит или что-то понимает. Она лежала, безвольно склонившись на одно плечо, слепая, глухая, немая, напоминая какой-то отросток. Скорее всего, в ней не было мозгов, потому что она никогда не проявляла следов самостоятельного существования. Другое лицо, изборожденное морщинами, говорило о солидном возрасте женщины, а вторая голова сохраняла детское выражение лица, хотя и оно было обветрено и опалено солнцем пустыни.

Когда они появились, старуха сделала книксен, а собака отпрянула с рычанием.

— Добрый вечер, отец Зерчи, — растягивая слова, проговорила она, — самый добрый вам вечер и вам, брат.

— Здравствуйте, миссис Грейлс…

Пес рявкнул, ощетинился и стал переминаться на месте, явно нацеливаясь на лодыжки аббата. Миссис Грейлс незамедлительно стукнула своего питомца по голове корзинкой. Клыки тут же вцепились в плетение корзинки, и собака развернулась к своей хозяйке. Миссис Грейлс оттащила его, вцепившегося в корзинку, в сторону, и, издав приглушенное рычание, пес расположился на обочине дорожки.

— Присцилла несколько возбуждена, — вежливо заметил Зерчи. — Она ждет щенков?

— Прошу простить, ваша честь, — сказала миссис Грейлс, — но это дьявольское отродье никак не может понести! Как-то враг рода человеческого извлек из ее утробы каких-то жалких уродов — и с тех пор она никак не может прийти в себя. Так что я прошу вашу честь простить ее…

— Все в порядке. Доброй вам ночи, миссис Грейлс.

Но им не удалось так легко удалиться. Она схватила аббата за рукав и обнажила в улыбке свой беззубый рот.

— Минуточку, отче, уделите всего лишь минуточку старой помидорнице, если вы сочтете ее достойной…

— О, конечно! Я буду рад…

Иешуа искоса посмотрел на аббата и решил пообщаться с собакой, которая по-прежнему перекрывала ему дорогу. Присцилла смотрела на него с нескрываемым подозрением.

— Вот, отче, вот, — говорила миссис Грейлс. — Вот чуть-чуть для вашего ящика. Вот… — Зерчи отмахивался, но монеты продолжали звенеть. — Нет, нет, вот, берите же, берите, — настаивала она. — Ох, да знаю я, чего вы всегда говорите, но только, черт побери, вовсе я не такая бедная, как вы обо мне думаете. А вы хорошими делами занимаетесь. И если вы не возьмете у меня денежек, то их отберет у меня плохой человек и на дьявольское дело пустит. Вот… я помидорчики свои продала, и цену свою получила, и еды себе на неделю купила и даже красивенькую игрушку для Рашель. Вот.

— Вы очень любезны…

— Гав! — раздался рык со стороны ворот. — Р-р-р-р! Гав! Ав! Ав! Гр-р-р-р-р-ррр! — последовала целая гамма лая, взвизгивания и рычания Присциллы по мере того, как она отступала.

Подошел Иешуа, пряча кисть в рукаве рясы.

— Ты никак ранен, человече?

— Гр-р-р-ав! — сказал монах.

— Ради Всех Святых, что ты с ней сделал?

— Гр-р-ав! — повторил брат Иешуа. — Гав! Гав! Р-р-рр-р-р-р-рр! — и затем объяснил. — Присцилла верит в оборотней. Поэтому и визжала. Но теперь мы можем войти в ворота.

Собаки уже не было, но миссис Грейлс снова схватила аббата за рукав.

— Уделите мне всего лишь еще минуточку, отче, и я вас больше не буду задерживать. Я хотела поговорить с вами о малышке Рашель. Я думаю о ее христианском крещении, и я хотела бы спросить, не окажете ли вы честь…

— Миссис Грейлс, — вежливо прервал он ее, — поговорите об этом со священником вашего прихода. Он занимается такими вещами, а не я. У меня нет прихода, а только аббатство. Поговорите с отцом Зело у святого Михаила. В нашей церкви даже нет купели…

— Купель есть в часовне у сестер и…

— Все это решает отец Зело, а не я. Все должно происходить в вашем собственном приходе. Только в экстренных случаях я бы мог…

— Ой-ой, да знаю я все это, но я уже виделась с отцом Зело. Я пришла с Рашель к нему в храм, а этот глупый человек даже не притронулся к ней.

— Он отказался крестить Рашель?

— Так он и сделал, глупый человек.

— Вы говорите о священнике, миссис Грейлс, и он далеко не глупый человек, насколько я его знаю. У него, должно быть, были свои причины, раз он отказал вам. Если вы не согласны с его решением, то поищем кого-нибудь еще — но только не священника из монастыря. Может быть, стоит поговорить с пастором из прихода святого Мейси…

— Ой, да и там я тоже была… — она начала то, что должно было стать долгим повествованием о ее попытках крестить Рашель. Сначала аббат терпеливо слушал, но когда Иешуа перевел глаза на него, он увидел, что ее пальцы так вцепились в предплечье аббата, что тот морщился от боли, и Иешуа оторвал их свободной рукой.

— Что вы делаете? — прошептал аббат и тут только обратил внимание на выражение лица монаха. Взгляд Иешуа был прикован к старухе, словно та была василиском. Зерчи проследил за его взглядом, но не нашел ничего нового и необычного, чего бы он не видел; вторая ее голова была словно покрыта туманной завесой, но брат Иешуа видел ее достаточно часто, чтобы обращать на нее такое внимание.

— Простите, миссис Грейлс, — снова обретя способность спокойно дышать, прервал ее Зер-

чи. — Мне в самом деле пора идти. Вот что я вам скажу: поговорю о вас с отцом Зело, но это все, что я смогу сделать. И я уверен, что мы с вами еще увидимся.

— Низко вам кланяюсь и прошу прощения за то, что задержала вас.

— Спокойной ночи, миссис Грейлс.

Миновав ворота, они пошли к трапезной. Иешуа несколько раз хлопнул себя ладонью по голове, словно стараясь привести в норму свихнувшиеся мозги.

— Почему вы так смотрели на нее? — спросил аббат. — Мне кажется, это было невежливо.

— Разве вы не заметили?

— Что не заметил?

— Значит, вы в самом деле не заметили. Ну что ж… пусть так и будет. Но кто такая Рашель? Почему они не хотят крестить ребенка? Рашель — дочка этой женщины?

Аббат мрачно улыбнулся.

— Так считает миссис Грейлс. Но так и не ясно, кем ей приходится Рашель — дочкой, сестрой… или же просто наростом у нее на плечах.

— То есть… Рашель — ее вторая голова?

— Не кричите. Она может вас услышать.

— И она хочет ее крестить?

— И как можно скорее, как мне кажется. Она прямо одержима этой идеей.

Иешуа всплеснул руками.

— И как они собираются решать эту проблему?

— Не знаю и знать не хочу. Благодарение небу, что не мне приходится заниматься такими делами. Будь это элементарный случай с сиамскими близнецами, все было бы просто. Но тут совсем другое. Старожилы говорят, что, когда миссис Грейлс родилась, Рашель у нее не было.

— Фермерские россказни!

— Может быть. Но кое-кто готов подтвердить это под присягой. Сколько душ кроется в этой старой леди со второй головой — с головой, которая «выросла сама по себе»? Когда приходится решать такие вещи, высшие инстанции буквально сходят с ума, сын мой. Что же ты заметил? Почему ты так смотрел на нее, вцепившись мне в руку?

Монах помедлил с ответом.

— Она мне улыбнулась, — наконец сказал он.

— Кто улыбнулся?

— Ее вторая… э-э-э, Рашель. Она улыбалась. Мне казалось, что она вот-вот проснется.

Аббат остановился у входа в трапезную и с любопытством, посмотрел на него.

— Она улыбалась, — совершенно серьезно по-

вторил монах.

— Тебе это показалось.

— Да, милорд.

— Так и смотри на это.

Брат Иешуа устало вздохнул.

— Не могу, — признался он.

Аббат опустил пожертвование старухи в прорезь ящика.

— Зайдем, — сказал он.

Помещение новой трапезной было сконструировано функционально, залито светом бактерицидных ламп, с продуманной акустикой. Исчезли прокопченные стены, высокие светильники, деревянные крюки и связки сыров, подвешенные к стропилам. Если не обращать внимания на распятия и ряд портретов на одной стене, помещение напоминало столовую на промышленном предприятии. Ее атмосфера, как и дух всего аббатства, совершенно изменилась. После веков полуголодного существования, посвященных спасению остатков давно погибшей цивилизации, монахи ныне стали свидетелями взлета новой и могучей цивилизации. Цель существования аббатства была достигнута, и теперь перед ним стояли новые задачи. Чтимое прошлое благоговейно застыло в стеклянных витринах, но

уже не имело отношения к настоящему. Ордену пришлось приспосабливаться к временам урана, стали и ревущих ракет, он существовал в грохоте индустрии и под свистящие звуки ракетных двигателей кораблей, взлетающих на завоевание звезд. И орден приспосабливался — хотя бы внешне.

— Придите и вкусите, — провозгласил чтец.

Сообщество людей в рясах недвижимо застыло у своих мест, слушая голос. Пищи на столах еще не было. Он был свободен от приборов. Ужин откладывался. Община, клетками которой были мужчины; организм, чье существование уже насчитывало семьдесят поколений, сегодняшним вечером был сжат напряжением, ожиданием тревоги, поджидавшей их в сумерках, которая может обрушиться на их сплоченное братство, хотя знали о ней лишь немногие. Община существовала подобно телу, она работала и существовала как единое целое и порой, казалось, не догадывалась, что есть общий разум, который руководил всеми и каждым. Может быть, напряжение в общине возникло и из-за того, что неожиданно задерживался ужин и из-за низкого рокота ракет-перехватчиков, где-то в невообразимой дали срывающихся с пусковых установок.

Аббат строго потребовал тишины и движением руки показал своему приору, отцу Лехи, на кафедру. Лицо его, когда он готовился заговорить, было искажено страданием.

— Все мы сожалеем, — сказал он, — что порой новости, доносящиеся из внешнего мира, нарушают благочестивую жизнь нашей обители. Но мы должны также помнить, что собрались здесь, дабы молиться за спасение мира столь же истово, как и заботиться о спасении своей души. И особенно сейчас мир нуждается в молениях за его спасение, — он остановился, посмотрев на Зерчи.

Аббат кивнул.

— Люцифер повержен, — сказал священник, и у него прервалось дыхание. Он стоял, уставясь на кафедру, словно внезапно онемев.

Зерчи поднялся.

— К такому выводу, кстати, пришел брат Иешуа, — вставил он. — Регентский Совет Атлантической Конфедерации не сказал ничего, о чем стоило бы упоминать. Династия не сделала никакого заявления. По сравнению с тем, что мы знали вчера, нам практически ничего не известно. Мировой Совет собрался на чрезвычайную сессию, и поэтому были подняты в ружье

силы Гражданской Обороны. Объявлена оборонительная тревога, и она, конечно, имеет к нам отношение, но нас ничего не коснется…

— Благодарю вас, господин мой, — сказал приор, который успел снова обрести голос, пока говорил аббат. — Итак, досточтимый отец аббат повелел мне сделать следующее оповещение в обители.

Во-первых, в течение трех дней мы будем перед заутреней исполнять малую службу нашей Деве Богородице и молить ее о водворении мира.

Во-вторых, подробные инструкции по гражданской обороне в случае нападения из космоса или ракетной атаки разложены на столе у входа. Каждый должен взять одно. Если вы уже читали их, перечитайте снова.

В-третьих, если прозвучит сигнал о нападении, следующие братья должны немедленно явиться во двор Старого аббатства за дальнейшими инструкциями. Если такового сигнала не поступит, те же самые братья должны явиться туда же послезавтра утром после заутрени и вознесения хвалы. Называю их — братья Иешуа, Кристофер, Аугустин, Джеймс, Самуэль…

Монахи слушали молча. Застыв в напряжении, они скрывали свои чувства. Прозвучало двадцать

семь имен, но среди них не было ни одного послушника. Несколько из перечисленных были известными учеными, были лаборанты и повар. Воспринимаемые на слух имена казались вынутыми наугад из ящика. Но к тому времени, когда отец Лехи кончил зачитывать список, некоторые из братьев с любопытством смотрели друг на друга.

— Завтра сразу же после заутрени эта группа должна явиться в амбулаторию для тщательного медицинского обследования, — закончил приор. Повернувшись, он вопросительно взглянул на Зерчи: — Господин мой?

— Да, и еще одно, — сказал аббат, поднимаясь на кафедру. — Братья, ни в коем случае нельзя предполагать, что дело идет к войне. Давайте напомним самим себе, что Люцифер присутствует рядом с нами — и в это время тоже — вот уже два столетия. И он прорвался лишь дважды, и каждый раз было меньше мегатонны. Все мы знаем, что может произойти в случае войны. Генетическое проклятие по-прежнему присутствует среди нас с тех пор, когда Человечество в последний раз попыталось уничтожить самое себя. Если обратиться в прошлое, во времена святого Лейбовица, они, может быть, и знали, чем

все может завершиться. Или, может быть, знали, но не могли поверить, пока сами не убедились, — как дети, которые знают, для чего предназначен заряженный пистолет, но которым никогда раньше не приходилось нажимать курок. Им еще не доводилось видеть миллионы трупов, они не видели, как выглядят мертворожденные, чудовища, монстры, потерявшие человеческий облик, слепые. Они не сталкивались с человеческими существами, потерявшими разум и убивавшими всех без разбору. И лишь когда они свершили это, они увидели все своими глазами.

А теперь… теперь и принцы, и президенты, и президиумы, теперь они знают все — с неколебимой убежденностью. Они знают потому, что и у них рождаются дети, которые вынуждены до скончания дней своих жить в больницах, ибо они не могут существовать в обществе. Они знают это и посему берегут мир. Не христианский мир, конечно, но все же мир — нарушили его за последние столетия лишь два незначительных военных инцидента. Дети мои, никогда больше они не пойдут на это. Лишь раса, сошедшая с ума, способна на повторение того, что было…

Он прервал свою речь. Кто-то улыбнулся. То была лишь мимолетная усмешка, но в море под-

нятых к нему серьезных лиц она была видна, как муха в молоке. Дом Зерчи нахмурился. Старик продолжал смущенно и застенчиво улыбаться. Он сидел за столом «для бедных», рядом с тремя другими бродягами, которые забрели в монастырь; старик с всклокоченной бородой, запятнанной желтым у подбородка. На нем был вместо одеяния старый мешок с дырами для головы и рук. Он глядел на Зерчи, продолжая улыбаться. Он выглядел столь же древним, как скала, исхлестанная дождями и ветрами, как самый подходящий кандидат на обряд омовения ног. Зерчи показалось, что пришелец то ли встанет и скажет какие-то слова, обращенные к своим хозяевам, то ли из уст его прозвучат звуки, подобные реву рога Шофара, — но то была всего лишь иллюзия, вызванная усмешкой. Аббат быстро отбросил мысль о том, что где-то раньше видел этого старика.

Возвращаясь на свое место, он приостановился. Бродяга вежливо поклонился хозяину. Зерчи подошел ближе.

— Кто вы, если мне будет позволено осведомиться? Я вас видел раньше?

— [illegible]

— Что?

— Latzar shemi, — повторил бродяга.

— Я не совсем…

— Зови меня Лазарем, — сказал старик и хмыкнул.

Дом Зерчи покачал головой и отошел. Лазарь? В этих местах существовали россказни старух о появлении… но то были дешевые подделки под мифы. О старике, что присутствовал при воскрешении Христа, рассказывали они, но тот не был христианином. И все же он не мог отделаться от ощущения, что видел этого старика раньше.

— Да придет благословение на хлеб наш насущный, — сказал он, давая начало трапезе.

После молитвы аббат снова взглянул на стол для бродяг. Старик остужал суп, размахивая над ним каким-то подобием соломенной шляпы. Зерчи пожал плечами и в торжественном молчании приступил к еде.

Всенощная, последняя молитва церкви, звучала сегодня особенно торжественно.

Спал Иешуа в эту ночь тревожно и беспокойно. Во сне он снова встретил миссис Грейлс. Тут же присутствовал и хирург, который точил скальпель, приговаривая: «Это образование должно быть устранено прежде, чем оно превратится во зло». Голова Рашель открыла глаза и пыталась заговорить с Иешуа, но он еле слышал ее слабый

голос и ничего не понимал.

— Я исключение, — казалось, говорила она. — Это я.

Он ничего не мог сделать, но пытался спасти ее. Но на пути его стояла какая-то прозрачная, упругая, как из резины, стена. Он остановился и попытался прочесть что-то по движению ее губ.

— Я та, что, я та, что…

— Я та, что суть Чистота, — услышал он шепот во сне. Иешуа попытался проломиться сквозь прозрачную упругую стену, чтобы спасти ее от ножа, но было уже слишком поздно, и он увидел потоки крови. Содрогаясь, он пробудился от ночного кошмара и погрузился в молитву, но как только он уснул, снова явилась миссис Грейлс.

Он провел тревожную ночь, ночь, которой владел Люцифер. Это была ночь, когда Атлантика провела атаку на космические пусковые установки Азии.

И, подвергнутый мгновенному возмездию, древний город исчез с лица Земли.

Глава 26

«Говорит ваша служба аварийного оповещения, — сказал динамик, когда на следующий день утром после службы Иешуа зашел в кабинет аббата. — Слушайте последний бюллетень о вражеской ракетной атаке на Тексаркану…»

— Вы посылали за мной, отче?

Зерчи жестом призвал к молчанию и показал на кресло. Лицо священника было бледным и напряженным: серо-стальная маска ледяного самообладания. Иешуа показалось, что за ночь он заметно постарел и даже как бы уменьшился в размерах. В мрачном молчании они слушали голос, который то расплывался и пропадал на четыре секунды, то вновь возникал, когда радиостанции удавалось избавиться от помех вражеских глушилок.

— «…но первым делом сообщение, только что поступившее от Верховного Командования. Королевская семья в безопасности. Повторяю: известно, что королевская семья в безопасности. Сообщается, что Регентский Совет покинул город во время вражеского нападения. За пределами района бедствия нарушений гражданского по-

рядка не отмечено и не ожидается.

— Всемирный Совет Наций издал постановление о прекращении огня, предусматривающее наказание, вплоть до смертной казни, для глав правительств обоих государств. Наказание отсрочено и подлежит исполнению, если последует неподчинение постановлению. Оба правительства сообщили в Совет, что они ознакомлены с текстом постановления, и это дает серьезные основания предполагать близящееся завершение конфликта всего через несколько часов после его начала, ознаменовавшимся превентивным нападением на некоторые незаконные установки, выведенные в космос. Внезапным нападением космические силы Атлантической Конфедерации прошлой ночью разрушили три ракетные базы Азии, скрытые на другой стороне Луны, и полностью уничтожили вражескую космическую станцию, предназначенную для наведения ракет системы «космос — земля». Предполагалось, что вражеские силы развяжут агрессию в космосе. Но варварское нападение на нашу столицу является актом отчаяния, совершенно неприемлемым в…

— СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. Наше правительство только что оповестило о своем благородном намерении заключить перемирие на десять

дней, если вражеская сторона даст согласие на немедленную встречу министров иностранных дел и военного командования на Гуаме. Предполагается, что предложение будет принято».

— Всего десять дней, — простонал аббат. — Времени нам не хватит.

— «Тем не менее азиатское радио продолжает настаивать, что термоядерная катастрофа на Иту-Ван, повлекшая за собой восемьдесят тысяч жертв, стала результатом взрыва отклонившейся от цели атлантической ракеты, и разрушение Тексарканы явилось, таким образом, возмездием в виде…»

Резким движением руки аббат отключил передатчик.

— В чем истина? — тихо спросил он. — Чему верить? Или это вообще неважно? Когда на массовые убийства отвечают массовыми же убийствами, на насилие насилием, на ненависть ненавистью, тогда нет больше смысла в выяснении того, чей меч больше залит кровью. Зло плодит только зло. Есть ли какое-то оправдание нашей «полицейской акции» в космосе? Откуда нам знать? Конечно, нет никакого оправдания тому, что сделали они. Мы знаем только то, что нам говорят, и мы пленники этих слов. Их радио

должно говорить лишь то, что меньше всего огорчит их правительство, наше сообщает лишь то, что приятно слушать нашей патриотической самоуверенной черни, а это, по какому-то странному совпадению, именно то, что правительство хочет нам сообщить — и в чем же разница? Боже милостивый, да тут должен быть миллион жертв, если они по-настоящему ударили по Тексаркане. У меня ощущение, что я вещаю в пустоту. Жабье дерьмо. Ведьмин гной. Гангрена души. Ты понимаешь меня, брат? И Христос дышит вместе с нами тем же воздухом, пропитанным запахом падали. О, как он кроток, наш Всемогущий Господь! Что за бесконечным чувством юмора он обладает, коль скоро стал одним из нас — распятый на кресте еврейский Шлемиел, как и любой из нас. О, Бог Исаака, Иакова и Бог Каина! Почему они снова делают одно и то же?

— Прости меня, я вне себя, — добавил он, обращаясь не столько к Иешуа, сколько к древней деревянной статуе святого Лейбовица, стоящей в углу его кабинета. Он помолчал и, подойдя поближе, вгляделся в лицо святого. Оно было старым, очень старым и древним. Предшествующие владыки обители приказывали относить его в подвальные хранилища, где он стоял в пы-

ли и мраке, и патина времени легла на дерево, покрыв лицо статуи глубокими морщинами. Но на нем сохранялась его слегка насмешливая улыбка. Именно из-за нее Зерчи вернул статую из забвения.

— Ты видел прошлым вечером того старого бродягу в трапезной? — рассеянно спросил он, по-прежнему не отводя глаз от улыбающегося лица статуи.

— Нет, я не обратил внимания, отче. А в чем дело?

— Не понимаю, в чем дело, но мне кажется, что я смотрю на него, — он провел пальцем по вязанке хвороста, на которой стоял деревянный мученик. «Вот на чем все мы сейчас стоим, — подумал он. — На огромной куче прошлых наших грехов. И часть из них мои. Мои, Адама, Ирода, Иуды, Ханнегана, и снова мои. Всех. И всегда из них вырастает колосс Государства, которое облачает себя в мантию божественного Провидения, пока его не свергает с пьедестала Гром Господень. Почему? Мы кричим, надрываясь, и изо всех сил — и нации и люди должны преклоняться перед Богом. Цезарь должен быть всего лишь блюстителем воли Божьей, а не его полновластным наместником или наследником. “Любой,

кто превозносит какой-то народ или государство в любой его форме, или носителя власти… любой, кто ставит символы власти выше общепринятых ценностей бытия и обожествляет их до идолоподобного образа, разрушает и искажает миропорядок, задуманный и созданный Богом…” Откуда это?». Пий Одиннадцатый, без особой уверенности припомнил он — восемнадцать веков назад. Но когда Цезарь обрел намерение разрушить мир, разве он не был обожествлен? И свершил сие тот же самый народ — та же чернь, которая орала на своей кухонной латыни:

«Не хотим иного правителя, кроме Цезаря!», и которая надсмеялась над Ним и оплевала Его. Та же чернь, которая обрекла на муки Лейбовица…

— И снова приходит обожествление цезарей.

— Отче?

— Не обращай внимания. Братья уже собрались во дворе?

— Когда я проходил мимо, там была примерно половина их. Хотите, чтобы я пошел посмотреть?

— Да. И возвращайся. Я должен кое-что сказать тебе перед тем как мы встретимся с ними.

До возвращения Иешуа аббат успел вынуть все бумаги, касающиеся «Quo peregrinatur», из

стенного сейфа.

— Прочти и запомни, — сказал он монаху. — Обрати особое внимание на организацию и на процедурные вопросы. Тебе придется изучить все детали, но сделаешь это позже.

Пока Иешуа читал, громко зазвучал сигнал внутренней связи.

— Прошу досточтимого отца Джетраха Зерчи, аббата, — прозвучал металлический голос робота-оператора.

— Говори.

— Сверхсрочное послание от сира Эрика, кардинала Хоффштратта из Нового Рима. Доставлено без помощи курьера. Читать ли его?

— Да, прочти текст. Позже я пошлю кого-нибудь за ним.

— Текст следующий, — сказал робот и перешел на латынь, которой было написано спешное послание.

— Можешь ли прочесть в переводе на юго-западный? — спросил аббат.

Оператор помедлил, но в послании не содержалось ничего неожиданного. Аббат услышал, что план утвержден и что с ним надо поторопиться.

— Последует ли ответ? — спросил робот.

— Ответ следующий: паства и пастырь ее го-

товы исполнить повеление Святого Престола. Конец. Все.

— Перечитываю текст…

— Хорошо, хорошо, это все. Отключайся.

Иешуа кончил читать бумагу, врученную ему аббатом. Закрыв папку, он медленно поднял на него глаза.

— Готов ли ты принять на себя этот крест? — спросил Зерчи.

— Я… я не уверен, что правильно понял вас… — монах был смертельно бледен.

— Вчера я задал тебе три вопроса. Сегодня я хочу услышать ответы на них.

— Я готов отправляться.

— Остаются еще два, на которые я жду ответов.

— Я не уверен относительно рукоположения в священники, отче.

— Слушай, тебе придется решиться. У тебя есть какой-то опыт космических полетов — чуть больше, чем у остальных. Никто из них не посвящен в сан. Кое-кого из них придется хоть в какой-то мере освободить от технических обязанностей для работы в оранжерее и прочих административных дел. Я говорю тебе, что это не значит расстаться с орденом. Ни в коем случае — ваша группа станет независимым дочерним ответв-

лением ордена, живущим по несколько иным правилам. Владыка, конечно, будет избираться тайным голосованием всех посвященных — и ты, вне всякого сомнения, самый подходящий кандидат, если дашь согласие на священнослужение. Так ты согласен или нет? Пришло время решать, решать тебе, но времени осталось не так уж много.

— Но досточтимый отец, я не обладаю достаточными знаниями…

— Это не имеет значения. Кроме двадцати семи человек экипажа — все наши люди — будут другие: шесть сестер и двадцать детишек из школы святого Иосифа, пара ученых и три епископа, двое из которых только что рукоположены. Они могут посвящать в сан, а поскольку один из них является прямым посланником Святого Отца, они могут возлагать и сан епископа. Они и посвятят тебя в сан, когда убедятся, что ты готов к этому. Ты знаешь, что вам придется провести в космосе не один год. Но мы хотим знать, готов ли ты взять на себя этот обет, и знать мы хотим, не откладывая.

Брат Иешуа помедлил несколько мгновений, а потом покачал головой:

— Не знаю.

— Полчаса тебе хватит? Может, тебе дать ста-

кан с водой? Ты прямо посерел. Повторяю тебе, сын мой — если ты готов повести за собой паству, решать это надо здесь и сейчас. И ты нужен сейчас. Ну, что ты скажешь?

— Отче, я не… я не уверен…

— Ты боишься накликать беду, не так ли? Готов ли ты взвалить на себя ярмо, сын мой? Или ты уже сломлен? От тебя потребуется быть тем ослом, на котором Он въехал в Иерусалим, но груз может сломать тебе спину, ибо Он взял на себя все грехи мира.

— Не думаю, что смогу.

— Гром и молния на твою голову! Но у тебя есть право ворчать, и это вполне подобает руководителю команды. Слушай, никто из нас не берется утверждать, что он сможет. Но мы прилагаем все усилия, и мы не покладаем рук. Да, старания эти могут погубить тебя — но зачем же ты пришел в обитель, как не за этим? В этом ордене были аббаты, поклонявшиеся и золоту, и холодной суровой стали, и мягкому свинцу, но никто из них не был одарен в полной мере, хотя некоторые из них были более способны, чем другие, а некоторые могли считать себя и святыми. Золото стерлось в пыль, сталь пожухла и рассыпалась, а свинец испарился. Мне повезло иметь дело с

ртутью: порой она разлеталась по сторонам, но неизменно вновь собиралась. Но чувствую я, что снова приходит ей пора разлетаться мелкими брызгами, брат, и думаю я, что не имеем мы права дожидаться этого момента. Готов ли ты, сын мой? Готов ли ты сделать попытку?

— Я дрожу, как щенячий хвостик. Я теряюсь в размышлениях, и я растерян, досточтимый отец мой.

— Сталь кричит, когда ее куют, и шипит, когда ее закаливают. Она стонет, когда ей приходится держать на себе груз. И я думаю, даже сталь поддается, сынок. Тебе хватит получаса, чтобы подумать? Стакан воды? Глоток ветра? Пойди побродри немного. Если почувствуешь, что тебя тошнит, не стесняйся вырвать. Если тебе станет страшно, поплачь. Если это тебе что-то даст, помолись. Но явись в церковь перед мессой и скажи нам, к чему пришел монах. Орден разделяется, и та часть из нас, что уйдет в космос, покинет нас навсегда. Готов ли ты стать пастырем тех, кто уйдет от нас или не готов? Иди и думай.

— Я чувствую, что выбора у меня нет.

— Конечно, есть. Тебе надо всего лишь сказать: «Я не чувствую призвания к этому». И тогда будет выбран кто-то другой, вот и все. Но сейчас иди,

успокойся и затем приходи к нам в церковь со своим «да» или «нет». Я сейчас пойду туда, — аббат встал и кивнул, прощаясь с ним.

Темнота во дворе обители была почти непроглядной. Ее рассеивал лишь тонкий серебряный лучик света, пробивавшийся из щели дверей храма. Слабое свечение звезд было почти невидно из-за пыльной завесы. На восточной стороне неба не было никаких примет рассвета. Брат Иешуа брел в полном молчании. Наконец он присел на изгиб ограды, за которой росли густые кусты роз. Уткнув подбородок в ладони, он стал подбрасывать камешек носком сандалии. Здание аббатства было погружено в сонную непроглядную темноту. На юге в небе висел тонкий дынеобразный ломтик луны.

Из-за дверей церкви донеслись слабые звуки песнопений, «Да будет воля твоя…» Возвысся всей своей мощью, Господи, и приди спасти нас. Эти слабые дуновения молитв будут вздыматься к небу столь же неизменно, как дыхание жизни. Даже если надежды паствы тщетны…

«Но они не должны догадываться, что их старания тщетны. Или должны? Если Рим на что-то надеется, почему же они готовят к отлету космический корабль? Почему, если они считают, что

их моления о мире на земле будут услышаны? Не отчаянием ли продиктованы их действия? Изыди, Сатана», — подумал он. Космический корабль будет движим надеждой. Надеждой на вечную жизнь Человечества, на мир, который придет если не здесь и сейчас, то где-нибудь в другом месте, может быть, на планетах альфы Центавры, или беты Гидры, или в какой-нибудь влачащей свое жалкое существование колонии планеты как-там-ее-название в созвездии Скорпиона. Надежда, а не разочарование поднимет в космос этот корабль. И да пребудет с тобой надежда, которая говорит: «Отряхни прах с ног своих и ступай проповедовать в Содоме и Гоморре». И лишь надежда должна вести тебя, или в противном случае не стоит и отправляться в путь. Надежда не на спасение Земли, а вера в Человека и душу его, которая где-нибудь должна будет обрести себе приют. И поскольку Люцифер ныне царит над миром, нельзя отказываться от старта корабля, и не тебе, праху земному, искушать Господа нашего вопросами.

Неизменная вера вела людей и заставляла их стараться претворить рай земной на Земле, и так они шли от разочарования к разочарованию и…

Кто-то открыл двери аббатства. Монахи тихо

покидали свои кельи. Из дверного проема во двор аббатства падала слабая полоса света. Внутренность церкви была в слабом полумраке. Иешуа видел огненные язычки лишь нескольких свечей и красноватый глазок лампады. Он освещал согбенные спины двадцати шести его собратьев, преклонивших колени перед алтарем и застывших в ожидании. Кто-то снова закрыл двери, но все же осталась небольшая щель, сквозь которую продолжал светить красноватый огонек лампады. Пламя в честь преклонения перед божеством, пылающее в молитвах наших, тлеющее не затухая в лампадах. Пламя, самый приятный из четырех составляющих элементов мира и в то же время символ ада. Оно смиренно горит в храме, и в то же время этой ночью оно дотла выжигает города и сокрушительная мощь его опустошает землю. Как странно, что голос Бога раздался из пылающего куста, как странно, что символ Неба стал для человека и знамением ада.

Он снова посмотрел на расплывчатые от пыльной завесы очертания утренних звезд. Да, говорят они. Эдема вам здесь не обрести. И все же здесь были люди, которые алкали странных солнц со странных небес, вдыхали чужой воздух и возделывали чужую почву. Перед ними открыва-

лись миры замерзшей экваториальной тундры, душных арктических джунглей, лишь смутно напоминавших Землю, но достаточных для того, чтобы Человек мог жить и здесь, трудясь в поте лица своего. Их была всего лишь горсточка, этих небесных колонистов, несколько колоний человечества, которые в тяжких трудах жили на пределе своих возможностей, лишь изредка получая кое-какую помощь с Земли, а теперь не будет поступать и она, и им предстоит остаться одним в своем невоплощенном Эдеме, который еще меньше напоминает рай земной, который когда-то существовал на их родине. Может быть, к счастью для них. Чем ближе человек подходит к воплощению подлинного рая, тем нетерпеливее он рвется к его окончательному завершению, тем нетерпимее относится к самому себе. Они растили сад радости и наслаждений, и чем пышнее он расцветал во всей своей красе и изобилии, тем стремительнее они опускались, и может быть, для них же лучше будет увидеть, как что-то гибнет в саду, как не идут в рост какие-то деревья и кустарники. Пока нищий мир погружен во тьму, можно верить, что он идет к совершенствованию, можно стремиться к нему. Но когда он начинает сиять богатством и великолепием, его просторы

суживаются до размеров угольного ушка, и ты начинаешь мечтать о мире, в который можно верить и к которому стоит стремиться. Да, они готовы снова разрушить его, этот сад земной, цивилизованный и всепонимающий, они снова расчленят его на куски, чтобы Человечество, оказавшись в той же непроглядной мгле, снова обрело надежду.

И все же Меморабилия улетает с ними на корабле! Неужто она проклята?.. Discede, Seductor informis![50] Нет, знания не могут быть отлучены, хотя Человек извратил их, — и он вспомнил пламя, горящее в ночи…

«Почему я должен покидать эту обитель. Господи? — подумал он. — И должен ли я? И как мне решить: отправляться или отказаться? Но ведь все уже решено: вызов этот был брошен давным-давно Egrediamur tellure[51], обет, в верности которому я поклялся, диктует мне, что я должен делать. Итак, я лечу. Но неужели я пройду обряд рукоположения и буду назван священником и даже аббатом, и мне будет вручена забота о душах братьев моих? Будет досточтимый отче

---

[50] Примечания: 50
Уйди, безобразный Соблазнитель! *(лат.).*

[51] Примечания: 51
«Да покинем землю» *(лат.).*

настаивать на этом? Но он и не настаивает, он всего лишь утверждает, что знает волю Божью, которая повелевает мне согласиться на это. Но он страшно спешит. Уверен ли он во мне, как во всем остальном? Возлагая на меня эту ношу, он, скорее всего, верит мне больше, чем я сам верю в себя.

Подскажи же мне, судьба, подскажи мне! Судьба всегда казалась мне далеким понятием, но внезапно она угрожающе приблизилась и стоит рядом, вот она, бок о бок со мной. Но, может быть, она и права — вот сейчас, здесь, в эту самую минуту, может быть.

Не достаточно ли того, что он уверен во мне? Нет, этого мало. Я должен сам обрести уверенность. И мне осталось всего лишь полчаса. Сейчас даже меньше. Внемли мне, владыка — прошу тебя, Владыка — я, ничтожная часть твоего выводка из ныне живущих на земле, прошу тебя, прошу дать мне знание, дать какой-то знак, знамение, благословение. У меня нет времени самому решать».

Он начал нервничать. Что-то… что происходит? Он услышал тихий шорох сухих листьев под кустами роз, в гуще которых сидел. Все стихло, снова зашуршало, и что-то скользнуло мимо него. Был ли то ему подан знак Неба? Знамение или,

может быть, благословение. Или порыв ветерка?

А может, сверчок. Он услышал всего лишь шорох. Брат Хеган как-то убил гремучую змею прямо во дворе, но… Вот снова что-то скользнуло — легкое подрагивание листьев. Будет ли долгожданным знаком, если что-то ужалит его сзади?

Из церкви снова донеслись звуки молитвенных песнопений:

Reminescentur et convertentur ad Dominum universum fines terrae…[52]

В ночной тьме эти слова звучали странно: во всех краях Земли будут помнить Господа и обращаться к нему…

Шорох внезапно прекратился. Что делается у него за спиной? Господи, звук ведь такой невнятный. В самом деле, я…

Что-то коснулось его кисти. Он с криком вскочил и отпрянул от розария. Схватив валявшийся под ногами камень, он швырнул его в чащу кустов. Оттуда раздался треск громче, чем он ожидал. Он почесал бороду и почувствовал себя полным дураком. Оставалось только ждать. Из кустов ничего не показывалось. Там ничего не

---

[52] Примечания: 52

Края земные будут помнить и обращаться к Господу всеобщему… *(лат.).*

шевелилось. Он бросил камешек. Он звякнул где-то в темноте. Иешуа ждал, но в кустах ничего не происходило. Просить о благословении, а потом бросаться камнями, когда оно даруется тебе — о человек, весь ты в этом.

Узкая полоска восхода заставила померкнуть звезды. Скоро ему отправляться к аббату и излагать свое решение. Что он скажет ему?

Брат Иешуа выловил мошку, запутавшуюся в его бороде, и посмотрел в сторону церкви, потому что в эту минуту кто-то подошел к дверям и выглянул из них — не его ли ищут?

Из церкви снова раздались песнопения. Тихие звуки его оповещали об одном хлебе и одной чаше, которую предстояло разделить на всех…

Он остановился в дверях, чтобы еще раз бросить взгляд на заросли розовых кустов. «Не ловушка ли это? — подумал он. — Ведь, посылая мне знак, Ты знал, что я кину в него камнем, не так ли?»

Через мгновение он уже вошел внутрь и вместе со всеми преклонил колени. Его голос влился в общую мольбу; наконец настало время, когда он перестал терзать себя размышлениями, слившись с группой монахов-космонавтов, собравшихся здесь. Annuntiabitur Domino generatio

ventura[53]... Здесь, в этом месте, они сообщают Господу, что поколение готово отправиться в путь и что они надеются на справедливость Неба. К людям, которые должны родиться, если будет на то соизволение Господа...

Когда Иешуа почувствовал, что тревоги снова возвращаются, он увидел направляющегося к нему аббата. Брат Иешуа на коленях подполз к нему.

— Hoc officium, Fili tibine imponemus oneri?[54] — прошептал аббат.

— Если я нужен им, — покорно ответил монах, — honorem accipam[55].

Аббат улыбнулся.

— Ты не расслышал меня. Я говорил о «ноше», а не о «чести»[56]. Crucis autem onus si audisti ut honorem, nihilo errasti auribus[57].

---

[53] Примечания: 53
Господу будет объявлено о грядущем поколении *(лат.)*.

[54] Примечания: 54
Не на тебя ли, сын, бременем возложим эту обязанность? *(лат.)*.

[55] Примечания: 55
За честь приму *(лат.)*.

[56] Примечания: 56
В латинском тексте игра слов honos (честь) и onus (бремя, ноша).

[57] Примечания: 57
Но если крестную ношу ты принял за честь, то нисколько не ослышался *(лат.)*.

— Accipam, — повторил монах.
— Ты уверен в себе?
— Если они изберут меня, я буду уверен.
— Этого достаточно.

Итак, решено. Когда взойдет солнце, будет избран пастырь, который поведет за собой паству.

И месса, которая отзвучала с восходом солнца, была отслужена во имя странствующих и путешествующих.

Получить место на самолете, летящем в Новый Рим, было не так просто. Еще труднее, чем пробиться к самолету. Во время чрезвычайного положения вся гражданская авиация находилась в распоряжении военных властей, и военным оказывалось явное предпочтение. Если бы аббат Зерчи не был уверен, что кое-кто из военно-воздушных маршалов, кардиналов и епископов окажет ему дружеское содействие, скорее всего, двадцать семь странников — собирателей книг в подпоясанных рясах вместе со всем своим имуществом должны были бы отправляться в Новый Рим на своих двоих, не получив разрешения воспользоваться ракетным транспортом. Но около полудня разрешение было гарантировано. Аббат Зерчи успел подняться на борт для «последнего прости» незадолго до старта.

— Вам предстоит продолжить дело нашего ордена, — сказал он им. — Вместе с вами отправляется и Меморабилия. Вместе с вами апостольское благословение и, может быть, — сам престол Петра.

— Нет, нет, — поспешил ответить он на удивленный шепот среди монахов. — Не его святейшество. Я не говорил вам раньше, но если Земля все же подвергнется страшной участи, Коллегия кардиналов — или точнее, то, что останется от нее — соберется на конвент. И колония на Центавре будет объявлена отдельным патриархатом, где патриаршую власть будет осуществлять кардинал, который будет сопровождать вас. И если бич Небесный обрушится на нас, ему придется воспринять наследство Престола Господня. И если даже жизнь на Земле придет к концу — да не допустит этого Господь, — в любом месте, где обитает человек, будет сиять престол Петров. Многие считают, что если на Землю падет проклятие и она опустеет, папство должно будет покончить свое существование. Да минут вас мысли эти, братья и дети мои, хотя вы должны будете подчиняться лишь указаниям вашего патриарха, который дал специальный обет.

Долгие годы вам придется провести в космосе. Корабль станет вашей обителью, вашим мона-

стырем. После того как в колонии на Центавре воцарится патриаршее правление, вам придется возвести обитель братства Божьей кары ордена святого Лейбовица. Но в ваших руках останется и корабль, и Меморабилия. Если цивилизация даст свои ростки на Центавре, вы будете посылать миссии в другие колонии и, может быть, в те колонии, что отпочкуются от первых. И всюду, куда ступит нога Человека, будете вы и ваши последователи. И вместе с вами придет память о четырех тысячах лет, что остались за вами. Кое-кто из вас или те, кто придут после вас, станут нищенствующими монахами и странниками, которые будут рассказывать об истории Земли и учить гимнам в честь Распятого в тех колониях и тех людей, что будут воссоздавать новую культуру. Ибо забвение приходит быстро. Ибо многие со временем могут потерять веру. Учите их и привлекайте в орден тех, кто чувствует призвание служить ему. Дайте им прикоснуться к вечности. Воплощайте для Человека память о Земле и о Начале. Помните и не забывайте нашу Землю. Никогда не забывайте ее, но — никогда не возвращайтесь. — Зерчи говорил тихим и хриплым голосом. — И если вы когда-нибудь вернетесь, вы можете увидеть Архангела с огненным мечом, который стоит на

краю Земли. Я чувствую, что так и будет. Отныне и навеки космос ваш дом. Пространства его куда более пустынны, чем наши. Бог да благословит вас — и молитесь за нас.

Он медленно прошел по проходу, останавливаясь около каждого, чтобы благословить и обнять его, и лишь затем покинул самолет. Лайнер вырулил на взлетную дорожку и поднялся в воздух. Аббат смотрел ему вслед, пока его черточка окончательно не исчезла на фоне вечернего солнца. Затем он вернулся в аббатство и к тем, кто остался из его паствы. На борту самолета он говорил так, словно судьба группы брата Иешуа была столь же ясна, как уверенность обитателя монастыря в завтрашней службе, но и он, и они понимали, что Зерчи всего лишь рассказывает, как должны претворяться в жизнь намеченные планы, — им руководила надежда, а не уверенность. Ибо группа брата Иешуа должна была стать лишь первым пробным камнем в долгом и сомнительном предприятии, напоминавшем новый Исход из Египта под ударами бича Божьего, ибо Господь Бог, скорее всего, был уже достаточно утомлен существованием человеческой расы.

Тем, кто остался, выпала более легкая участь. Им предстояло лишь ждать конца и молиться о

его отсрочке.

Глава 27

— Размеры района, пораженного выпадением осадков локального ядерного взрыва, продолжают оставаться относительно стабильными, — сказал радиоголос, — и опасности распространения их порывами ветра почти не существует…

— По крайней мере, ничего худшего больше уже произойти не может, — заметил гость аббата. — Во всяком случае, здесь мы в безопасности. Похоже, что так оно и будет, если конференция не провалится.

— Выживем, — хмыкнул Зерчи. — Но давайте послушаем.

— Последняя оценка числа жертв, — продолжал голос, — на девятый день после разрушения столицы достигла двух миллионов восьмисот тысяч погибших. Более половины этого количества — непосредственно жители столицы. Остальная оценка базируется на проценте населения в пригородах, которое должно было неизбежно погибнуть, и на количестве людей в зоне поражения, которые получили критическую дозу радиоактивного поражения. Эксперты предсказывают, что количество жертв может

возрасти по мере того, как будут обнаружены новые очаги радиоактивного заражения.

— В соответствии с законом, в течение всего периода чрезвычайного положения наша станция дважды в день передает следующее заявление:

«Постановление 10-ВР-ЗЕ Общественных законов ни в коем случае не разрешает частным лицам проводить эвтаназию по отношению к жертвам радиоактивного заражения. Лица, которые подверглись облучению сверх критического предела, или те, кто считает, что попали под такое облучение, должны обратиться на ближайшую станцию Скорой помощи Зеленой Звезды, где имеются работники магистрата, облеченные властью выписывать повестки на Пункт добровольной смерти любому, кто, как установлено, подвергся закритическому облучению и чьи страдания могут быть прекращены эвтаназией. Любая жертва радиации, которая осмелится распорядиться собственной жизнью в ином порядке, чем это предписано законом, будет сочтена самоубийцей, в силу чего его потомки и наследники будут лишены права наследования и права на получение страхового вспомоществования, которое предоставляется по закону. Более того, любой гражданин, кто окажет содействие в таких проти-

воправных действиях, будет считаться убийцей и может быть привлечен к ответственности за это преступление. Закон о радиации предписывает проводить эвтаназию только в соответствии с законной процедурой. В случае серьезных радиоактивных поражений следует немедленно обращаться на станцию Скорой помощи Зеленой Звезды…».

Резко и грубо, с такой силой, что тумблер вылетел из гнезда, Зерчи отключил передатчик. Поднявшись с места, он подошел к окну и, опершись на подоконник, выглянул во двор, где группа беженцев толпилась вокруг наспех сколоченных деревянных столов. И старая и новая часть аббатства были заполнены людьми всех возрастов и положений, чьи дома оказались в пораженной и испепеленной зоне. Аббату приходилось все время расширять «уединенные» покои монастыря, чтобы дать приют беженцам, и теперь остались незаполненными людьми только спальни, где монахи находили себе приют на ночь. Вывеску на старых воротах пришлось убрать, потому что по всему аббатству кормили, одевали и давали приют женщинам и детям.

Он увидел, как два послушника тащили из непрерывно работающей кухни кипящий котел.

Они поставили его на стол и начали разливать суп.

Человек, зашедший к аббату, устало опустился на его место и откашлялся. Аббат повернулся.

— Они считают, что все идет как надо, — проворчал он. — Как и полагается происходить массовому самоубийству, с благословения и при поддержке государства.

— Во всяком случае, — сказал посетитель, — куда лучше, чем предоставить им умирать в мучениях.

— Разве? Лучше для кого? Для мусорщиков, очищающих улицы? Лучше, чтобы ваши живые трупы ползли на центральную распределительную станцию, пока они еще могут ходить? Чтобы они не бросались в глаза? Чтобы вокруг было меньше ужаса? Меньше беспорядков? Несколько миллионов трупов, лежащих тут и там, могут вызвать восстание против тех, кто несет за это ответственность. Такое положение дел кажется вам и правительству наилучшим исходом, не так ли?

— Я ничего не знаю о правительстве, — сказал посетитель, и в голосе его появилась едва заметная жесткая нотка. — Под словом «лучше» я подразумеваю «милосерднее». Я не собираюсь

спорить с вами на тему моральной теологии. Если вы считаете, что у вас есть душа, которую Бог может послать в ад, если вы предпочитаете умереть без страданий и мук, можете так думать. Но вы в меньшинстве, и вы это знаете. Я не согласен с вами, но спорить здесь не о чем.

— Простите меня, — сказал аббат Зерчи. — Я не готов обсуждать с вами вопросы моральной теологии. Просто я оцениваю это зрелище массового умерщвления с человеческой точки зрения. Само существование Закона о радиации и подобные же законы в других странах — убедительное свидетельство того, что все правительства прекрасно представляли себе последствия очередной войны, но вместо того, чтобы приложить все усилия для предотвращения этого преступления, они стремились заблаговременно принять меры по устранению его последствий. И разве подтекст, который столь явно виден в этом факте, не имеет для вас значения, доктор?

— Конечно, нет, отче. Лично я пацифист. Но сейчас перед нами предстал мир таковым, какой он есть. И если они не могут договориться о мерах, которые сделают войну бессмысленной, то лучше, чтобы были хоть какие-то законы, имеющие отношение к последствиям войны, чем никаких.

— И да, и нет. Да, если они ведут к предотвращению любого преступления. Нет, если они имеют отношение только к своему собственному преступлению. И тем более нет, если законы, призванные смягчить последствия происшедшего, сами по себе носят преступный характер.

Посетитель пожал плечами.

— Вы имеете в виду эвтаназию? Простите, отче, но я считаю, что есть преступление или нет преступления — это определяют законы общества. Боюсь, что вы со мной не согласитесь. Да, могут быть плохие законы, непродуманные — это правда. Но в данном случае, мне кажется, мы имеем дело с хорошим законом. Если бы я верил, что у меня была душа, и думал бы, что на нас взирает с Небес гневный Бог, я бы с вами согласился.

Аббат Зерчи слегка усмехнулся.

— Вы не обладали душой, доктор. Она есть в вас. Вы обладаете телом, которое служит для нее временным пристанищем.

Посетитель вежливо хмыкнул.

— Семантические игры.

— Верно. Но кто из нас больше играет? Вы уверены в своих словах?

— Давайте не будем ссориться, отче. Я не из Службы милосердия. Я работаю в Отряде оценки

поражения. Мы никого не убиваем.

Несколько мгновений аббат Зерчи молча смотрел на него. Гость его был невысокий мускулистый человек с приятным круглым лицом и лысой загорелой макушкой, покрытой веснушками. На нем был зеленый саржевый китель, на коленях лежала фуражка со знаком Зеленой Звезды.

И в самом деле, зачем им ссориться? Этот человек медик, а не палач. В некоторых случаях Зеленая Звезда работает просто великолепно. Порой просто героически. И если кое-где правит бал зло, в чем Зерчи был уверен, это еще не причина, чтобы клеймить их в самом деле достойную работу. Общество в целом принимает их, и их работники пользуются хорошей репутацией. Доктор старается проявлять к нему дружелюбие. Его просьба, в сущности, кажется очень простой. Он не требует и не ведет себя как официальное лицо. И все же аббат медлил, прежде чем сказать «да».

— Работа, которую вы собираетесь здесь проводить… долго ли она продлится?

Доктор покачал головой.

— Я думаю, что не больше двух дней. У нас два передвижных блока. Мы можем загнать их к вам во двор, смонтировать рядом два трейлера и

сразу же начать работу. Первым делом мы будем брать явные случаи радиоактивного поражения и раненых. Мы имеем дело только с самыми тяжелыми случаями. Наше дело — проводить клинические исследования. Больные и раненые будут направлены в аварийный лагерь.

— А самые тяжелые получат ли что-то еще в лагере милосердия?

Говоривший нахмурился.

— Только, если они захотят туда отправиться. Никто не может их заставить.

— Но выписывать им разрешение будете вы.

— Да, мне вручено несколько красных билетов. Они у меня сейчас имеются. Вот… — он залез в нагрудный карман и вытащил оттуда красную продолговатую карточку, с проволочной петелькой, которая позволяла прикреплять ее к лацкану или вешать на пояс. Он бросил ее на стол. — Бланк для «критической дозы» — вот он. Читайте. В нем говорится, что предъявитель сего болен, очень болен. А вот… вот и зеленый билет. В нем говорится, что обладатель его здоров и ему не о чем беспокоиться. Внимательнее присмотритесь к красной карточке! «Уровень радиационного заражения». «Анализ крови». «Моча». С одной стороны она напоминает зеленую. С другой стороны зеленая

чиста, но вы посмотрите на красную. Четкий текст — прямое извлечение из Общественного закона 10-ВР-3Е. Предписание. Оно должно быть ему зачитано. Ему должны быть растолкованы его права. Что он будет с ними делать — его собственная забота. Итак, если вы не против, чтобы мы раскинули здесь нашу походную лабораторию, мы могли бы…

— Вы просто читаете им этот текст, так? И ничего больше?

Доктор помолчал.

— Если человек не поймет, ему придется объяснить еще раз, — он снова замолчал, стараясь справиться с раздражением. — Боже милостивый, отче, когда вы говорите человеку, что он безнадежен, какие слова вам приходится подбирать? Прочтите ему несколько параграфов закона, покажите, где дверь, и крикните: «Прошу следующего!». Вам предстоит умереть, и посему — будьте здоровы? Конечно же, если в вас остались какие-то человеческие чувства, вы не ведете себя подобным образом!

— Я понимаю. Но я хотел бы знать кое-что еще. Советуете ли вы, как врач, в безнадежных случаях отправляться в лагерь милосердия?

— Я… — врач замолчал и прикрыл глаза. Он

опустил голову на руки и слегка передернулся. — Конечно, я так делаю, — наконец сказал он. — Если бы вы видели то, что доводится делать мне, вы бы тоже так поступали. Конечно, я это делаю.

— Здесь вы этого делать не будете.

— Тогда мы будем… — доктор подавил в себе взрыв гнева. Встав, он взялся за фуражку и замолчал. Бросив головной убор на стул, он подошел к окну. Устало поглядел во двор и перевел взгляд на шоссе. Ткнул пальцем в пространство. — Мы расположились на краю дороги. Это в двух милях отсюда. Большинству из них придется идти пешком, — он бросил взгляд на отца Зерчи и задумчиво снова посмотрел во двор. — Посмотрите на них. Они больны, усталы, испуганы, с переломанными костями. И дети тоже. Они измотаны и нуждаются в милосердии. Вы позволили им сползтись сюда с дороги, где они сидели в пыли под солнцем…

— Я не хотел, чтобы это случилось, — сказал аббат. — Слушайте… только что вы рассказали мне, как законы, созданные человеком, дают вам право определять и объяснять критическую дозу радиации. Я не собираюсь спорить с вами. Воздайте за это должное вашему Кесарю, если

закон вам это позволяет. Но можете ли вы наконец понять, что я подчиняюсь другому закону, и он запрещает мне позволять вам или кому-либо другому на пространстве, которое находится под моим управлением, вершить то, что Церковь считает злом?

— О, я прекрасно понимаю вас.

— Очень хорошо. Вы должны всего лишь дать мне одно-единственное обещание и можете пользоваться монастырем.

— Какое обещание?

— Просто дать мне слово, что вы никому не будете советовать отправляться в «лагерь милосердия». Ограничьтесь постановкой диагноза. Если вы выявите случаи безнадежного поражения, скажите им то, что вас заставляет закон, успокойте людей, насколько то будет в ваших силах, но не говорите им, что они должны убить себя.

Доктор помедлил.

— Думаю, что могу дать такое обещание из уважения к пациентам, которые придерживаются вашей веры.

Аббат Зерчи опустил глаза.

— Простите, — сказал он наконец, — но этого недостаточно.

— Почему? Остальные не придерживаются ваших взглядов. Если человек не принадлежит к вашей религии, почему вы отказываете ему в разрешении на… — он гневно хмыкнул.

— Вам требуется объяснение?

— Да.

— Потому что, если человек не понимает, что происходит вокруг него, и поступает в соответствии со своим невежеством, вины на нем нет. Но если невежество может извинить отдельного человека, оно не может извинить действия, которые сами по себе являются порочными. Если я разрешу действия только потому, что человек не понимает, насколько они плохи, тогда я приму грех на себя, потому что я-то знаю, что плохо и что хорошо. Это предельно просто.

— Послушайте, отче. Вот они сидят там и смотрят на вас. Кто-то стонет. Кто-то плачет. Кое-кто просто сидит. Все они говорят: «Доктор, что мне делать?» И что я должен им отвечать? Ничего не говорить? Говорить: «Вы должны умереть, и это все». Что бы вы им сказали?

— Молитесь.

— Да, это вы им можете сказать. Поймите же, боль для меня — то зло, которое мне известно. И с ним единственным я могу бороться.

— Тогда Бог поможет вам.

— Антибиотики помогают мне куда больше.

Аббат Зерчи хотел резко ответить врачу и уже подобрал слова, но проглотил реплику. Найдя чистый листок бумаги и ручку, он швырнул их через стол к врачу.

— Просто напишите: «Пока я буду находиться в этом аббатстве, я не буду рекомендовать эвтаназию никому из моих пациентов». И подпишитесь. И тогда вы можете использовать наш двор.

— А если я откажусь?

— Тогда я предполагаю, что им придется тащиться две мили вниз по дороге.

— Это предельно безжалостно…

— Напротив. Я предлагаю вам делать свое дело, как предписывает вам ваш закон, но не преступая закон, которому я подчиняюсь. И придется ли страждущим брести по дороге или нет, зависит только от вас.

Доктор посмотрел на чистый лист бумаги.

— Неужели слова, написанные на бумаге, обладают для вас такой магической силой?

— Я предпочел бы увидеть их.

Врач в молчании нагнулся над столом и набросал требуемый текст. Пробежав его глазами, он расписался резким росчерком пера и выпря-

мился.

— Хорошо. Вот то, что вы требовали. Неужели вы считаете, что эта бумага стоит больше моего слова?

— Нет. Конечно нет, — аббат сложил бумажку и опустил ее в карман. — Но она лежит у меня, и вы знаете, где она находится, и то, что время от времени я буду вынимать ее и перечитывать. Кстати, будете ли вы держать свое обещание, доктор Корс?

Медик несколько мгновений смотрел на него.

— Буду, — хмыкнув, он повернулся на пятках и вышел.

— Брат Пат! — усталым голосом позвал аббат Зерчи. — Брат Пат, ты здесь?

Его секретарь появился в дверном проеме.

— Да, досточтимый отец?

— Ты слышал?

— Лишь кое-что. Дверь была открыта и, простите, до меня кое-что доносилось. Вы не включили глушилку…

— Ты слышал, как он сказал: «Боль — единственное известное мне зло». Ты слышал эти слова?

Монах торжественно склонил голову.

— И что лишь это общество, единственное, мо-

жет определять, несут ли те или иные действия зло или нет? Это тоже?

— Да.

— Боже милостивый, как ты позволил этим двум ересям вернуться в мир после всего, что он пережил? Воображение не в силах представить себе царящего здесь ада. «И змей искусил меня…» Брат Пат, тебе лучше уйти, не то я могу впасть в гнев.

— Отче, я…

— Что ты там держишь? Что это — письмо? Отлично, давай его сюда.

Монах протянул письмо и вышел. Зерчи, не раскрывая послание, посмотрел на строчки, оставленные доктором. Скорее всего, все бессмысленно. Но все же этот человек был искренним. И предан делу. Учитывая уровень зарплаты, которую платит ему Зеленая Звезда, он должен быть предан делу, это ясно. Он выглядел невыспавшимся и утомленным. С той минуты, когда взрыв уничтожил город, он живет, скорее всего, только на бензедрине.

Вокруг него сплошное горе, с которым ему приходится неизменно иметь дело, и он не имеет права опускать руки. Он честен — вот что хуже всего. На расстоянии противник кажется вопло-

щением зла, но когда сблизишься с ним, видишь, что он истово предан делу не меньше тебя. Может, сатана был воплощением преданности.

Он вскрыл письмо и прочел его. В нем сообщалось, что брат Иешуа и все остальные отбыли из Нового Рима куда-то на Запад в неопределенном направлении. Письмо также информировало его, что данные о плане «Quo peregrenatur» как-то просочились, и в Ватикан прибыли расследователи, которые задают вопросы о предполагаемом старте незарегистрированного звездного корабля… Ясно, что корабль еще не ушел в космос.

«Они достаточно быстро узнали о «Quo peregrenatur», но, благодарение Небу, они не успеют обнаружить его. И что тогда?» — подумал он.

Ситуация с разрешением была достаточно запутанной. Закон запрещал старт космического корабля без санкции комиссии. Разрешение было трудно получить, и шло оно медленно и неторопливо.

Зерчи был уверен: соответствующая комиссия пришла к заключению, что Церковь нарушает закон. Но соглашение между Церковью и государством к настоящему времени существовало уже полтора столетия, в соответствии с ним Церковь недвусмысленно освобождалась от

процедуры получения лицензии, и оно гарантировало Церкви право посылать миссии «на любое космическое поселение или форпост на планете, о которой нет необходимости сообщать в вышеупомянутую комиссию, которая может запретить данное мероприятие лишь в случае экологической опасности или непредусмотренных случаев». Каждое космическое сооружение в солнечной системе было «экологически опасно» и прикрыто ко времени конкордата, но дальнейший текст соглашения подчеркивал право Церкви на владение «собственными космическими кораблями и неограниченным правом передвижения для открытия новых космических установок и водружения форпостов». Конкордат был очень стар. Он был подписан в те дни, когда все повсеместно считали, что старт космического корабля Беркштрана откроет границы космоса для все увеличивающегося роста населения.

Но дела пошли совсем по-другому. Когда первый межзвездный корабль был еще в чертежах, уже стало совершенно ясно, что никто, кроме правительства, не обладает возможностями и средствами для их постройки, что от колоний, которые размещены за пределами солнечной системы, не стоит ждать никакой выгоды в целях

«межзвездной торговли». Тем не менее правители Азии послали первый корабль с колонистами. На Западе поднялся всеобщий крик: «Неужели мы позволим “низшим” расам завоевывать звезды?». Расизм вызвал к жизни взрыв космических полетов, в результате которых в космическом пространстве вокруг Центавра расположились колонии черных, желтых, белых и коричневых обитателей. Затем генетики спокойно доказали, что каждая расовая группа настолько мала, что если даже потомки все переженятся между собой, колония в результате внутригруппового скрещивания в пределах одной планеты обречена на вымирание, — и расисты были вынуждены признать межрасовое скрещивание необходимым условием выживания.

Единственным интересом для Церкви в космосе была забота о колонистах, своих детях, которые были оторваны от паствы огромными межзвездными расстояниями. И все же она не пользовалась преимуществами, обусловленными конкордатом, которые давали ей право посылать миссии в космос. Между пунктами конкордата и законами государства существовали определенные противоречия, хотя теоретически законы могли позволить отправку миссий.

Противоречия эти никогда не рассматривались в суде, тем более что и тяжб не возникало. Но теперь, если группа брата Иешуа будет засвечена в том, что она готовится к отлету в космос, не получив разрешения, такое дело может возникнуть. Зерчи молился, чтобы группа могла улететь без обращения к суду, потому что такое дело могло затянуться на недели и месяцы. И, конечно же, разразится скандал. Могут последовать обвинения, что Церковь нарушает не только установления Комиссии, но и обет бедности, предоставляя корабль группе церковных чиновников и шайке жуликоватых монахов в то время, когда она могла бы использовать этот корабль на благо бедных беженцев, стремящихся переселиться на новые земли. Извечный конфликт между Марфой и Марией.

Аббат Зерчи внезапно обнаружил, что направление его мыслей заметно изменилось за предыдущие несколько дней. Они прошли в ожидании, что небо вот-вот разверзнется. Но прошло девять дней с того момента, когда Люцифер воцарился в космосе и испепелил город. И если не считать стонов искалеченных и умирающих и груды трупов, девять дней прошли в тишине и молчании. Может быть, жажда мести исчерпала

себя и худшего удастся избежать. Он поймал себя на том, что размышляет о вещах и проблемах, которые могут ждать его через неделю или месяц, словно бы в самом деле будут и следующая неделя, и следующий месяц. Но почему бы и нет? Задумавшись над этим, он понял, что надежда еще не окончательно покинула его.

Монах, к полудню вернувшийся из города, сообщил, что лагерь беженцев разбит в парке в двух милях ниже по шоссе.

— Мне кажется, что он организован Зеленой Звездой, отче, — добавил он.

— Господи, — сказал аббат. — А мы тут задыхаемся. Я отправлю к ним три грузовые машины.

Беженцы наполняли монастырский двор невыносимым шумом, который действовал на нервы. Неизменные покой и тишина древнего аббатства были нарушены странными звуками: грубым смехом перешучивавшихся мужчин, плачем детей, звяканьем кастрюль и тарелок, истерическими рыданиями, голосами врачей из Зеленой Звезды: «Эй, Раф, сбегай-ка за клистиром!..» Несколько раз аббат подавлял в себе желание подойти к окну и крикнуть, чтобы было потише.

Когда терпение его подошло к концу, он взял пару очков, старую книгу, четки и поднялся в од-

ну из старых сторожевых башен, толстые стены которой надежно ограждали от шума во дворе. Книгой оказался небольшой томик стихов, в большинстве своем анонимных, излагавших легенды о жизни мифических святых, канонизация которых свершилась только в легендах и сказках Долин, а не соизволением Святого Престола. Не существовало никаких свидетельств, что в самом деле существовала такая мифическая фигура, как Святой Поэт с Волшебным Глазом: сказка повествовала, как одному из первых Ханнеганов был вручен стеклянный глаз неким блестящим физиком, которому он покровительствовал, Зерчи никак не мог вспомнить, кто это был: то ли Эссер Шон, то ли Пфардентротт — и который рассказал, что он принадлежал Поэту, погибшему за веру. Он не уточнял, за какую веру тот погиб — за престол наместника Божьего или за Тексарканскую ересь — но как бы там ни было, Ханнеган оценил рассказ, потому что сделал подставку для глаза в виде небольшой золотой руки, которая, несмотря на все перипетии, происходившие с государством, по-прежнему принадлежала принцам из династии Харг-Ханнеган. Она называлась «Око Праведного Поэта» и до сих пор почиталась как реликвия последователями Тексарканской

ереси. Несколько лет назад кем-то была выдвинута совершенно глупая гипотеза, что Святой Поэт — не кто иной, как «непристойный виршеплет», лишь однажды упомянутый в Журналах досточтимого аббата Жерома, но единственным подтверждением этой версии служил лишь тот факт, что Пфардентротт — или то был Эссер Шон? — посетил аббатство во времена правления в нем аббата Жерома, и которое соответствовало времени появления в Журнале упоминания о «непристойном виршеплете», и что стеклянный глаз был преподнесен Ханнегану вскоре после этого посещения. Зерчи подозревал, что книжечка стихов была написана одним из тех светских ученых, которые примерно в это время посещали аббатство для знакомства с Меморабилией, и там один из них познакомился с «непристойным виршеплетом», который, вероятно, и был святым Поэтом сказаний и басен. «Анонимные стихи — подумал Зерчи, — слишком смелы, чтобы быть написанными монахом ордена».

Книга представляла собой и сатирический диалог в стихах между двумя агностиками, которые, прибегая к аргументам из области естественных наук, пытались доказать, что существование Бога не может быть подтверждено в силу тех же

естественных причин. В тексте чувствовались следы теологических изысканий святого Лесли, и даже как поэтический диалог между двумя агностиками, один из которых назывался «Поэтом», а другой только «Тоном», по всей видимости, все же доказывал существование Бога, пользуясь эпистомологическим методом, но стихотворец явно был склонен к сатире; ни Поэт, ни Тон не отказывались от своих предрассудков, и наконец оба договорились до того, что «не мыслю, потому что ничего не существует».

Аббат Зерчи наконец устал от стараний понять, является эта книга высокоинтеллектуальной комедией или просто шутовством. С башни он видел шоссе и далекий город, так же как и плоскую вершину горы. Он сфокусировал на ней объективы бинокля и увидел стоявшую на вершине радарную установку, но ничего необычного там не происходило. Опустив бинокль чуть пониже, он разглядел новый лагерь Зеленой Звезды на краю дороги. Там, где был разбит парк, ныне все стояло дыбом. Стояли натянутые палатки. Несколько бригад работало, подтягивая газ и силовые коммуникации. Несколько человек торопливо прибивали какую-то надпись у входа в парк, но они держали ее под таким углом, что

он не мог прочесть ее. Эта бурная активность напоминала ему «карнавал» кочевников, когда тот являлся в город. Стояло несколько агрегатов красного цвета. Похоже, что один из них был топкой, а во втором, по всей видимости, должна была подогреваться вода, но он не мог сразу же определить, для чего они в самом деле предназначены. Люди в униформах Зеленой Звезды воздвигали сооружение, которое с первого взгляда напоминало маленькую карусель. На краю дороги стояло не меньше дюжины грузовиков. Некоторые из них были нагружены ручным хламом, другие — палатками, сложенными койками. В кузове одного из них были навалены огнеупорные кирпичи, а в другом горшки и прочая хозяйственная мелочь.

Горшки?

Он повнимательнее присмотрелся к содержимому кузова последней машины и слегка нахмурился. Кузов был забит урнами или вазами, смахивающими друг на друга, проложенными прокладками из соломы. Где-то он видел нечто подобное, но не мог вспомнить, где именно.

Еще один грузовик привез нечто, напоминающее большую «каменную» статую — скорее всего, сделанную из напряженного пластика — и квадратный постамент, на который, по всей

видимости, должна быть водружена статуя. Она лежала на спине, зажатая в деревянной раме и заваленная кучей упаковочного материала. Он видел только ее ноги и простертую руку, высовывавшуюся сквозь солому. Статуя была длиннее, чем кузов, в котором ее доставили, и ноги висели за пределами открытого борта. Кто-то привязал на одну пятку красный флажок. Зерчи с удивлением смотрел на все происходящее. Зачем понадобилось отдавать целый грузовик под перевозку статуи, когда не подлежит сомнению, что тут позарез необходимо подвезти припасы?

Он посмотрел на мужчин, которые водружали надпись. Наконец один из них поставил лестницу, чтобы, поднявшись по ней, привести надпись в порядок. Упираясь одним концом столба в выкопанную яму, вывеска стала подниматься, и Зерчи, напрягая зрение, смог наконец прочесть ее:

ЛАГЕРЬ МИЛОСЕРДИЯ НОМЕР 18

ЗЕЛЕНАЯ ЗВЕЗДА

ПРОЕКТ СЛУЖБЫ БЕДСТВИЯ

Он торопливо перевел взгляд на грузовики. Горшки! Наконец он все вспомнил. Как-то он ехал мимо крематория и видел, как сгружали с грузовика, на борту которого были те же фирменные

знаки, такие урны. Он снова повел биноклем в поисках грузовика, загруженного огнеупорным кирпичом. Грузовик куда-то сдвинулся с того места, где он его видел. Наконец он обнаружил, что тот уже въехал в лагерь. Кирпичи были разгружены рядом с большим красным агрегатом. Он еще раз присмотрелся к нему. То, что показалось ему с первого взгляда котлом для кипячения воды, теперь предстало горном или печью.

— Сгинь, нечистая сила! — пробормотал он и поспешил к лестнице.

Доктор прикалывал желтую карточку на лацкан пиджака какого-то старика и объяснял ему, что он должен отправиться в лагерь отдыха и найти там сестру, но что с ним будет все хорошо, если он все выполнит, как предписано.

Закусив губу и сложив на груди руки, Зерчи стоял рядом, холодно глядя на врача. Когда старик наконец ушел, Корс устало посмотрел на аббата.

— Да? — он увидел бинокль и снова перевел взгляд на лицо аббата. — Ах, да, — пробурчал он. — Но в конце концов, я ничего не могу с этим поделать, совершенно ничего.

Аббат несколько секунд смотрел на него, потом повернулся и отошел. Вернувшись в свой кабинет, он приказал брату Пату связаться с высшим

должностным лицом службы Зеленой Звезды…

— Я хочу потребовать от них, чтобы они покинули нашу обитель.

— Боюсь, что скорее всего мы получим отрицательный ответ.

— Брат Пат, позвони в мастерскую и вызови сюда брата Лаффера.

— Его здесь нет, отче.

— Тогда пусть ко мне явятся плотник и маляр. Кто-нибудь.

Через несколько минут перед аббатом предстали два монаха.

— Я хочу, чтобы вы как можно скорее сделали пять переносных надписей, — сказал он им. — Я хочу, чтобы они были сделаны большими буквами. Они должны быть достаточно большими, чтобы их можно было увидеть издалека, и достаточно легкими, чтобы человек мог несколько часов переносить их с места на место. Справитесь?

— Конечно, милорд. Что должно быть написано?

Аббат Зерчи набросал текст.

— Пусть он будет большим и ярким, — сказал он. — Пусть он так и бросается в глаза. Это все.

Когда они ушли, он снова позвонил брату Па-

ту.

— Брат Пат, пришли ко мне пять хороших, здоровых, молодых послушников, предпочтительно готовых к мученичеству. Предупреди их, что, возможно, их ждет судьба святого Стефана.

«Меня ждет еще более худшая судьба, — подумал он, — когда в Новом Риме услышат об этом».

Глава 28

Вечерня уже отзвучала, но аббат не покинул церковь, продолжая стоять на коленях в вечернем полумраке храма.

Он молился за тех, кто ушел с братом Иешуа — за своих собратьев, которых ждет межзвездный корабль, что должен унести их в космос навстречу такой неопределенности, с которой никогда не встречался человек на Земле. Им нужно, чтобы за них непрестанно молились, никто не нуждается во внимании к себе больше, чем странник среди бед и страданий, которые терзают дух, подвергая сомнениям веру, подрывая убеждения и искушая ум сомнениями. Дома, на Земле, ты можешь прибегнуть со своими сомнениями к учителям и мыслителям, но вне Земли сознание остается наедине с самим собой, разрываясь между Господом нашим и Врагом рода человеческого. «Дай им непоколебимую силу противостояния, — молился он. — Дай им мужество пронести правду нашего ордена».

К полуночи доктор Корс нашел его в церкви и бесшумно остановился рядом. Врач выглядел изможденным, осунувшимся и растерянным.

— Я отказываюсь от своего обещания! — с вызовом сказал он.

Аббат промолчал.

— Вы гордитесь этим? — наконец сказал он.

— Не особенно.

Они подошли к передвижной лаборатории и остановились в луче голубоватого света, падавшего из ее открытой двери. Халат врача был пропитан потом, и он вытирал лоб рукавом. Зерчи смотрел на него с той жалостью, которую всегда чувствовал к заблудшим.

— Конечно, нам придется тут же уезжать, — сказал Корс. — Думаю, что все сказал вам, — он повернулся, собираясь войти в лабораторию.

— Подождите, — сказал священник. — Скажите мне и все остальное.

— Нужно ли? — тон у врача опять стал вызывающим. — Зачем? Чтобы вы могли призывать на наши головы адское пламя? Его и так уж хватает, а тут есть ребенок. Я ничего вам больше не скажу.

— Вы уже сказали. Я знаю, что вы имеете в виду. И ребенка тоже, как я предполагаю?

Корс помедлил.

— Радиоактивное поражение. Обожженная вспышкой плоть. У женщины сломанное бедро.

Отец мертв. Пломбы в зубах у женщины сплошь радиоактивны. Ребенок почти светится в темноте. Сразу же после взрыва началась рвота. Тошнота, анемия, множественные разлагающиеся язвы. Слеп на один глаз. Ребенок непрерывно плачет из-за ожогов. Трудно понять, как им удалось пережить шок. Я не могу сделать для них ничего, кроме как передать в команду ЭВКРЕМ (Эвтаназия — кремация).

— Я ее уже видел.

— Тогда вы понимаете, почему я нарушил обещание. Потом мне придется жить, человече! И я не хочу жить, как человек, обрекший эту женщину и ребенка на муки.

— Предпочитаете жить, как их убийца?

— Доводы рассудка на вас не действуют.

— Что вы сказали женщине?

— Что, если вы любите своего ребенка, прекратите его агонию. Не медлите, и пусть на него снизойдет благодетельный сон. Это все. Мы немедленно покидаем вас. Мы уже покончили со случаями радиационного поражения и с самыми тяжелыми случаями у остальных. Их не затруднит пройти пару миль. Случаев с критическими дозами больше нет.

Отойдя, Зерчи остановился и повернул обрат-

но.

— Кончайте, — прохрипел он. — Кончайте и убирайтесь отсюда. И если я снова увижу вас тут… мне страшно подумать, что я могу сделать.

Корс сплюнул.

— Я хочу оставаться тут не больше, чем вам хочется видеть меня. Мы сейчас же отправляемся. Благодарю вас.

В коридоре переполненного дома для гостей он нашел женщину с ребенком, лежащих на кушетке. Оба они плакали, свернувшись калачиком под одеялом. В здании пахло смертью и антисептиками. Она взглянула на неясный силуэт, закрывший свет.

— Отче? — сказала она испуганным голосом.

— Да.

— Нас уже обработали. Видите? Вы видите, что они мне дали?

Он ничего не видел, но слышал шорох разворачиваемой бумаги. Красная карточка. У него не было сил издать хоть звук. Подойдя, аббат склонился над кушеткой, и порывшись в кармане, вытащил четки. Она услышала позвякивание зерен и ухватилась за четки.

— Ты знаешь, что это?

— Конечно, отче.

— Тогда возьми. И используй.

— Спасибо.

— Терпи и молись.

— Я знаю, что я должна делать.

— Не становись соучастницей. Ради любви к Богу, дитя мое, не…

— Доктор сказал…

Она резко замолчала. Он ждал, чтобы она продолжила, но женщина молчала.

— Не становись соучастницей.

Она по-прежнему молчала. Благословив их, он торопливо вышел. Женщина перебирала четки пальцами, которым была знакома их отполированная гладкость, он не мог сказать ей ничего из того, что она уже не знала бы.

Конференция министров иностранных дел на Гуаме только что подошла к концу. Общего политического коммюнике решено было не выпускать, и министры возвращались в свои столицы. Значимость этой конференции и напряжение, с которым весь мир ожидал ее результатов, заставили комментаторов поверить, что конференция не закончена, а только отложена на несколько дней, чтобы министры могли посовещаться со своими правительствами. Предыдущее сообщение, оповещавшее, что

конференция была прервана в потоке взаимных жестоких обвинений, было дружно опровергнуто министрами. Первый министр Реколь сделал только одно заявление для прессы: «Я возвращаюсь переговорить с Регентским Советом. Но так как тут стоит прекрасная погода, я, возможно, попозже вернусь сюда порыбачить».

«Период десяти дней ожидания сегодня подходит к концу, но существует всеобщее согласие, что договор о прекращении огня будет продолжен и подвергнут обсуждению. Альтернативой ему служит взаимное уничтожение. Два города стерты с лица земли, но необходимо помнить, что ни одна из сторон не ответила сокрушительным нападением. Правители Азии придерживаются принципа «око за око». Наше правительство настаивает, что взрыв на Иту-Ван не явился результатом взрыва атлантической ракеты. Но для большей части населения обеих столиц это обернулось рукой судьбы и воцарившимся молчанием на их развалинах. Доводилось видеть, как кое-кто размахивает окровавленными одеждами, и слышать отдельные вопли о всеобъемлющей мести. Ярость эта глупа, поскольку преступление уже совершено и умопомешательство по-прежнему правит миром, но ни одна из сторон не хочет

тотальной войны. Система обороны находится в боевой готовности. Генеральный штаб издал оповещение, которое можно считать едва ли не призывом, что мы не пойдем на применение самого страшного вида оружия, если и Азия воздержится от его использования. Но далее идет следующий текст: «Если же они все-таки пустят в ход грязное ядерное оружие, мы ответим им так и с такой силой, что в течение тысячелетий в Азии не сможет жить ни одно живое существо».

Странно, но самые обнадеживающие слова прозвучали не с Гуама, а из Ватикана в Новом Риме. После того как конференция на Гуаме подошла к концу, поступило сообщение, что папа Григорий прекратил молиться за мир во всем мире. В базилике прозвучали две специальные мессы: против язычников и «Да помнится» — о временах войны, а затем в сообщении говорилось, что «его святейшество удалился в горы размышлять и молиться о справедливости…».

— «А теперь точка зрения…».

— Выключи! — простонал Зерчи.

Молодой священник, который был рядом с аббатом, выключил приемник и широко раскрытыми глазами посмотрел на него.

— Не могу поверить!

— Во что? Относительно папы? Я тоже. Но я слышал это известие и раньше, и у Нового Рима было вдоволь времени, чтобы опровергнуть его. Они не проронили ни слова.

— Что это может значить?

— Разве тебе не ясно? Дипломатическая служба Ватикана исполняет свои обязанности. Ясно, что они послали сообщение о конференции на Гуаме. Ясно, что оно испугало Святого Отца.

— Какое предупреждение! Что за жест!

— Это не жест, брат мой. Его святейшество не собирается распевать боевые гимны лишь для драматического эффекта. Кроме того, большинство людей будет думать, что он выступает «против язычников» по другую сторону океана, за «справедливость» для нашей стороны. Или, в лучшем случае, для них лично, — закрыв лицо ладонями, он несколько раз энергично провел ими вверх и вниз. — Спать. Зачем спать, отец Лехи? Припоминаете? В течение этих десяти дней я не видел человека, у которого не было бы черных кругов под глазами. Из-за стонов в гостевом доме я едва мог вздремнуть прошлой ночью.

— Люцифер не дремлет, это верно.

— Что вы там высматриваете в окне? — резко сказал Зерчи. — Это совсем другое дело. Все толь-

ко и смотрят в небо, не отрывая от него глаз, и удивляются. Если это придет, вы и не заметите ничего, пока вас не ослепит вспышка, и тогда вам уж лучше не смотреть. Прекратите. В этом есть что-то болезненное.

Отец Лехи отвернулся от окна.

— Хорошо, достопочтимый отче. Я больше не буду смотреть, хотя, честно говоря, я высматривал стервятников.

— Стервятников?

— Весь день они висели в небе. Десятки стервятников — они так и выписывали круги.

— Где?

— Над лагерем Зеленой Звезды, что ниже по шоссе.

— Еще рано говорить «аминь». Поведение стервятников свидетельствует лишь о здоровом аппетите у них. Ага! Пора и мне выйти глотнуть свежего воздуха.

Во дворе он встретил миссис Грейлс. Она тащила корзинку с помидорами, которую, увидев аббата, поставила на землю.

— Я тут кой-чего принесла вам, отец Зерчи, — сказала она. — Вижу, вывески у входа больше нет, за воротами маются бедные женщины, ну я и решила, что вы не против, если к вам зайдет

старая помидорница. Я тут вам помидорчиков принесла, понимаете?

— Спасибо, миссис Грейлс. Объявление снято из-за беженцев, но все в порядке. Относительно помидоров вы должны поговорить с братом Элтоном. Он делает закупки для кухни.

— Да не, я не на продажу, отче. Хи-хи! Я просто так вам их принесла. Ведь вам тут, наверно, со всеми этими бедами еды не хватает. Так что я просто так принесла. Куда мне их положить?

— Аварийные кухни в… нет, оставьте их здесь. Я пошлю кого-нибудь отнести их в гостевой дом.

— Сама их отнесу. Столько тащила, так что отнесу сама, — она нагнулась и подняла корзинку.

— Благодарю вас, миссис Грейлс, — он повернулся, собираясь уходить.

— Подождите, отче! — вскрикнула она. — Уделите мне минутку, ваша честь, всего лишь минутку вашего времени…

Аббат подавил готовый было вырваться стон.

— Простите, миссис Грейлс, но как я вам уже говорил… — он остановился, увидев лицо Рашель. На мгновение ему показалось, что брат Иешуа был прав, когда рассказывал о ней. Но нет, не может быть. — Речь идет о вашей епархии и вашем приходе, и тут я ничего не могу…

— Нет, отче, не об этом! — сказала она. — Я хотела спросить у вас кое о чем другом (Вот! Она в самом деле улыбается! Теперь сомнений в этом не было!) Можете ли вы выслушать мою исповедь, отче? Прошу прощения, что я вам надоедаю, но меня так тяготят мои прегрешения, что я хочу исповедаться перед вами.

Зерчи помедлил.

— А почему не у отца Зело?

— Скажу вам по правде, этот человек чуть не ввергнул меня в грех. Я всегда хорошо думаю о людях, но вот как-то посмотрела на него и забыла самое себя. Пусть Бог его любит, а я не могу.

— Если он обидел вас, вы должны простить его.

— Так это я делаю, это я и делаю. Но на расстоянии, и порядочном. Должна вам признаться, что он снова может ввергнуть меня во грех, ибо, как только вижу его, кровь так и бросается мне в голову.

Зерчи хмыкнул.

— Хорошо, миссис Грейлс. Я приму вашу исповедь, но предварительно я должен кое-что сделать. Ждите меня в часовне Божьей Матери примерно через полчаса. У первой кабинки. Вас это устроит?

— Да благословит вас Бог, отче! — она радостно кивнула.

И аббат Зерчи мог поклясться, что Рашель повторила ее движение, только еле заметно.

Отбросив эти мысли, он направился к гаражу. Послушник выкатил ему машину. Он сел в нее, набрал на дисплее цель назначения и устало откинулся на спинку сиденья, пока автоматика переключала скорости и разворачивала машину носом к воротам. Проехав ворота, аббат увидел девушку, стоящую на краю дороги. Вместе с ней был ребенок. Зерчи нажал на кнопку «Отмена». Машина остановилась.

— Ждать, — сказал он контрольной системе.

На девушке был гипсовый корсет, который закрывал ей бедра от талии до левого колена. Она опиралась на костыли, которые осторожно переставляла по земле. Как-то она выбралась из домика и прошла через ворота, но чувствовалось, что дальше идти она не в состоянии. Ребенок держался за один из костылей и стоял, глядя на стремительное движение по шоссе.

Зерчи открыл дверцу машины и медленно выкарабкался наружу. Она взглянула на него и быстро отвела взгляд.

— Почему ты поднялась с постели, дитя мое? —

выдохнул он. — Тебе нельзя вставать, особенно с таким переломом бедра. И куда ты собираешься?

Она переместила вес тела на другую ногу, и ее лицо искривилось от боли.

— В город, — сказала она. — Это очень важно. Я должна идти.

— Не столь спешно, чтобы кто-то не мог сходить для тебя. Я пошлю брата…

— Нет, отче, нет! Никто другой не может этого сделать, кроме меня. Я должна попасть в город.

Она лгала. Он был уверен, что она врет.

— Что ж, ладно, — сказал он. — Я подвезу тебя. Так и так я туда отправляюсь.

— Нет! Я дойду! Я… — она сделала шаг и вскрикнула от боли. Он успел подхватить ее.

— Даже если святой Христофор будет поддерживать твои костыли, ты не дойдешь до города, дитя мое. Так что лучше иди и возвращайся на свое ложе.

— Говорю вам, что мне нужно добраться до города! — гневно вскрикнула она.

Ребенок, испуганный голосом матери, начал плакать. Она попыталась успокоить его, но потом поникла в отчаянии.

— Хорошо, отче. Вы можете довезти меня до города?

— Тебе вообще нечего там делать.

— Я говорю вам, что мне необходимо!

— Ну что ж, ладно. Давай я подсажу тебя… и ребенка… вот так.

Ребенок уже заходился в истерике, когда священник, подняв, посадил его в машину рядом с матерью. Прижавшись к ней, он продолжал непрестанно всхлипывать. Под кучей влажных лохмотьев, в которые он был закутан, и с опаленной копной волос, трудно было на первый взгляд определить его пол, но аббат Зерчи предположил, что это была девочка.

Он снова дал указания дисплею. Машина дождалась разрыва в движении и, вырулив на трассу, заняла место в среднем ряду. Через две минуты, когда они оказались рядом с лагерем Зеленой Звезды, он направил ее на полосу более медленного движения.

На краю пространства, занятого палатками, в парадных рясах торжественным пикетом стояли пятеро монахов. Время от времени они ходили взад и вперед перед вывеской «Лагерь милосердия», но было видно, что они старались никому не мешать входить и выходить. На их плакатах было броско написано свежей краской:

ОСТАВЬ НАДЕЖДУ

ВСЯК

СЮДА ВХОДЯЩИЙ

Зерчи хотел было остановиться, чтобы поговорить с ними, но с девушкой, сидящей у него в машине, он позволил себе только сбросить скорость, проезжая мимо. В рясах и надвинутых на глаза капюшонах мерная похоронная процессия послушников в самом деле производила желаемый эффект. Сомнительно, что служба Зеленой Звезды испытала серьезные затруднения и поторопилась скорее убраться из монастыря, тем более что в ранние часы небольшая группа скандалистов, как было сообщено в аббатство, стала выкрикивать оскорбления и бросать камни в пикетчиков. На краю дороги стояли два полицейских автомобиля, и за происшедшим наблюдали несколько офицеров с бесстрастными лицами. Так как хулиганы появились совершенно внезапно, и сразу же после них примчались две полицейские машины, как раз чтобы увидеть, как хулиганы пытались вырвать плакаты пикетчиков, аббат не мог отделаться от предположения, что хулиганы появились на сцене, чтобы продемонстрировать, в каких условиях приходится работать Зеленой Звезде. Аббат Зер-

чи решил пока оставить пикетчиков там, где они пребывали, неся свою службу.

Он глянул на статую, которую уже воздвигли около ворот. Она заставила его недоуменно прищуриться. Он узнал в ней один из тех обобщенных обликов человека, который появился в результате массовых психологических опросов, в ходе которых опрашиваемым давали рисунки и фотографии неизвестных людей и задавали вопросы типа: «Кого бы вы больше всего хотели встретить?», или «Как по вашему мнению, должны были бы выглядеть самые лучшие родители?», или «Встречи с кем вы хотели бы избежать», или «Как должен выглядеть преступник?», а затем, подытожив результаты, компьютеры создали некоторое «усредненное лицо» персонажа, который в наибольшей степени устраивал бы участников массовых опросов.

Статуя, как с ужасом заметил Зерчи, несла в себе заметное сходство с тем изнеженным женственным обликом, в котором посредственные и даже хуже чем посредственные артисты по традиции изображали образ Христа. Тошнотворно-сладостное выражение лица, пустые глаза, жеманно поджатые губы и руки, распростертые в традиционном объятии. Бедра были широки, как

у женщины, и даже замечались какие-то намеки на груди, хотя то были всего лишь складки одеяния. «Господь наш, мученик Голгофы, — перевел дыхание аббат Зерчи. — Неужели вся эта чернь воображает, что Ты в самом деле был таким?». Он с трудом представлял себе, что такая статуя могла сказать: «И пусть все страждущие и малые придут ко мне», но совершенно не мог представить этот облик говорящим: «Изыди от меня, проклинаю тебя и обрекаю на вечную муку» или же с бичом в руках, изгоняющим менял из храма «Какие вопросы, — подумал он, — должны были задаваться, если в результате их обобщения родилось некое составное лицо, удовлетворяющее только потребу черни?» Мало кто догадывался, кого на самом деле изображает статуя. Надпись на ее пьедестале гласила «ПОКОЙ». Но, конечно же, в Зеленой Звезде должны были видеть то сходство с традиционно сладеньким Христом, как его изображали бездарные артисты. Но его приволокли лежащим ничком в кузове огромного грузовика с красным флажком, болтающимся на его чудовищной неподвижной пятке, и сходство это трудно было доказать.

Девушка уже держалась одной рукой за дверь, не отводя глаз от системы управления машины.

Зерчи мягко перевел указатель на «Скоростную полосу». Машина рванулась вперед. Она отпустила ручку дверей.

— Сегодня много стервятников, — тихо сказал он, выглядывая из окна машины и глядя на небо.

Девушка сидела, не глядя на него, с бесстрастным выражением лица. Несколько секунд он изучал ее.

— Болит, дочь моя?

— Неважно.

— Предоставь все решать небесным силам, дитя.

Она холодно взглянула на него.

— Вы думаете, это может доставить удовольствие Богу?

— Если ты доверишься ему, то да.

— Я никогда не пойму Бога, которому доставляет удовольствие страдание моего ребенка!

Священник моргнул.

— Нет, нет! Боль его не доставляет Богу никакого удовольствия, дитя мое. Когда душа крепнет в вере, надежде и любви, несмотря на телесные страдания, — вот что радует Небеса. Боль — это ужасное испытание. Богу не нравятся испытания, которые терзают плоть, он рад лишь когда дух воспаряет над испытаниями и говорит: «Изыди,

Сатана». То же самое и с болью, которая часто лишь искушение поддаться отчаянию, гневу и потере веры…

— Передохните, отче. Я не жалуюсь. Но у меня ребенок. И ребенок не в силах понять ваших проповедей. Хотя она тоже должна страдать. Она должна страдать, но не понимает, почему ей это досталось.

«Что я могу ей сказать на это? — подумал священник. — Снова рассказывать ей, что человек был одарен сверхъестественной нечувствительностью к боли, но потерял ее, когда был изгнан из Эдема? Что каждый ребенок — суть плоть Адама и посему… все это было правдой, но у нее на руках был больной ребенок, да она и сама плохо чувствовала себя и слушать его она не хотела».

— Не делай этого, дочь моя. Просто не делай этого.

— Я подумаю, — холодно ответила она.

— Однажды, когда я был мальчиком, у меня был кот, — неторопливо пробормотал аббат. — Большой серый кот, с плечами, как у бульдога средних размеров, а когда он гневался, то напоминал дьявола во плоти. Словом, настоящий кот. Ты любишь кошек?

— Не очень.

— Любители кошек не разбираются в них. Если ты их знаешь, ты не можешь обожать всех кошек, а та, к которой ты привязан, если ты знаешь их, — как раз та, которая не нравится любителям. Зекки как раз и был таким котом.

— А дальше, конечно, последует мораль? — она с подозрением посмотрела на него.

— Только та, что я убил его.

— Стоп. О чем бы вы ни собирались говорить, пожалуйста, помолчите.

— Его сбил грузовик, переломав ему задние лапы. Он как-то дотащился до дома и заполз под него. Пару раз он издал боевой вопль кота, который одержал верх в схватке, но большую часть времени он просто молча лежал и ждал. «Его надо прикончить, он должен погибнуть», — все говорили мне. Через несколько часов он выполз из-под дома. Стеная о помощи. «Его надо прикончить», — говорили мне. Я не мог этого допустить. Мне говорили, что жестоко заставлять его мучиться. Наконец я сказал, что если этого не миновать, я сам это сделаю. Я взял револьвер, лопату и отнес его на опушку леса. Копая яму, я положил его на землю. Затем я прострелил ему голову. Пуля была малокалиберная. Зекки пару раз дернулся, затем приподнялся и потащился к

кустам. Я снова выстрелил в него. Он свалился, и я, решив, что он мертв, потащил его к яме. Не успел я сбросить туда пару лопат земли, Зекки снова приподнялся, выполз из ямы и опять пополз к кустам. Я плакал громче, чем кот. Мне пришлось убить его лопатой. Пустив ее в ход, как тесак, я снова кинул его в яму. И пока я кромсал его, Зекки все время метался и дергался. Потом мне говорили, что то был всего лишь спинальный рефлекс, но я этому не верил. Я знал его. Он хотел добраться до кустов и отлежаться там. Я хотел бы, чтобы Бог дал ему возможность добраться до этих кустов и умереть так, как умирают кошки, если вы им не мешаете и оставляете в одиночестве — с достоинством. Я никогда не чувствовал, что был прав. Зекки был всего лишь кот, но…

— Замолчите! — прошептала она.

— …но даже древние язычники заметили, что Природа не заставляет вас делать ничего, к чему бы она вас не подготовила. И если это справедливо по отношению к кошке, разве не куда более это справедливо по отношению к существу, одаренному умом и волей, — неважно, верите ли вы или нет в предначертания Неба?

— Да замолчите, черт бы вас побрал, замолчите же! — прошипела она.

— Если бы я был несколько более жесток, — сказал священник, — тогда я говорил бы о вас, а не о ребенке. Ребенок, как вы говорите, не может понять, что происходит. И вы, судя по вашим словам, не жалуетесь. И тем не менее…

— Тем не менее вы требуете от меня, чтобы я оставила ее медленно умирать в мучениях и…

— Нет! Я не прошу от вас этого. Как служитель Христа я приказываю вам, обращаясь к Всемогущему Богу, не накладывать руки на вашего ребенка, не приносить ее жизнь в жертву фальшивому богу ложного сострадания. Я не советую вам, а взываю и приказываю во имя Христа-Владыки. Это ясно?

Дом Зерчи никогда ранее не говорил таким тоном, и легкость, с которой слова слетали с его губ, удивила священника. Он продолжал смотреть на нее, и она опустила глаза. Какое-то мгновение ему казалось, что молодая женщина расхохочется ему в лицо. Когда в свое время Святая Церковь давала понять, что она по-прежнему считает свою власть простирающейся над всеми нациями и высшим авторитетом для государства, в те времена люди не могли удержаться от насмешек. Но власть приказа от имени Церкви чувствовалась даже этой раздавленной женщи-

ной с умирающим ребенком на руках. Убеждать ее было жестокостью, и он сожалел, что ему пришлось заниматься этим. Простой и ясный приказ мог бы дать то, чего никак не удается достичь убеждением. Он убедился в этом, видя, как она сразу же ослабела, хотя он приказывал ей самым мягким и спокойным голосом, на который только был способен.

Они въехали в город. Зерчи остановился у почты, у собора святого Михаила, отправить письмо и несколько минут обсуждал с отцом Зело проблемы беженцев, затем заехал взять копию указаний службы гражданской обороны. Каждый раз возвращаясь к машине, он был почти убежден, что не найдет в ней своей спутницы, и каждый раз находил ее на том же месте: держа ребенка на руках, она отсутствующим взглядом смотрела в открывающуюся перед ней бесконечность.

— Не хотите ли сказать мне, дитя мое, куда вы собираетесь направиться? — наконец спросил он.

— Никуда. Я передумала.

Он улыбнулся.

— Но вы так торопились попасть в город.

— Забудьте это, отец мой. Я передумала.

— Отлично. Теперь мы возвращаемся домой.

Почему бы вам на несколько дней не поручить заботу о вашем ребенке нашим сестрам?

— Я подумаю об этом.

Машина направилась обратно к аббатству. Когда они приблизились к лагерю Зеленой Звезды, он увидел, как что-то изменилось — и не в лучшую сторону. Пикетчики больше не ходили перед воротами. Собравшись в группу, они что-то говорили и слушали офицера и третьего человека, которого Зерчи не мог узнать. Он перевел машину на полосу замедленного движения. Один из послушников, узнав машину, принялся размахивать своим плакатом. Дом Зерчи не предполагал останавливаться здесь, пока не доставит на место девушку, но один из офицеров вышел на полосу движения, как раз перед ним, и жезлом указал ему на обочину, автопилот отреагировал автоматически и остановил машину. Офицер жестом приказал машине съехать с дороги. Зерчи не мог не повиноваться. Два подошедших офицера полиции остановились, посмотрев на номер машины, и потребовали документы. Один из них с любопытством посмотрел на женщину с ребенком, обратив внимание на красную карточку. Другой махнул на стоящую в неподвижности линию пикета.

— Значит, за всем этим кроетесь вы, не так ли? — он хмыкнул, глядя на аббата. — Что ж, у этого джентльмена в коричневом мундире есть для вас кое-какие новости. И думаю, что вам лучше прислушаться к ним, — мотнув головой, он показал на коренастого судейского чиновника, который торжественно приближался к ним.

Ребенок снова заплакал. Мать утомленно стала утешать его.

— Эта женщина и ребенок плохо чувствуют себя. Прошу вас, дайте нам возможность вернуться в аббатство. А затем я вернусь.

Офицер еще раз взглянул на девушку.

Она не отрывала глаз от лагеря, а затем перевела взгляд на высящуюся над ним статую.

— Я здесь выйду, — безжизненным голосом сказала она.

— Вам здесь будет лучше, — сказал офицер, снова приковываясь взглядом к красной карточке.

— Нет! — Дом Зерчи схватил ее за руку. — Дитя мое, я запрещаю тебе…

Молниеносным движением офицер схватил священника за кисть.

— Отпустите ее! — рявкнул он и продолжил уже мягче: — Мэм, это ваш опекун… или кем он вам приходится?

— Нет.

— В таком случае, какое у вас право запрещать женщине выйти из машины? — потребовал ответа офицер. — Не выводите нас из терпения, мистер, и вам бы лучше…

Не обращая на него внимания, Зерчи быстро стал говорить с молодой женщиной. Она отрицательно покачала головой.

— Тогда ребенок. Отдай мне ребенка, я отвезу ее к сестрам. Я настаиваю…

— Мэм, это ваш ребенок? — спросил офицер.

Девушка уже вышла из машины, но Зерчи продолжал держать ребенка. Девушка кивнула.

— Мой.

— Он задерживает вас как пленницу?

— Нет.

— Что бы вы хотели делать, мэм?

Она помолчала.

— Вернуться в машину, — подсказал ей Зерчи.

— Придержите язык, мистер! — рявкнул офицер. — Леди, что с ребенком?

— Мы обе выходим здесь, — сказала она.

Зерчи, захлопнув дверцу, попытался стронуть машину, но рука офицера нырнула в открытое окно, нажала кнопку «Отмена» и вырвала ключ из гнезда зажигания.

— Попытка похищения? — крикнул ему один из офицеров.

— Возможно, — сказал тот и открыл дверцу. — А теперь убери лапы от ребенка!

— Чтобы ее здесь убили? — спросил аббат. — Вам придется применить силу.

— Фел, зайди-ка с другой стороны.

— Нет!

— А теперь перехвати-ка ему горло дубинкой. Вот так, дави! Все в порядке, леди — вот ваш ребенок. Хотя я вижу, что вы его не удержите, особенно с вашими костылями. Корс? Где Корс? Эй, док!

Аббат Зерчи увидел знакомое лицо, пробивавшееся к нему сквозь окружающую толпу.

— Возьмите ребенка, пока мы держим этого психа, ясно?

Доктор и священник молча поглядели друг на друга, когда ребенка вытащили из машины. Офицер отпустил руки аббата. Один из полицейских, обернувшись, увидел, что окружен послушниками, высоко вздымавшими вверх свои лозунги. Он решил, что плакаты могут быть потенциальным оружием, и рука его потянулась к пистолету.

— Назад! — рявкнул он.

Удивленные послушники повиновались.

— Вылезай!

Аббат вышел из машины и оказался лицом к лицу с толстеньким судейским чиновником. Тот хлопнул его по руке сложенным листом бумаги.

— Вот ордер на ваше задержание, выданный судом. Я должен зачитать его и объяснить вам. Вот вам копия. Офицеры засвидетельствуют, что вы препятствовали вашему задержанию, на что вы не имеете права…

— Давайте его сюда.

— Вот это правильно. Вы будете привлечены к суду по следующему обвинению: «Принимая во внимание, что истец ссылается на серьезное нарушение общественного порядка…»

— Бросьте лозунги вон в ту кучу пепла, — дал указание послушникам Зерчи. — Потом залезайте в машину и ждите, — не обращая внимания на произносимые слова, он, сопровождаемый по пятам судебным исполнителем, продолжавшим монотонно зачитывать текст, подошел к офицеру. — Я арестован?

— Мы подумаем об этом.

— «…и он должен предстать перед судом в назначенный день, дабы дать объяснения по поводу указания…»

— В чем меня обвиняют?

— Если потребуется, мы представим четыре или пять обвинений.

Из ворот показался вернувшийся Корс. Женщину с ребенком уже проводили на территорию лагеря. На озабоченном лице доктора читалась тень вины.

— Послушайте, отче, — сказал он. — Я знаю, как вы ко всему этому относитесь, но…

Кулак аббата Зерчи с размаха врезался в лицо врача. Корс потерял равновесие и тяжело шлепнулся на асфальт шоссе. На лице его было неподдельное изумление. Он несколько раз шмыгнул носом. Внезапно из него потекла кровь. Полицейский заломил руки священнику.

— Подведите его к машине, — сказал один из офицеров.

Автомобиль, к которому его подтащили, был не его собственным, а тяжелым бронированным полицейским лимузином.

— Судье ты не очень понравишься, — мрачно пообещал ему полицейский. — А теперь стой тут и не дрыгайся. Одно движение — и на тебя наденут наручники.

Аббат и полицейский стояли, дожидаясь у лимузина, пока судебный исполнитель, врач и другой офицер полиции совещались на обочине

шоссе. Корс прижимал к носу платок.

Беседовали они минут пять. Преисполненный стыда, Зерчи прижался лбом к гладкому металлу и попытался погрузиться в молитву. Его совершенно не интересовало, что они могут с ним сделать. Он думал только о ребенке и о молодой женщине. Он видел, что она уже была готова передумать, и ей был нужен только приказ: «Я, священнослужитель Божий, повелеваю тебе!..», которому она с благодарностью подчинилась бы — если бы только они не заставили его остановиться, где она увидела, как «священнослужитель Божий» стал нарушителем целой кучи законов, сцепившись с «Королевскими автоинспекторами». Никогда еще Царство Божье не казалось ему столь далеким.

— Ну ладно, мистер. Ну и повезло, скажу я вам.

Зерчи взглянул на него.

— Что?

— Доктор Корс отказывается подавать на вас жалобу. Он сказал, что сам разберется. За что вы его ударили?

— Спросите у него.

— Мы спрашивали. Я пытаюсь решить, то ли взять вас с собой, то ли влепить вам штраф. Судейский говорит, что вас в округе хорошо знают.

Чем вы занимаетесь?

Зерчи покраснел.

— Так ли это для вас важно? — он притронулся к нагрудному кресту.

— До тех пор пока тип с таким украшением не бьет кого-то по носу, меня это совершенно не интересует. Чем вы занимаетесь?

Зерчи подавил последний приступ гордости.

— Я аббат братства святого Лейбовица в монастыре, расположенном ниже по дороге.

— И это дает вам право нападать на людей?

— Я прошу прощения. Если доктор Корс согласен выслушать меня, я готов извиниться перед ним. Если вы вручите мне повестку в суд, я обязуюсь явиться.

— Фел?

— Тюрьма забита «ди-пи», перемещенными лицами.

— Послушайте, если мы предадим забвению все, что здесь было, обещаете ли держаться подальше от этого места и не подпускать к нему свою команду?

— Да.

— Отлично. Езжайте. Но если вы позволите себе хотя бы сплюнуть, проезжая мимо, этого будет достаточно.

— Благодарю вас.

Когда они двинулись с места, где-то в глубине парка заиграл орган. Обернувшись, Зерчи увидел, как стала вращаться карусель. Офицер помял ладонями свое лицо, хлопнул судейского по спине, и, разойдясь по своим машинам, они тоже уехали. И хотя за спиной его сидели пять послушников, Зерчи чувствовал, что он остался наедине со своим стыдом.

Глава 29

— Убежден, что тебя предупреждали о недопустимости таких вспышек гнева? — допрашивал отец Лехи кающегося грешника.

— Да, отче.

— Ты признаешь, что в определенном смысле у тебя было намерение убить обидчика?

— Намерения убивать у меня не было.

— Ты пытаешься найти себе оправдание? — спросил исповедник.

— Нет, отче. У меня не было намерения причинить вред. Я обвиняю себя в том, что и в мыслях, и в деяниях нарушил пятую заповедь, что согрешил против справедливости и милосердия. И навлек бесчестие и неприятности на мою обитель.

— Ты признаешь, что нарушил обет никогда не прибегать к насилию?

— Да, отче. И глубоко раскаиваюсь в этом.

— Единственное смягчающее обстоятельство заключается в том, что, увидев, как красная волна гнева захлестывает тебя, ты отступил. Часто ли ты позволяешь себе так распускаться?

Допрос продолжался, и владыка аббатства стоял на коленях перед приором, который судьей

возвышался над своим учителем.

— Хорошо, — сказал отец Лехи. — Теперь что касается наказания, ты должен дать обет…

Зерчи приехал к часовне через полтора часа, но миссис Грейлс все еще ждала его. Она стояла в исповедальне на коленях у кресла с высокой спинкой и, казалось, дремала. Растерянный и усталый, аббат надеялся, что уже не застанет ее. Он должен был сам принести покаяние, прежде чем сможет выслушать ее. Он преклонил колени перед алтарем и минут двадцать читал покаянные молитвы, которые отец Лехи возложил на него в виде епитимьи, но когда он вернулся в исповедальню, миссис Грейлс по-прежнему была там. Он дважды обратился к ней, прежде чем она услышала и, поднимаясь с колен, слегка споткнулась. Оправившись, она прикоснулась к лицу Рашель, погладив скрюченными пальцами ее сомкнутые ресницы и губы.

— Что-то не в порядке, дочь моя? — спросил он.

Она подняла голову к высоким проемам окон. Взгляд ее блуждал по сводчатому потолку часовни.

— Ох, отче, — прошептала она. — Я чувствую приближение Великого Ужаса. Великий Ужас близок, он совсем рядом с нами. Мне нужно при-

нести покаяние, отче, — и кое-что еще, если будет на то ваша воля.

— Что еще, миссис Грейлс?

Она прошептала еле слышно в сложенные ладони.

— Мне нужно дать Ему отпущение грехов.

Священник отшатнулся.

— Кому? Я не понимаю.

— Отпущение грехов… тому, кто сделал меня такой, какая я есть, — прохныкала она. Но затем губы ее растянулись в медленной улыбке. — Я… я никогда не прощала его…

— Простить Бога? Как ты можешь?… Он же… Он — Справедливость, Он — Любовь. Как ты можешь говорить?

Ее глаза умоляюще обратились к священнику.

— Неужели старая помидорница не может чуть-чуть простить Его за ту Справедливость, что Он даровал ей? Прежде чем я покаюсь перед Ним?

Дом Зерчи сглотнул комок в горле. У ног его простиралась двухголовая тень. Ее очертания напоминали об ужасе той Справедливости, что досталась этой женщине. Он не мог заставить себя обвинить ее в том, что она прибегла к слову «простить». На ее простом языке это означало, что она имеет право простить и справедливость

и несправедливость, и Человек имеет право простить Бога, так же как Бог прощает Человека. «Да будет так, и имей с ней сам, Господи, дело», — подумал он, накидывая епитрахиль.

Прежде чем войти в исповедальню, она перекрестилась перед алтарем, и он заметил, что во время крестного знамения пальцы ее прикоснулись и ко лбу Рашель. Опустив тяжелую занавесь, он прошел в свою половину кабинки и шепнул сквозь решетку:

— Чего ты взыскуешь, дочь моя?

— Благословите меня, отче, ибо я грешна…

Говорила она, запинаясь, и то и дело останавливаясь. Он не мог видеть ее в сумраке, который царил за решеткой. Оттуда доносился лишь низкий непрестанный шепот женщины. Все то же, все то же, вечно все то же, и даже двухголовая женщина не может найти путей сопротивления злу, кроме как бессмысленно подражать тому существу, на которого она должна была быть похожа. По-прежнему мучаясь стыдом за свое поведение по отношению к женщине и девочке, доктору и полицейскому, он почувствовал, что ему трудно сосредоточиться. Руки по-прежнему дрожали, пока он слушал исповедь. За решеткой исповедальни было слышно глухое непрерыв-

ное бормотание, напоминавшее далекий рокот. Гвозди пронзают ладони и глубоко входят в древесину. Словно воплощение Христа, он почувствовал невыносимую тяжесть той ноши, которую Он в тот же момент перенял на себя… Дело касалось ее сожителя. Темное это было дело, темное и тайное, которое, завернутое в старую газету, было где-то тайно схоронено в ночи. Он плохо понимал, что она ему говорит, чувствуя лишь, как в нем растет ужас.

— Если ты хочешь сказать мне, что повинна в аборте, — прошептал он, — должен сообщить, что отпущение таких грехов дает только епископ, и я не могу…

Он остановился. Издалека донесся слабый раскат грома, и он услышал мерный рокот ракет, идущих к цели.

— Великий Ужас! Великий Ужас! — завопила старуха.

Волосы у него на голове зашевелились.

— Быстрее! Кайся! Возлагаю на тебя десять «Аве, Мария», десять «Отче наш». Позже повторишь исповедь, а пока принесешь покаяние.

Он слышал, как она что-то бормотала с той стороны решетки. Быстро, на одном дыхании он дал ей отпущение грехов: «Ныне отпущаеши во

имя Господа нашего Иисуса Христа…».

Прежде чем он завершил формулу отпущения грехов, сквозь толстую ткань занавеси исповедальни проникло сияние. С каждой долей секунды оно слепило все больше и больше, пока внутренность кабинки не озарилась ослепительным полуденным светом. Занавес задымился.

— Ждать! — простонал он. — Ждать, пока все не прекратится!

— Ждать, ждать, ждать, пока все не прекратится, — эхом отозвался странный мягкий голос из-за решетки. Это не был голос миссис Грейлс.

— Миссис Грейлс? Миссис Грейлс?

Она ответила ему еле слышным сонным бормотанием:

— Я никогда не думала… никогда не думала… никогда не любила… любила… — голос угас, но это был не тот голос, который он слышал несколько мгновений назад.

— А теперь бежим — быстрее!

Не оглядываясь, дабы убедиться, что она следует за ним, он выскочил из исповедальни и побежал по проходу нефа к алтарю. Свет чуть померк, но он по-прежнему жаром обжигал кожу. Сколько секунд осталось? Церковь была полна клубов дыма.

Ворвавшись в святилище, он перепрыгнул на верхнюю ступеньку, торопливо перекрестился и подбежал к алтарю. Дрожащими руками он схватил хранилище тела Христова, снова перекрестился перед Престолом и с телом Бога своего выскочил наружу.

За его спиной рухнуло здание.

Когда он пришел в себя, то не увидел ничего, кроме сплошной пыли. От пояса и ниже он был придавлен к земле. Он лежал, уткнувшись лицом в пыль и грязь, пытаясь пошевелиться. Одна рука была свободна, а вторая придавлена тем же грузом, который обрушился на него. В свободной руке он по-прежнему держал дарохранительницу, но она ударилась при падении, и крышка ее слетела, высыпав несколько облаток.

«Он вышвырнут взрывом из церкви», — решил аббат. Лежа на земле, он видел остатки розовых кустов, заваленных обломками камня. На ветке остался один нетронутый бутон — Армянская Оранжевая, заметил он. Листья и почки были опалены.

Высоко в небе был слышен рев моторов, и пыльный сумрак озарился синей вспышкой. Сначала боли он не чувствовал. Он попытался вывернуть шею, чтобы взглянуть на сидящего на нем бе-

гемота, но тут же ощутил резкую боль. Он тихо вскрикнул. Больше смотреть назад он не осмеливался. Пять тонн камня подмяли его под себя. Точнее все, что оставалось от него ниже пояса.

Он начал собирать облатки, торопливо двигая свободной рукой. Каждую из них он заботливо отряхивал от земли. Порывы ветра отбросили несколько частиц тела Христова. «Во всяком случае, Господи, я старался, — подумал он. — Кому нужен этот последний обряд? Кто причастит умирающего? Им придется ползти ко мне, если это потребуется. Но остался ли кто-либо в живых?».

Сквозь чудовищный грохот до него не доносилось ни одного голоса.

Кровь стала заливать ему глаза. Он вытер ее предплечьем, чтобы не касаться облаток окровавленными пальцами. «Это не та кровь, Господи, она моя, а не Твоя».

Большинство разбросанной плоти господней ему удалось собрать в сосуд, но до нескольких облаток он так и не смог дотянуться. Он было напряг тело, но снова потерял сознание.

— ИисусМарияИосиф! На помощь!

Он разобрал, как ему кто-то отвечает, и в реве, идущем с неба, он едва услышал в отдалении трудно различимый голос. То был странный

незнакомый мягкий голос, который он слышал в исповедальне, и снова он повторил его слова:

— иисусмарияиосиф на помощь.

— Кто это? — вскрикнул он.

Несколько раз он обращался с призывом, но ничего не услышал. Пыль начала оседать. Он закрыл дарохранительницу крышкой, чтобы пыль не попала на плоть Христову. И какое-то время просто лежал с закрытыми глазами.

Одна из тревог, которая была связана с саном священника, заключалась в том, что ты неизменно должен был следовать советам, которые давал другим. «“Природа не требует ничего из того, что не мог бы вынести сам”. Эти слова стоиков я и должен был бы поведать ей перед тем, как передать ей божьи указания», — подумал он.

Боль почти стихла, но начался яростный зуд в той части тела, которая ему больше не подчинялась. Он попытался почесать ноющее место, но пальцы наткнулись на голую поверхность камня. Несколько мгновений он скреб ее, но потом, содрогнувшись, отвел руку. Зуд сводил его с ума. Размозженные и изуродованные нервные окончания посылали в мозг дурацкие приказы. Он чувствовал унизительность такого положения.

«Итак, доктор Корс, будете ли вы утверждать,

что боль — куда более страшное зло по сравнению с зудом?»

Он улыбнулся при этой мысли. Смешок заставил его погрузиться в черное забытье. Выкарабкиваясь из него, он услышал, как кто-то стонет. Внезапно священник понял, что стонет он сам. Зерчи внезапно испугался. Зуд заставлял его испытывать муки агонии, но стон был продиктован неподдельным ужасом, а не болью. От страдания у него даже перехватывало горло. Агония не прекращалась, но он мог терпеть ее. Ужас поднимался к нему из черных безоглядных глубин. Тьма наваливалась на него, терзала, жадно ждала его — огромная темная пасть, разъятая в ожидании его души. С болью он еще мог бороться, но не с этим Темным Ужасом. И стоит только тьме навалиться на него, он уже будет не в состоянии что-то делать.

Устыдившись своих страхов, он попытался обратиться к молитве, но слова ее звучали скорее как извинение, а не как мольба, словно уже отзвучала на земле последняя молитва и умолкли звуки последнего гимна. Страх не отпускал его. За что? Он попытался понять, что случилось. «Ты же видел, как умирают люди, Джет. Ты видел многих на смертном одре. Все очень просто. Они посте-

пенно уходят, а потом небольшая конвульсия — и все кончено. Эта чернильная Тьма — всего лишь провал между «здесь» и «там», непроглядный Стикс между Господом и Человеком. Слушай, Джет, а ты в самом деле веришь, что на том берегу есть Что-то? Тогда почему ты так трясешься?»

Строфа из псалма «День Гнева» всплыла у него в памяти, и он принялся повторять ее: «Что я, нищ и наг, могу поведать? К кому могу припасть я за защитой и опорой, когда в простом человеке еле теплится жизнь?».

Почему «еле теплится жизнь?». Ведь Он же не отнимет от себя простого человека. Тогда почему же тебя бьет дрожь?

«Нет, доктор Корс, зло, с которым вы боретесь, — не страдания, а слепой страх ожидания страданий. И когда вы всецело поймете это, ваше страстное желание дать миру безопасность, чтобы воцарился рай земной, и приведет вас к пониманию “корней зла”, доктор Корс. Уменьшить страдания мира и как можно надежнее обеспечить его спокойствие — вот достойная цель любого общества и правителя. Но этот искаженный, изуродованный мир пришел к другому концу. Ясно, что стремясь к высоким целям, он добился предела страданий и беззащитности мира.

Все беды мира проходят через меня. Прими их на себя, дорогой мой Корс. Нет “всемирного зла”, кроме того, что воплощено в Человеке, — и отец лжи лишь чуть содействует ему. Проклиная всех, проклиная даже Господа. — О, только не меня. Доктор Корс? Единственное зло, ныне оставшееся в мире, заключается в том, что мира больше не существует». Почему его терзает такая боль?

Он снова попытался рассмеяться, но это ничтожное усилие обрушило его в чернильную тьму.

— Я суть Адам и Христос во мне, я суть Человек, я суть Адам и Христос во мне, — громко сказал он. — Знаешь что, Пат?.. они были… были вместе… и лучше быть распятым, но не оставаться в одиночестве… и когда они истекали кровью… они смотрели друг на друга. Потому что… потому что так оно и есть. Потому что Сатана жаждет, чтобы Человек нес в себе свой ад. Я имею в виду, что Сатана жаждет претворить ад в образе Человека. Потому что Адам… И все же Христос… Но я все же… Слушай, Пат…

На этот раз ему потребовалось больше времени, чтобы выкарабкаться из Тьмы, но он должен успеть все растолковать Пату прежде, чем снова свалится туда.

— Слушай, Пат, все потому, что… потому что я должен был сказать о ее ребенке… вот почему. Так я думаю. Я думаю, что Иисус никогда бы не потребовал сделать такую вещь человеку, если бы сам не был готов пойти на такое. Почему я не смог остановить ее, Пат?

Он моргнул несколько раз. Пат исчез. Из рассеивающейся тьмы перед ним снова предстал мир. Как-то ему стало теперь ясно, чего он боялся. Прежде чем Тьма сомкнется над ним навсегда, он еще должен кое-что сделать. «Боже милостивый, позволь мне успеть». Он боялся, что умрет раньше, чем на долю его выпадет столько же страданий, сколько достанется ребенку, который даже не понимает их, ребенку, которого он старался спасти для дальнейших мук — нет, не ради них, а несмотря на них. Он приказывал матери именем Христа. Он не ошибался. Но ныне он боялся скользнуть опять в темноту до того, как примет на себя столько страданий, сколько Бог соизволит ему послать.

Quem patronum rogaturus,
Cum vix justus sit securus[58]

---

[58] Примечания: 58

Какого заступника будет просить, поскольку едва ли справедливый спокоен *(лат.)*.

«Ради ребенка и его матери. Я должен принять то, что будет мне ниспослано».

Решение это, казалось, уменьшило боль. Какое-то время он лежал неподвижно, а потом не без любопытства снова посмотрел на груду камня, завалившую его. Здесь, пожалуй, больше, чем пять тонн. На нем все восемнадцать столетий. Взрыв разрушил гробницы, потому что он заметил среди камней несколько костей. Он с усилием вытянул свободную руку и наконец получил возможность дотянуться до находки. Он положил ее на землю рядом с дарохранительницей. Челюсть черепа исчезла, но сам он был цел, если не считать дырки во лбу, откуда торчали остатки полусгнившего древка. Они напоминали остатки стрелы. Череп был очень древен.

— Брат, — шепнул он, ибо никто, кроме монахов ордена, не находил себе успокоения в этих гробницах.

«Чем ты служила им, Кость? Учила их читать и писать? Помогала им вставать на ноги, несла им слово Христово, помогала восстанавливать культуру? Не забывала ли ты их предупреждать, что Эдем недостижим? Конечно, они это слышали от тебя. Благословляю тебя, Кость, — подумал он и пальцем начертил крест у нее на лбу. — За все

свои страдания, ты, брат, заплатил стрелой между глаз. Ибо это больше, чем пять тонн камня и восемнадцать столетий за моей спиной. Я думаю, что за этим стоит два миллиона лет — с тех пор как на земле появился Человек одушевленный».

Он снова услышал голос — тихий, отдающийся эхом голос, который недавно отвечал ему. На этот раз он пел что-то вроде детской песенки: «Ла, ла, ла, ла-ла-ла…».

Хотя это был тот же самый голос, который он слышал в исповедальне, он, конечно же, принадлежал не миссис Грейлс. Она простила Бога и поспешила к себе домой, если успела вовремя выбраться из часовни. «И прошу тебя, Господи, прости ее отступничество. Он не был так уж уверен, что имел дело с отступничеством. Слушай, Старый Череп, а не поведать ли мне это Корсу? Слушайте, дорогой мой Корс, а почему бы вам не простить Бога за допускаемые им страдания? Ведь перед ними и человеческое мужество, и храбрость, и благородство, и самопожертвование — все становится бесполезным. Да и кроме того, в таком случае вы останетесь без работы, Корс, если он прислушается к вам.

Может, об этом мы и забываем, Череп? Бомбы и вспышки гнева и ярости царят в мире, чем все

дальше уходим мы от полузабытого рая. И ярость эта направлена против Бога. Слушай, Человече, ты должен отбросить ее — «я хотела бы простить Бога», как она говорила, и пусть это желание простить придет раньше всего, даже раньше любви.

Иначе останутся только бомбы и ненависть. Они не забывают ничего».

Он забылся во сне. Это был настоящий сон, а не уродливое беспамятство Темноты. Пошел дождь, прибивая пыль к земле. Проснувшись и оторвав подбородок от земли, он обнаружил, что не один. С похоронной торжественностью на куче щебня сидели уже трое и смотрели на него. Он пошевелился. Они распростерли черные полотнища крыльев и нервно зашипели. Он бросил в них обломок. Двое взлетели и стали кругами ходить над ним, а третий остался сидеть, переминаясь в странном танце с ноги на ногу и серьезно глядя на него. Сумрачная и уродливая птица, но в ней нет ничего от Другой Тьмы.

— Обед еще не совсем готов, брат мой птица, — раздраженно сказал он. — Тебе придется подождать.

«Много мяса тебе не достанется, — отметил он, — если ты сама раньше не пойдешь на пищу своим собратьям». Оперение ее было сильно

опалено вспышкой, один глаз заплыл и не открывался. Птица нахохлилась под дождем, каждая капля которого, как понял аббат, несла в себе смерть.

— ла ла ла ла-ла-ла подожди подожди пока умрет ла…

Снова возник тот же голос. Зерчи испугался, что у него начинаются галлюцинации. Но птица тоже услышала его. Она подняла голову и стала всматриваться в то, что было вне поля зрения Зерчи. Наконец она гневно зашипела и поднялась в воздух.

— Помогите! — слабым голосом крикнул он.

— Помогите, — попугаичьим эхом отозвался странный голос.

Обойдя кучу щебня, перед глазами его показалась двухголовая женщина. Остановившись, она посмотрела вниз на распростертого Зерчи.

— Слава Богу! Миссис Грейлс! Посмотрите, сможете ли вы найти отца Лехи…

— слава богу миссис грейлс посмотрите сможете ли вы…

Он проморгался от крови, заливавшей ему глаза, и внимательно присмотрелся к ней.

— Рашель, — выдохнул он.

— рашель, — ответило существо.

Она опустилась на колени рядом с ним и присела на пятки. Глядя на него холодными зелеными глазами, она улыбнулась невинной улыбкой. Глаза ее были полны тревоги, удивления, любопытства, может, чем-то еще — но было ясно, что она не понимала его страданий. В глазах ее было нечто, от чего он несколько секунд не мог отвести от нее взгляда. Но вдруг он заметил, что голова миссис Грейлс бессильно свесилась на то плечо, с которого улыбалась Рашель. Улыбка ее была полна юной застенчивости, которая взывала к дружбе. Он снова попытался обратиться к ней.

— Послушай, есть тут кто-то еще в живых? Иди и…

Ответ ее был торжественен и мелодичен:

— послушай есть тут кто-то еще в живых… — она смаковала каждое слово. Она отчетливо произносила их. Она улыбалась, слыша их. Ее губы старательно артикулировали, когда голос произносил звуки. То было больше, чем рефлекторное подражание, понял он. Она хотела что-то сообщить. Повторением она старалась поведать: «Я похожа на вас».

Но она только сейчас начала жить.

«И ты совершенно иная», — с благоговейным ужасом подумал Зерчи. Он припомнил, что мис-

сис Грейлс страдала от артрита в обеих ногах, но тело, принадлежавшее ей, присело на пятки с мягкой грацией юности. Более того, морщины на коже старой женщины несколько разгладились, она порозовела, словно ее старая ороговевшая плоть стала омолаживаться. Внезапно он увидел ее руки.

— Вы же ранены!

Зерчи показал на ее руки. Вместо того чтобы посмотреть, куда он показывает, она повторила его жест, глядя на его палец и вытягивая свой, прикоснувшись к его, — для этого она пустила в ход пораненную руку. Крови на ней было немного, но на руке было не меньше дюжины ссадин, и одна из них была довольно глубокая. Он взял ее за палец, чтобы притянуть руку поближе. Он вытащил из разрезов пять кусков битого стекла. То ли она выбила руками окна, то ли, что скорее всего, при взрыве ее засыпало битым стеклом. Только он вытащил дюймовый остроконечный осколок, как пошла кровь. Но когда вытащил остальные, на их месте остались лишь синеватые следы, и раны больше не кровоточили. Это напомнило ему сеанс гипноза, свидетелем которого он однажды был, оценив нечто подобное, как обман и жульничество. Снова взглянув на

ее лицо, он почувствовал, как в нем вздымается ужас. Она по-прежнему улыбалась ему, словно извлечение осколков стекла не доставило ей никаких неудобств.

Он перевел взгляд на лицо миссис Грейлс. На нем лежала серая маска смертных мук. Губы были бескровными. Как-то ему стало ясно, что она умирает. Он представил себе, как она съеживается и наконец отпадает от тела, как струп или отрезанная пуповина. Но кто же, в конце концов, Рашель? Или что?

Политые дождем камни по-прежнему сочились сыростью. Смочив палец, он поманил ее, чтобы она наклонилась пониже к нему. Кем бы она ни была, скорее всего, ей досталось столько радиации, что долго она не проживет. Хладным пальцем он начал чертить крест у нее на лбу:

— Ныне крещу тебя… — зашептал он знакомые слова на латыни.

Больше ничего сделать ему не удалось. Она стремительно отпрянула от него. Улыбка застыла на ее лице и исчезла. Казалось, она тщится крикнуть «Нет!». Она отвернулась от него. Вытерев влажный след со лба, она закрыла глаза и позволила рукам безвольно упасть на колени. На лице ее было теперь выражение полного бесстрастия.

Было похоже, что, склонив голову, она готовится молиться. Постепенно бесстрастность исчезала, и на лице Рашель снова появилась улыбка. Она росла и ширилась. Когда она открыла глаза и снова взглянула на него, он увидел в них ту же теплоту. Она стала озираться, словно в поисках чего-то.

Взгляд ее упал на дарохранительницу. Прежде чем он успел что-то сделать, Рашель взяла ее.

— Нет! — хрипло выкрикнул он и попытался схватить ее. Она оказалась проворнее его, а усилие стоило ему еще одного обморока. Когда он снова пришел в себя и поднял голову, ему все окружающее предстало словно сквозь пелену тумана. Она по-прежнему стояла перед ним на коленях. Наконец он сумел разобрать, что она взяла золотую чашу в левую руку, а правой осторожно держит большим и указательным пальцами одну облатку. Хотела ли она предложить плоть Христову ему, или же, как это было недавно, ему только померещилось, что он разговаривает с братом Патом?

Он подождал, пока рассеется туманная пелена. На этот раз она все не уходила.

— Господи, — прошептал он, — не покинь меня, и да не падет на меня гнев твой…

Он взял у нее из руки облатку. Она закры-

ла дарохранительницу крышкой и надежно пристроила ее в более защищенное место, под прикрытием нависшего камня. Она не сделала ни одного продуманного движения, но почтительность, с которой она протянула к нему руку, убедила его, что она чувствует присутствие. Она, которая еще не умела произносить слов и не понимала их, действовала словно по прямому указанию, как ответ на его попытку крестить ее.

Он попытался сфокусировать глаза на лице этого существа, которое одним лишь жестом сказало ему: я не хочу, чтобы ты первым давал мне Причастие, ибо я сама могу дать тебе причастие к Вечной Жизни. Теперь он понял, кем она была, и слабо всхлипнул, не в силах снова взглянуть в спокойные холодные зеленые глаза существа, которое родилось свободным.

— Прими душу мою, Господи, — прошептал он. — Душа моя славит Господа, а дух мой воссоединится со Спасителем, ибо он не позволит остаться в одиночестве творению рук своих… — он хотел, уходя, напоследок научить ее этим словам, ибо был уверен, что в ней есть что-то от Богоматери, которая первая сказала их.

Он задохнулся прежде, чем кончил фразу. Все плавало перед ним как в тумане, он плохо раз-

личал, кто находится перед ним. Но холодные пальцы коснулись его лба, и он услышал, как она сказала одно лишь слово:

— Живи.

И она ушла. Он слышал, как ее голос затихал в свежих руинах:

— ла ла ла ла-ла-ла…

И пока он жил, перед ним стояли эти холодные зеленые глаза. Он не задавался вопросом, почему Бог вызвал к жизни это существо с его первозданной невинностью, выросшее на плече миссис Грейлс, и почему Бог одарил ее сверхъестественным ощущением близости Эдема — вручил ей этот дар, который человек все время пытался обрести грубой силой с тех незапамятных времен, когда был изгнан из него. В этих глазах он видел ничем не затуманенную невинность и обещание воскрешения. Один лишь этот взгляд столь щедро одарил его, что он заплакал от благодарности. Затем он опустил лицо во влажную грязь и затих в ожидании.

И ничего более не пришло к нему — ничего, что он мог бы видеть, слышать или чувствовать.

Глава 30

Они пели, поднимая детей на корабль. Они пели старые космические гимны и по одному подсаживали детей на трап, передавая их в руки сестер. Они пели от всей души, чтобы малыши не боялись. Когда горизонт взбух и взорвался, пение прекратилось. Последний ребенок проследовал в корабль.

Когда монахи поднимали трап, горизонт ожил вспышками разрывов. Его залило красное зарево. На чистом безоблачном небе вспухли громады серых туч. Монахи, стоявшие на трапе, из-под руки посмотрели на молнии вспышек. Когда они погасли, монахи вернулись к своему делу.

Образ Люцифера чудовищным грибовидным обликом, встающим из дымных туч, медленно поднимался к небу, как титан, встающий на ноги после веков заточения на земле.

Кто-то сверху отдал приказ. Монахи поспешили наверх. Скоро все были в корабле.

Последний входивший на несколько секунд замешкался у люка. Он остановился в его проеме, сбрасывая свои сандалии.

— Так проходит слава мира, — пробормотал

он древнее латинское выражение, глядя на занимающееся зарево. Он пошлепал подошвами сандалий друг о друга, отряхивая с них пыль и прах. Зарево уже занимало треть небосвода. Почесав бороду, он бросил последний взгляд на океан, сделал шаг назад и задраил люк.

Раздался тонкий протяжный свист, сменившийся грохотом, ударил столб пламени, и межзвездный корабль стал подниматься в зенит.

С мерным рокотом буруны били о берег, выбрасывая остатки плавника. За их полосой плавала брошенная летающая лодка. Через несколько минут буруны подхватили ее и выбросили на берег вместе с плавником. Она легла на бок, сломав крыло. В бурунах кружились креветки, и их пожирали мерланги, а за ними охотились акулы, с удовольствием поедавшие мерлангов, и морские просторы были полны жестокой охоты, непрерывной охоты.

Ветер летел над океаном, неся с собой полосы прекрасного белоснежного пепла. Пепел опадал в море, крутясь в вихрях бурунов. Буруны выбрасывали на берег, в залежи плавника, мертвых креветок. В воде качались округлые тела мерлангов. Акулы ушли в далекие глубины в поисках прохладных океанских течений. Они были очень

голодны.